

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра международной журналистики

# **ПОД БЕЗДОННЫМ КУПОЛОМ АЗИИ**

**Книга для чтения  
с удовольствием**

**Часть 2**

Бишкек 2010

Идея докт. филол. наук, профессора *А.С. Кацева*  
Технический подбор материалов *И.А. Шалевой*

Рецензенты: *И.В. Деева*, канд. филол. наук,  
*Б.Т. Койчугев*, доцент

Рекомендовано к изданию кафедрой международной журналистики  
и НТС КРСУ

П 44 ПОД БЕЗДОННЫМ КУПОЛОМ АЗИИ. Книга для чтения с удовольствием: В 3-х ч.  
Ч. 2 / Сост. А.С. Кацев – авт. пред., прим., Н.Л. Слободянюк. – Бишкек: Изд-во  
КРСУ, 2010. – 234 с.

«Под бездонным куполом Азии» – уникальный сборник, в который вошли наиболее яркие произведения Кыргызской литературы от фольклора до наших дней. Наряду с литературными произведениями в книге широко представлена публицистика, посвященная Кыргызстану. В сборник вошли произведения как кыргызстанских, так и зарубежных авторов.

Хрестоматия адресована как преподавателям и студентам – филологам, журналистам, так и всем не равнодушным к Кыргызской литературе.

© Составители А.С. Кацев,  
Н.Л. Слободянюк, 2010.  
© КРСУ, 2010.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Тугельбай Сыдыкбеков</b>	
Тулуп деда. <i>Рассказ</i> .....	5
Письмо. <i>Рассказ</i> .....	6
Гуси из рая. <i>Рассказ</i> .....	8
Все мы – ученики истории. <i>Очерк</i> .....	9
Слово об авторе.....	19
<b>Алькул Осмонов</b>	
Белая береза.....	20
Я пришел, а тебя, ненаглядная, нет.....	21
Киргизские горы.....	21
Боз-бала.....	22
Родной язык.....	23
«Светла и прозрачна вода...».....	24
Дженишбек. <i>Поэма</i> .....	24
Слово об авторе.....	28
<b>Райкан Шукурбеков</b>	
«Я слушал синицы нехитрый рассказ...».....	29
Один день.....	29
Ночь на пастбище.....	30
Мой дом.....	31
Улица.....	31
Волга.....	32
Петух и Соловей. <i>Басня</i> .....	33
Лягушка и Родник. <i>Басня</i> .....	34
Мальва. <i>Басня</i> .....	35
<b>Ташим Байджиев</b>	
Семетей –сын Манаса. <i>Статья</i> .....	36
Слово об авторе.....	44
<b>Николай Чекменёв</b>	
Золотая осень. <i>Повесть</i> .....	46
<b>Суюнбай Эралиев</b>	
Город Торжок.....	47
Письмо из деревни.....	78
Вечер в горах.....	78
Почтальона то и дело жду напрасно.....	79
«Конь копытил копытом дорогу...».....	79
«Я навестил родимые места...».....	79
Конная игра.....	80

Лесной вальс.....	81
Я иду.....	82
Автобиография.....	83
Стремиться к открытиям. <i>Статья</i> .....	89
Слово об авторе.....	92
<b>Сооронбай Джусуев</b>	
Стихи мои, стихи.....	92
Москве.....	94
Две звезды.....	94
Золотая чинара.....	94
Красота.....	95
На Иссык-Куле стая белых лебедей.....	96
Седой солдат.....	96
Кыз-кумай.....	97
Красота земли.....	98
Во имя жизни. <i>Документальная повесть</i> .....	99
Слово об авторе.....	118
<b>Шукурбек Бейшеналиев</b>	
Белый верблюжонок.....	119
Неоценимое духовное богатство. <i>Статья</i> .....	130
Нести нагрузку своего времени. <i>Интервью</i> .....	131
Слово об авторе.....	135
<b>Михаил Ронкин</b>	
Крик.....	136
«Скорая помощь».....	137
Дождь.....	137
«Вот и жизнь почти что пролетела...».....	138
Притча о старшем брате.....	139
Толпа.....	141
«В словах и деяньях легки...».....	142
Слово об авторе.....	142
<b>Леонид Дядюченко</b>	
Алыкул. <i>Повесть</i> .....	143
Слово об авторе.....	176
<b>Евгений Колесников</b>	
Мать-и-мачеха. <i>Повесть</i> .....	176
Слово об авторе.....	226
<b>Примечание</b> .....	227

## ТУГЕЛЬБАЙ СЫДЫКБЕКОВ

### Короткие рассказы

#### ТУЛУП ДЕДА

Муж взъярился не на шутку.  
- Говори, пока я тебя не убил! Кто сейчас соскочил с тебя?! Жена непринужденно, словно ничего не случилось, расхохоталась,  
- Ты что... Брось шутки... А-а ха-ха-ха! Смех жены еще больше расплыл супруга.  
- Говори, тварь! Кто сейчас выбежал отсюда?!  
- Хватит, милый. Не ледени сердца своей благоверной.  
- Это ты леденишь, а не я! Муж уехал, а она вмиг любовника завела – лихо!  
- Ладно, хватит. Ишь, разыгрался... Не смей равнять меня со шлюхами. Я кристально чиста. Довольно, иначе...  
Муж ядовито прошипел:  
- Иначе что?! Я же своими глазами видел, а? Как ты можешь отрицать очевидное? Как?!  
Теперь разозлилась жена.  
- Вот напасть... Что он говорит, дурак! Ревность делает мужика просто невыносимым. Не дай бог видеть это. Думала, шутит... Что он мелет, чушь какая-то.  
- Эй, бесстыжая! Кто из нас мелет? Ты или я?! Я тебя застал с мужиком, а не ты меня с бабой, ясно?! Вот так, стерва!  
Жена изменилась в лице. Со всей скандальной яростью она ринулась на мужа.  
- Вот оно что, оказывается! Этот несчастный на самом деле решил меня облить грязью?! Не выйдет! В этом доме, кроме меня, ни единой души не было, ты меня понял, идиот?! Ты просто пьян, вот и мерещится тебе. Не вздумай потом оправдываться, отец моих детей!  
Муж затрясся от злости и рявкнул:  
- Поймалась же ты с мужиком?! Поймалась!  
- Где? Кто? Когда? Кого ты поймал? Покажи мне его. Где, где он, милый ты мой?!  
- Вот здесь, только что... любовник. Когда я шел сюда, он спрыгнул с твоей постели и убежал. Так это было, подлая баба?! Именно так. Ещё говорит, живой души не было! Как ты можешь отрицать?! Вот этими глазами я сам видел. Говори, кто он?! Говори, если жить хочешь...  
Жена вновь изменила свой облик. Теперь она предстала невинной, смешливой и наивной бабенкой.  
- А-а! Ха! Ха-а! Я поняла, в чем дело? Пусть никто об этом не услышит. Со смеху помрет. Опозоришься ты, бедный!  
Муж несколько опешил: «Сам же видел, сейчас, вот здесь... Даже если это был сам дьявол, как она может так нагло врать?!» Жена же умирала от хохота.  
- Аи, какой ты глупый, милый. Не узнал тулупа родного деда и принял его за «любовника». Если кто услышит это – ха-ха-ха!!  
- Какой еще тулуп? Что ты болтаешь, баба, а?! Я еще не рехнулся, могу отличить тулуп от живого мужика.

- Да-да, дорогой. Ты в своем уме. Но ты просто скверно относишься ко мне, ты очень подленький человек. Ты вбил себе это в голову заранее, когда шел сюда. Поэтому и принял соскользнувший с моей кровати тулуп деда за моего, хи-хи... моего, ха-ха!.. Не могу это говорить, ох-хо-хо! Язык не поворачивается. О-о... Ха-ха-ха...

Муж растерялся, не зная, как парировать такой ход жены. Поэтому он просто взбесился.

- Бесстыжая!!! Тварь! Нагло врешь мне, да?! Я же сам видел, эй?! Жена спокойно и уверенно сказала:

- Ой, милый. Постыдись хоть тулупа родного дедушки. Знаешь ведь, что ноги у меня больные. Вчера после твоего ухода начала стирку. Весь день руки, ноги в воде...

- Не дави на эмоции, женщина. Не вилай хвостом. Говори, кто он?!

- Слушай! Я же объясняю тебе. Суставы начали болеть, вот я и укрылась тулупом. Позор-то какой. Пусть никто не услышит это. Хи-хи... Приревновал к тулупу своего деда. Ха-ха-ха! Постыдился бы, дурачок!

Жена обняла его за шею и смачно поцеловала в щеку.

- Вот тебе, о-ой... хи-хи... Если кто услышит! Ха-ха-ха!

- Эй! – гаркнул муж. – Если это тулуп, то где он?!

- Вот он! – показала она на вешалку. – Ты же сам только что поднял его с пола и повесил на место.

- Не ври, поганая! Я никакого тулупа не подбирал!

- Сам не ври! Ты же споткнулся и ругнулся, мол, что за дрянь цепляется за ноги. Потом поднял и повесил.

- О, подлая ты баба! О, бесстыжая! Побойся аллаха!

- Ничего себе! Вот это штучки. Ревность делает мужика просто бестолочью.

Долго разбирались супруги. Долго выясняли истину. И словами, и руками. Муж яростно обличал жену. Жена настырно доказывала, что не было «любовника», а был «тулуп» и только...

В конце концов, она обессилила и расплакалась навзрыд. Видя ее трясущиеся плечи, муж разжалобился. «И вправду, видать, так. Зря я её... Конечно же, с ее кровати соскочил тулуп, а не любовник. Соскочил и побежал, то есть я его поднял и повесил сам на место. Повесил машинально, даже не осознав этого. И вправду».

Чувствую спиной свою победу, жена залилась в три ручья, прямо душу вывернула своим плачем.

А муж в растерянности плюхнулся на диван и увидел на вешалке тулуп. Он висел там же, где и раньше. Висел еще с весны. Как висел, так и висит. Никто его не трогал.

Но муж этого уже не замечал...

## ПИСЬМО

- Письмо? Что за письмо? Какое письмо? О чем ты говоришь, дорогая...– удивленно пожал плечами муж.

Жена жестоко глянула на него:

- Не придумывай, хуже будет!

- Я ни от кого писем не жду... Да и кто мне напишет? Разве что ты?! Жена подошла к нему вплотную.

- Не кривляйся, бессовестный! Есть у тебя, кроме меня, и еще кто-то!

- Нет! Только ты одна у меня. Никого больше нет. Когда я вдали от тебя, то образ твой всегда со мной!

Жена шлепнула его по носу увесистым авиаконвертом.

- А это вот письмо, видать, тебе мой образ прислал. Да?! Это же письмо от женщины! Это не я тебе написала, ясно!

«Вот влип, черт возьми! Нет бы сразу порвать, идиот. Хранил его на свою шею», – ругал он себя в душе.

Жена яростно наступала:

- Когда мне можно будет взглянуть на автора этого желания?! Муж попытался отшутиться.

- Да вот этот человек! – показал он на ее отражение в зеркале. – Смотри сама на себя.

- О-о, подлый! Деспот! Как тебе не стыдно?!

- Ладно, женщина. Хватит шутить, – сказал он, как мог спокойно и веско. И начал наступать сам: – Болтаешь ерунду! Да это и во сне не приснится! Не черни своего мужа – стыд и грех!.. Как можно так винить меня. Смотри, охладишь ты наш семейный очаг.

- Что-о?! Охладишь?! Кто из нас, а?! Вот же письмо, здесь твой адрес, твоя фамилия, имя, отчество. Настоящий почтовый конверт. И письмо настоящее... любовное к тебе... от бабы. Она пишет «скучаю, страдаю, сохну без тебя...» Это что, игрушки, да?! О-о, бесстыжий! Изверг!

- Стыд! Стыд и срам, – ответил на это муж. – Я ни от кого писем не получал. Никакого письма не знаю.

- Как это не знаешь, а?! Вот оно, в кармане твоего пиджака нашла. Это факт, куда же ты от него денешься?!

Муж весьма искренне удивился.

- О чем ты говоришь, милая моя? – робко и наивно воскликнул он. – Ты же знаешь, что в кармане я ношу только партбилет и паспорт. Ты знаешь об этом лучше всех.

- Я, дурочка, верила тебе. А ты уже давно изменяешь мне, – жена заплакала. – Пропади ты пропадом, окаянный.

Муж нежно погладил ее по спине.

- Не плачь, дорогая. Я ни от кого не жду писем... Ты же всегда со мной. Вот и сейчас ты рядом...

- О, боже, верила же ему, верила! Столько лет верила! Дети уже выросли.

Мужа растрогала ее сердечность, наивность и верность ему – стало жаль ее и стыдно за себя. Но он тут же оправдался и перед собой, мол, что я тогда за мужик без любовницы!

- Вот это да! Разве можно так обвинять человека – ни за что, ни про что?! – воскликнул муж.

- Даже во сне мне такие паскудные дела не снились!.. Моя жена, мать троих моих джигитов, я их отец... Когда в отъезде, всегда они передо мной. Проклятая жизнь? За что меня так?!

- Ну и подлый же ты! Вот в этом письме твое имя выведено. Вот! Как ты можешь так нагло врать. Скажи правду, идиот! Прошу тебя, скажи!

- Что?! – встрепенулся муж. – Если виновен, не прощай! Почему ты должна прощать виновного человека?!

- Вина твоя налицо. Прощаю тебя...

- Это надо доказать, милая, доказать!

- Вот оно, доказательство. Вот оно, письмо, от твоей потаскухи. Этого тебе мало, да?!

- Какое? Вот это? Это не письмо...

- А что же это такое, интересно?! Хватит дурачиться! Ты в своем уме?! Муж громко смеялся.

- Я-то в порядке. Это ты сошла с ума, обвиняя своего чистейшего супруга. Я абсолютно чист.

- А письмо это тогда откуда, если ты чист? Может, не читал его, а? На, прочти... послание своей блудливой Светочки!

Жена швырнула письмо ему в лицо. Он же проворно схватил его и моментально бросил в печь. Конверт быстро запылал.

- Читай же! Своими глазами читай! Вслух читай!

- Что читать-то? – робко спросил муж.

- Письмо, письмо читай? От своей любовницы.

- Я никакого письма не брал. Что же я должен читать? – удивился муж, причем так искренне, что жена не вытерпела и заревела.

Кричала, ругалась, проклинала, рыдала. Потом стала сомневаться: «Дала ли я ему письмо, или нет? Что я с ним сделала? Куда его сунула? Было ли вообще письмо-то?»

Муж страстно клялся, что не было никакого письма, что это просто бред.

Может быть, действительно, так и было, как говорит муж? Жена начала верить, что именно так и было: не было никакого письма...

## ГУСИ ИЗ РАЯ

У нашего соседа есть гуси. Они побывали в раю и вернулись невредимыми назад. Ты не поверишь, Токеш! Но я все тебе расскажу. Сам видел.

Сосед этот мужик жуликоватый. Другие варят самогон к выходным и праздникам, он же гонит его каждый божий день. Жена его вразвалку ходит, как гусыня. Дети его хулиганистые. Псы у него свирепые. Сам он всегда пьяный. Его огромные гуси своим гоготом заглушали все вокруг. Такие противные.

Но однажды я не услышал привычного гоготанья этих самых гусей. Заметил это я лишь потому, что наши гуси гогочут тихо и робко. Я всегда думал, почему те гуси так громко голят. А теперь они вдруг замолкли. Странно.

В тот день меня позвал Василий Прокопьевич:

- Иллариошка, иди сюда. Садись на коня и отнеси письмо соседу. Пешком не ходи, а то его собаки тебя покусуют. Давай на лошади.

Сел я на лошадь и робко, боясь псов, приблизился к воротам соседа. Тут я услышал тихие звуки, похожие на гусиный гогот. Оглянулся – и, не веря своим глазам, остановил коня.

Чудеса! Для тебя это сказки, Токеш, а для меня – жуткая правда. Гуси смирененько шли вереницей домой, ощипанные и ободренные до мяса. Они говорили мне жалостливо: «Мы, бедняги, возвращаемся с того света». Даже лошадь при виде их отпрянула.

Тут высыпали на улицу все домашние соседа. На мгновение они замерли, уставясь на гусей, потом разразились диким хохотом. А дело, оказывается, было вот в чем. Днем хозяйка-гусыня вылила во двор отходы самогонварения, а гуси, проглотив их, опьянели до смерти и лишились чувств. Пьяная хозяйка подумала, что они отравились, и приказала детям ощипать и зарыть их подальше от дома. Дети ощипали их и бросили в мусорную яму. Зарывать поленились, рассчитывая, что ночью хищники полакомятся ими.

Гуси же к вечеру протрезвели, выбрались кое-как из ямы и тихо побрели домой. Лишенные перьев, они утратили свой гонор, потому-то и стал еле слышен их гогот. Жалкая и нелепая картина. Не дай бог видеть это. Дико и смешно.

Сосед хохотал до слез, с трудом взял у меня письмо.

- Ты отдал письмо ему самому? Что он сказал? – спросил меня Василий Прокопьевич.

- Да, отдал ему. Но он ничего не сказал. Он встречал своих гусей. Они вернулись с того света, из рая.

Дядя Вася не понял, потом, когда я все подробно живописал, долго смеялся.

- Лишь бы собак своих он не отправил на тот свет. Вернутся они из рая, не сдобровать тогда нам всем...

## ВСЕ МЫ – УЧЕНИКИ ИСТОРИИ

Помню, как однажды (тогда мне едва исполнилось четыре года) что-то резкое оборвало мой сладкий сон, заставило открыть глаза... Ночь. Шум, крики. Казалось, что вся долина наполнена ими. Мычали коровы, надрывно ржал жеребенок. Тоскливо завывали собаки. Где-то рядом – рыдание женщины, бессильно жалующейся богу, предкам своим, и слабый детский плач. Но самое странное было слышать печальные, тихие голоса невесть куда спешащих мужчин. Вот этот последний факт мое сознание никак не могло вместить в себя...

Вскоре кочевье тронулось с места, заколыхалось – груженное вьюками. А мне почудилось, будто подо мной земля поплыла... Я уже в седле, в луке седла у эне – матери. Она крепко обняла меня... Но что же вокруг происходит? Зачем? Почему все это? Нет, не понимал я тогда. Только был удивлен. Испуган. Так и замер в объятиях у мамы – мой взгляд устремился в небо. Оно было усеяно огромными мерцающими звездами. Они висели так низко, что, казалось, стоит только протянуть руку – и сможешь дотронуться до них. Я, глядя на звезды, незаметно снова заснул безмятежным детским сном...

Проснулся я, когда солнце уже осветило своими лучами гребни гор. Наше кочевье двигалось по высокой седловине хребта. Впереди – котловина, похожая на выдолбленное деревянное корыто, буквально кишевшая вьючным скотом, людьми и... белоснежными цветами: то были элечки – белые тюрбаны, которые носили женщины на голове...

Не выходят из памяти у меня слова дяди Туменбая, сказанные им много лет спустя после тех событий:

– В год уркуна котловина Табылгыты была прямо забита элечками. Э-хей, не прошло и года, а многих из них унес голод...

Да, в то время мне было четыре года. Отчего мне пришло на ум это тяжелое воспоминание? Наверное, оттого, что я на своем личном опыте убедился в истинности слов: страшное народное бедствие может в одночасье заставить повзрослеть и ребенка, не познавшего к тому времени опасностей плавания по волнам жизненных невзгод...

Я, будучи еще мальчиком, почувствовал, что несправедливая власть, побоища, резня приносят одни несчастья, особенно кочевому народу. В моем детском сознании в те страшные годы свило гнездо убеждение: великодушие, мудрость, сострадание, единение дают народу добрые плоды, и наоборот – несправедливость, притеснение и угнетение со стороны захватчиков унижают его. Уже тогда вошли в меня такие понятия, как Народ, Земля, Судьба...

Обо всем этом вели речь между собой в неторопливой беседе голодные, кое-как одетые и часто вовсе не обутые взрослые, и мне сказочный мир тысячелетнего кочевничества, не-

смотря на его нелегкий, мучительный образ жизни, казался могучим и необычайно интересным.

Да, мои глаза тому свидетели – как мальчишка мужал в седле, а девочка не только хлопотала по хозяйству, вышивала, становилась матерью, но и наравне с мужчинами, оседлав коня, выходила на ратное поле. «О-о, и она, как и мы, оставив родное пепелище, стала кочевым воином», – понимал я своим неокрепшим умом...

Когда голодные сородичи начинали разговор о земле предков, отчизне, судьбе, счастье, – мне почему-то чудилось, что впереди нас ждет какая-то удивительная благодать, которая осчастливит народ. «А-а, значит, человек достигает благополучия, пройдя, как и мы, голод и нищету, – думал я. – Пусть в кровь разобью свои ступни – лишь бы дойти быстрее», – стараясь не отстать от взрослых, семенял я за ними.

Кто пешком, кто верхом – вернулись мы на родину летом 1918 года...

Но на нашей земле уже не было юрт, стоявших здесь испокон веков. Люди ютились в шалашах. Хлеб насущный – жмых да молоко, разбавленное водой. Опухшие от голода дети – даже глаз у них не видать. Взрослые с трудом добывали хоть какое-то пропитание...

Но вот в горах пронеслась весть: белого царя свергли. Новая власть пришла. Мудрец Ульянов-Ленин из бедняков. Он призвал объединиться всех, кто вчера еще был угнетен, он и людям Жети-Суу, восставшим против белого царя, указал путь к свободе!..

- Народ Жети-Суу получил свободу! – Каждый раз, когда слышал эти слова, я все яснее осознавал такие понятия, как народ, земля...

Шел слух, что обрели свободу не только киргизы, но и все жители Жети-Суу: узбеки, казахи, уйгуры, татары, каракалпаки, русские (пришлые крестьяне и рабочие). А я рос и креп в своем понимании: «Значит, свобода приходит тогда, когда объединяются люди...»

Народ – высок народом. «Могуч человек, вышедший из народа», – говорил когда-то Сатай-аке. А теперь объединение народов – означает, видимо, что каждый наравне с другим могуч.

- Октябрьская революция всем нам принесла свободу. Проснись, народ, ото сна! – Этот призыв разбудил и мое сознание...

Спешат друг за другом наперегонки годы, с возрастом растет мой интерес к своему народу, его истории, его пути из древности к настоящему, к тому светочу, что, возможно, ожидает впереди – все богатство опыта, накопленное прошедшими поколениями, зовет нас, как крылья птицу, вперед, к счастью, к познаниям, к открытию сокровенных тайн. Кстати, человека обогащает не только опыт добрых поступков, но даже ошибки, осознанные им, делают его мудрее. Ибо сложности исторических перипетий, трудности общественного развития, девятый вал жизни не только отражаются на судьбах отдельных людей, но и все живое становится забавой в руках у капризного случая...

Попробуем окинуть взором нашу многовековую жизнь.

Кочевник – это всегда был воин. Походы. Нашествия врагов. Побойща. Грабежи и насилия. Защита своего народа, своей земли от иноземных захватчиков. Обстоятельства того времени требовали усиления мощи кочевников. Народ то бурлил, как горный поток, то замолкал, словно высохший ручей. Но все же он оставил после себя величественные дастаны, эпосы, легенды и мифы, которые оказались неподвластны ни огню, ни бурану, ни врагам.

Письмо, вырубленное на камне, поросло лишайником. Но дастан, выученный наизусть, свидетельствовал о неиссякаемой жизни народа. Он обогащал духовный мир людей, будил в них чувство собственного достоинства. Он учил быть сдержанным, терпеливым, муже-

ственным, мудрым, широким, благородным и отзывчивым. И вообще – прославлял единение всего живого.

Наверное, оттого, что издревле горные пространства являлись местом обитания киргизов, они и характером своим были схожи с горами – такие же загадочные, сдержанные и мужественные. Киргиз, говорят, терпел, не шелохнувшись, если даже из его плоти вырезали кусок мяса. «К чему нам соперничать, если все подвластно одному Богу», – спокойно объяснял он свое всепрощение. Бывало, правда, если кто подзуживал его, то он выходил из себя, кипятился, словно напоролся на нож. Был и доверчив, как ребенок – баловень чистого воздуха природы. Довольствовался тем немногим, что имел. Палку – воспринимал как коня, а если видел голодных людей с протянутой за подающим рукой, гневался так, что стискивал зубы – считая: лучше смерть, нежели этот позор... Таким мой народ был и тогда, когда я был еще птенцом...

Среди давних трагедий, обрушившихся на голову моего народа, нельзя не вспомнить и эту: после великого курултая в 1206 году Чингизхан осуществил опустошительный набег, разграбив и уничтожив многие племена киргизов. Народ стал разбредаться, в последующем в течение семи веков тяжело жилось киргизам.

Продолжались столкновения между разбитыми племенами. Разыгрался аппетит у захватчиков, сражения переместились на земли Евразии – там разгорелось пламя войны. Тот факт, что воинствующие ханы кочевников извечно приносили горе беспощадным уничтожением не только своему народу, но и всему человечеству, не стал уроком; и то, что тот общественный строй не изменился до начала нашего века, – заставляет человека задуматься.

Еще вчера, во время объединения мелких разрозненных хозяйств в колхозы, можно было слышать, как расспрашивали по дедовским обычаям друг друга путники, встретившиеся на дороге:

- Здравствуйте. Из какого народа будете? Кто у вас знаменитая личность? Кто вы сами?

- Здравствуйте. Мы с озера, народ у нас бугу. Знаменитая личность у нас тот-то. А сами вы?

- Э, мы чуйские солто. Возвращаемся из Нарына, были в гостях у родственников жены... Так издавна велось: многие племена называли себя «народом», хотя составляли они все один народ – киргизский, – это впиталось в кровь и пот, а в последние десять-пятнадцать лет снова вспомнили об этом делении.

Несмотря на то, что, начиная с тридцатых годов, слово «род» не произносилось совсем, в семидесятых годах создались благоприятные условия, и опять проснулся у нас – «уруучулак» – деление на рода, как будто прорвался нарыв, который дожидался своего часа. Он завладел людьми с узким кругозором, не имеющими за душой ничего, кроме ненависти – эгоистов, ура-патриотов, – погрузив их разум и понятия на уровень девятнадцатого века.

Уточнение родственных связей для погрязших в болоте «уруучулака», по правде сказать, и сегодня – как черная пропасть. Ломают головы над этим комиссия за комиссией. Тяжелым бременем легли на плечи самого «уруучула» такие понятия, как объяснение и понимание.

Если взглянуть на историю, то в средние века, когда укреплялись союзы между племенами, то каждый из родов, принадлежавший, как ветви дерева, одному корню, считал себя «народом». Но в те времена сплачивался великий союз меж племенами, и на долгие века здесь властвовали в порядке вещей – захватничество, грабежи, набеги, поражения.

До наших дней дошло, как славили воина, который всю свою жизнь провел в седле.

- Много у древних богатырей! Достоинств много у богатырей! – Такие прославления учили потомков героизму, чистоте.

Советская власть дала народам свободу. Обновился уклад, устоявшийся веками, – народ перешел на оседлый образ жизни. В аилах, кишлаках открылись двери школ – мальчики и девочки с семи лет стали приобщаться к знаниям.

Если посмотреть в даль времен с высоты нынешнего дня, с научной точки зрения, то есть там не одни лишь недостатки. Сегодня ясно видно, что те древние богатыри, обладавшие твердостью в выполнении данного слова, умением преодолевать трудности, чувством сострадания, жалостливостью, доверчивостью, гостеприимством, способностью прощать, – они веками воспитывали в душах молодых и старых людей стремление к добру и милосердию.

Уроки многовековой жизни предков всякого народа, их исторический опыт, являясь примером для потомков, словно свет лампы, – они сегодня освещают нашу дальнейшую поступь. Кстати:

Народ – с народом народ. Корень народа – корень Земли.  
Сын, кормящий свою мать, – прокормит и народ. Молодец,  
заботящийся о своем народе, нравится всем. Среди народа  
живет народ, тайны народа знает сердце.

Эти мудрые слова, передающиеся от отца к сыну, – уроки истории. Сегодня время перестройки, мы честно и правдиво говорим обо всех негативных явлениях – зная, что ложь имеет печальные последствия, – потому что их замалчивание привело к застою общественной жизни в области и политики, и экономики, и культуры, к пустому ура – патриотизму, восхвалению только одних, очковтирательству, солдафонству, к многочисленным преступлениям, даже к тому, что стали вбиваться клинья в дружбу между народами: разжигались шовинистические и расистские настроения.

Все планировал центр, не считаясь с особенностями регионов, например, приказывал с одного гектара хлопка «собрать в два раза больше урожая», или от ста овцематок получить «сто девяносто ягнят». Ложь подталкивала людей к совершению преступлений, приносила горе. На второй год после того, как правда восторжествовала над ложью, хозяйство наше постепенно стало выздоравливать от гнусной болезни очковтирательства.

Но как же нелегко нам ликвидировать тот урон, причиненный теми, кто, проводя в жизнь лживый сценарий, круто, словно камчой, ударил по национальному достоинству народа! Ведь еще В.И. Ленин решительно выступал против обрусевших нигилистов, которые ради собственной выгоды, пытаясь понравиться русским людям, сводили на нет наследие своего народа, отрицали национальную культуру, историю, обычаи, утверждая, что мир народа «устарел», его надо «обновить».

Недооценка духовного мира человека, принижение роли наследия прошлого для последующих поколений, лозунговые декларации, не подкрепленные делом, в свое время отвергнутый, а не так давно вновь воспрянувший «уруучулук» – все это губительно влияет на единство и моральный дух народа. И хотя, в отличие от пресловутой «Памяти», докатившейся в своей программе до пропаганды расовой исключительности, у нас ничего подобного нет, уверен все же, что перечисленные мною выше факторы изрядно отравляют людям сознание и разум, а значит – должны исчезнуть из нашего обихода.

Долгое время мы занимались переливанием из пустого в порожнее, чрезмерно восхваляли нашу действительность, прославляли друг друга, говорили лозунгами, не учитывая свои недостатки и уроки истории, не беря во внимание наследия, достойно передаваемого от старшего к младшему, обесценили тезис о воспитании нового человека, ставший для нас надоедливым, безвкусным и бесплодным, вроде плода без зерен...

Не знаю, что скажут другие, но я, как только стал осознавать себя, взял в пример слова: «Глядя на старшего брата, воспитывается младший; глядя на старшую сестру, воспитывается младшая», – и до сих пор с уважением отношусь к тем, кто следует этому правилу.

Сила слова разрушает горы, растопляет лед. Художественное слово, говорят, раскрывает святыню народа – люди, прежде чем приступить к слушанию океаноподобного «Манаса», проходили омовение, но это было не признанием силы религии, а почтением к многовековой традиции нашего народа, высокой оценкой значения Слова – очистить душу свою от дурного, прежде чем выслушать «Слово предков». Такой подход с самого рождения учил меня чистоте, правдивости, сдержанности.

Вообще у киргизов десятки больших и малых эпосов: «Курманбек», «Жаны Байыш», «Эр Табылды», «Эр Тештук», «Саринжи Бекей», «Мендирман», «Кожожаш» и другие, повествующие о разных периодах жизни киргизского народа, о его борьбе и заботах, о соприкосновении с животным миром, – они показывают жизнь без прикрас, такой, какой она всегда и была.

Народ облакал свою жизнь, мудрость предков, предназначенную для последующих поколений, в форму стиха, передавал через устное творчество – и это дорогое наследство и есть урок для исторической, науки, и духовная пища.

Исторические записи – вести о духовном мире нашего народа, сохранившиеся в далеких источниках – исторических уроках – у арабов, фарси, турков и, особенно, у китайцев, которые издревле близко соприкасались с жизнью кочевников Центральной Азии, – это истина.

Известия о древних киргизах, найденные в письменах Орхон-Енисея и Таласа, сделанные в средние века, имеют один корень с эпосом «Манас».

Путь, пройденный киргизами по землям Евразии, где проживали древние саки, турки, хуны, можно найти в трудах ученых-историков, археологов, путешественников. Явные следы копыт коней киргизских воинов видны в исторических данных, и в устном народном творчестве, и даже – киргиз, рожденный в седле, питающийся на гриве коня, соревнующийся с летящей птицей – в свидетельстве... китайского императора: «Как ветер налетает; уходит, словно птица». Эти сведения, дошедшие с далеких времен до XX века, – для несведущего – сказка, а для сведущего – поэзия жизни!

То, что детство человечество сохранилось в первозданном виде, – это, как в сказке, интересно и дорого. Для невежды варвары, дикари – те, кто прожил жизнь в седле. Сведущему человеку ясно, что великая и мучительная жизнь нашего народа, чьи походы вплавлены в песок и выбиты на камне, стала уроком для кочевников – она духовным своим свойством одного корня с гуманистическим миром народов Запада и Востока.

Здесь надо принять во внимание факты, что в то время, как оседлый народ в городах совершенствовал свои знания, занимался наукой, строил крепости, храмы, красивые дворцы, которые, словно в подарок, оставляли потомкам, воинствующие кочевники совершали набеги, причиняя страдания тем или иным народам.

Да, походы были кровавы, воины каменели сердцем. И больше всего от этих набегов страдали сами кочевники. Заблудились в этом буране. Стали рабынями не только милостивые девушки и замужние женщины, но и жена кагана, талантливые мастера, силачи-богатыри познали рабство. В местах побоищ осталось много трупов.

Эта трагедия – следствие закона, существовавшего в том общественном строе. То время принадлежало тем, кто точил мечи и жаждал войн. Достаточно было вздрогнуть воздуху от крыльев пролетающей птицы, как раздавались возгласы воинствующих крикунов: «Наши границы нарушил враг! Седлайте коней!» – и вновь вспыхивал огонь вражды. Гибли целые

племена, гибли ремесла, сделанные открытия. Будущие мудрецы, которые должны были принести человечеству добро, умирали во чреве матери.

И что же? Сколько в ту пору воинствующих людей кричали в тревоге: «Мир, мир нужен!» – а сами, крепко сжав в руках топоры, нарушали мирный покой других народов?

И разве отказались от нападений последующие воинственно настроенные люди? Нет. Не отказались. Они моментально забыли о вчерашних сражениях, в которых кровь лилась рекой, и снова ввергли человека в страдания.

Оставим в стороне прошлое – тогда и людей было меньше, да и сожжено было в том великом сражении всего-то двести тысяч юрт, – и обратим свой взор к настоящему, XX веку. Сегодня научно-технический прогресс поднял на небывалую высоту культуру человечества. Строятся красивые города, расцветают села, осваивается космос. Но только не успокаиваются неразумные «вожди», во все времена толкавшие человечество на кровавую бойню.

Если бы светлые и темные, радостные и печальные уроки истории были бы для них поучительны, то они поставили бы свои подписи под истинно мудрой чистотой. Но, к сожалению, эти «мудрецы» беснуются, как и раньше. Снова разжигают пламень войны. Нашли средство, чтобы сжигать человека. А сами? Какое место занимают они сегодня на черных страницах истории?..

Неужели человек, хоть он и не бессмертен в этой жизни и печальна его судьба, до сих пор не понял, что не сможет выбить «очко» в азартной игре в войну?

Что бы там ни было, но ведь цивилизация XX века вышла на уровень пика Эверест – это наверняка подтвердят и премьеры, и маршалы. Наверное, можно жить в союзе пяти миллиардам гениев на этой крохотной Земле, которая, словно яблоко, лежит на добром ладони Природы, защищая и сохраняя и себя, и все живое вокруг себя?..

И если опять вернемся за примером к сложной и трагической судьбе многоплеменного кочевого народа, то вспомним, что и тогда люди занимались не только тем, что точили мечи, готовясь к сражениям. Они, когда вокруг наступало спокойствие и умиротворялась душа, плавил металл, жали хлеб, достигли небывалого мастерства в кузнечном и ювелирном деле, в ткачестве. И что радует: разве б ступила сегодня нога человека на Луну, если бы наши предки веками не занимались ремеслами, не делали гениальных открытий?..

Обновление человечества идет в последовательном развитии – обучая друг друга, народы движутся вперед. Это закон природы.

Стали осыпаться цветы в садах древней Азии, а в Европе сегодня человек запустил ракету в космос. Человек шагнул во Вселенную, Но Азия не была сторонним наблюдателем, а стала соучастником этого великого дела. Потому как люди, едва научившись ходить, стали друг для друга опорой, сокрыльями, единомышленниками, и развивались, обмениваясь накопленным опытом. Кто-то, например, приручил коня, другой придумал седло, третий – стремя. Их опыт переняли другие. На Западе и Востоке стали развиваться ремесла. Факт изобретения стремени по нынешним меркам можно приравнять к запуску ракеты...

Кто знает, может, если бы люди не разрывали связей друг с другом, не было бы места сегодняшнему хвастовству, жульничеству, обману и хитрости?

Каждое новое открытие науки, которая словно выпускает очередного птенца с цветастыми крыльями, почему-то стало настораживать людей. Исчезало доверие друг к другу. Даже президенты двух великих держав, союзники, победившие в кровавой войне XX века, согласившиеся с тем, что больше в мире не должно быть войны, великодушно обещавшие заботиться обо всем живом, и те...

Один, косо глядя на своего партнера, говорил:

– У нас есть оружие, способное сжечь все живое!

У собеседника не дрогнули даже усы. Он прикинулся эдаким простачком, мол, не слышал ничего. А сам уже принял решение: «Поручить это дело Курчатову...» Сделал хитрый дипломатический финт. Они вели себя так, словно и не было недавней кровопролитной войны, действовали наперекор своим словесным заверениям.

С того времени и по сей день обе стороны совершенствуют оружие массового уничтожения, которого еще не знала человеческая история.

Как это понять? Может, это состязание – во благо человечества? Или это – демонстрация силы друг перед другом, как это всегда бывало в прошлом? Но ведь история уже в течение семидесяти веков свидетельствует, что тот, кто шел с мечом на другой народ, сам от меча и погибал. К сожалению, из этого никак не хотят извлечь урока. Или это не во власти человека, просто уж так устроена природа?

Если раньше надеялись на быстроту своих скакунов да молились на лезвие меча, то разве сегодня не молятся люди на ядерное оружие, которое уже едва помещается на земле, и не говорят о мире с позиции силы?.. В кровопролитных сражениях, в конце концов, всегда страдал народ...

Прекрасные предметы, созданные в мирные времена руками мастеров, хранятся в музеях, как реликвии общечеловеческого наследия. В него свою лепту внесли все народы, в том числе – и киргизский. Веление времени – не только признать, но и сказать правду, что многие те драгоценные находки, свидетельствующие о нашей истории, до сих пор искажаются. Это правда – большая опора великой дружбе... Жизнь предков, их наследие – честь и достоинство народа. Нанести ущерб им – значит не ценить духовного мира народа. Искажать – нанести вред. Проявление глубокого невежества.

Изучение языка другого народа – это, конечно, хорошо как открытие полога дружбы. Учиться на истории другого народа, правильно оценивать его духовное богатство – значит равноправно сидеть за одним столом. Залог великой дружбы.

Древние киргизы не были дикарями. История свидетельствует, что они, как и хуны, усовершенствовали средства передвижения, влияли своим вооружением на кочевников Евразии, и сами защищали Центральную Азию от иноземных захватчиков. Не гладко шло развитие общественного строя киргизов. Особенно в IX веке пострадало киргизское государство и его история, когда оно было в статусе «великой державы» Центральной Азии.

Возможно, французский поэт Пьер Жан Беранже в стихотворении «Киргизская песня» прославлял их:

Где мир?.. Бежал. Тобой один я правлю, –  
Смотри – открыт в Европе старый путь;  
Лети, лети – и я тебя поставлю  
В приют искусств в Париже отдохнуть.  
Напьешься вновь из Сены ты строптивой;  
Уж дважды кровь с себя смывал ты в ней.  
Заржи, мой конь, встряхни надменной гривой –  
И в прах втопчи народы и воздай!

Многочисленные племена, родственные киргизам, гордясь своими быстрыми скакунами, острыми мечами, со временем стали обессиливать. И были разгромлены. Но и тогда:

«Чем больше их уничтожали,  
тем сильнее становились они –



Потомки Манаса.  
С каждой смертью увеличивались  
Смелого Манаса потомки...»

Но не могли уже больше резвить, как раньше, коней – от озера Бай до Алая, Таласа и Иссык-Куля. Следы киргизов можно обнаружить от монгольских земель до Тибета, от Индостана до урума в оставленных ими названиях: «Киргизское озеро», «Киргизская вода», «Киргизская долина», «Киргизские могилы»...

Я не хвастаюсь, вспоминая расцвет своего народа. Бог свидетель. Наоборот, я помню призывный клич: «И в прах втопчи народы и вождей!», который обернулся горем для моего народа.

– У сущего нет дна. Есть дно у насилия – это позор, – так определяли уроки истории мудрецы. Я хочу, чтобы в век расцвета культуры человечества люди были мудрыми.

Если бы мы помнили всегда, что городов, погребенных под землей в военные дни, больше, чем появившихся на земле в мирное время; если бы, помнили, что вред, нанесенный пожаром войны не только человеку, но и животному миру, Земле, воде, неизмерим, – то в наше время океанская живность не оказалась бы отравленной. Миллионы людей не голодали бы. Не были бы уничтожены свободные птицы.

Удивительно, что люди, говоря о перенесенных ими бедах и голоде, в то же время, стоит лишь насытиться желудку, тут же бросают на свалку бутерброды с маслом. Или же, на словах широко поддерживая дружбу, согласие, мир, по незначительному поводу скрипят зубами и сжимают кулаки.

Хотите, я расскажу вам еще о судьбе моего народа!

Особенно в последние семь веков древний мой храбрый народ столько раз, оказываясь на девятом валу истории, выбрасывался на берег! Сколько раз он погибал и возрождался в конце прошлого века, когда наш народ терял силы под двойным гнетом, и его судьба лежала на лезвии меча, он дерзко выразил гнев свой против белого царя. Стойко боролся. Внес свою лепту в Октябрьскую революцию, принесшую национальную свободу угнетенным народам. Сегодня он в равноправной семье многонациональной страны, поднявшей знамя Октября. Цену национальному освобождению и горечь обиды от унижения малого народа знает только народ, испытавший это. Потому он не желает насилия ни над собой, ни над другим народом. Ненавидит насилие. Народ, испытавший лишения, сочувствует народу, оставшемуся без земли и воды. Именно поэтому в «Манасе» широко описывается великодушие, по которому дают коня лишившемуся его, тулуп тому, у кого его нет; пригревают оставшегося без семьи, без своей земли. Эту хорошую традицию предков наш народ никогда не нарушал. Киргизы дали землю дунганам, вынужденно покинувшим свои края в 1875 году, и переселившимся сюда немцам, проявили свою исконную доброту согласно поговорке: «в народе уживаются народы». В те годы киргизы дали пристанище и крестьянам, бедовавшим на Украине и в России.

Приехав на прохуdivшихся телегах, истощенных лошадях, изнуренные дальней дорогой, русские осели на удобных поймах рек, начиная с Каинды и Кара-Балты до Чон-Аксу (Григорьевка), Кичи-Аксу (Семеновка), Тюпа, Кызыл-Суу (Покровка). Многолюдные села, процветающие, богатеющие, в основном, расположены на благодатных, удобных для земледелия ценных почвах по берегам рек.

Русский, украинский, сарт-калмацкий, немецкий, молдавский, турецкий, казахский и другие народы живут бок о бок с киргизами. Цели, думы, хозяйство у всех общее. Никто из коренных жителей не предъявлял претензий к прибывшим: мол, земля – наша. Напротив,

щедрые душой горцы, несмотря на свою далеко не избавленную от проблем жизнь, явили к ним сострадание и гостеприимство. Вот один только пример: в годы всенародной подписки на заем, когда некоторые русские колхозы не выполнили определенную им разрядку, долю соседей, несмотря на трудности, выплачивали киргизские села, я сам тому свидетель.

Само коренное население в основном обосновалось на не слишком удобных для земледелия песчаных и каменистых холмах. Причина этому – исторические обстоятельства роста киргизского общества и то, что мы несколько недополучили благ, уделенных широко всему населению временем, обманувшись пустой гордостью: дескать, мои потомки геройского народа, выросшего в горах, гарцующего на лошадях; мы не горожане, чтобы позволить глине серых стен высосать из нас кровь, обзавестись нелетающими курами, нечучующими домами.

Да, сеяли хлеб, плавил руду. Развивали ремесла. Обогащали духовный мир. Выдающиеся мелодии, мудрые искусные слова образно и широко повествовали об истории жизни всех времен. А землю не мерили саженьями и верстами. Потому как основное хозяйство – скотоводство. «У скотины – восемь ног», «Прежде зубов у скотины копыта пасутся», «Ночлег скотины – на пастбище, лежка зайцев – в камышах», – таковы были законы нашего народа о земле.

Сокращение земель, иссякание вод – понимали как признак конца света. Того, кто поджигал землю, ненавидели как разлагателя народа. Бессовестного озорника, нарушавшего традиции, наш народ сравнивал с дурнем, мочащимся в ручей, из которого люди пьют воду. Когда в конце прошлого века землемеры стали мерить пастбища, облагать пастбищными налогами по числу копыт, топливными – по количеству потребляемого топлива, то народ, никогда прежде не сталкивавшийся с чем-нибудь подобным, расценил это как большую опасность, сравнимую опять-таки с концом света...

Конечно, народ сразу не может отказаться от исторических привычек, превратившихся в характер, отпечатавшихся в течение веков в сознании.

Пока народы предвзято будут оценивать национальные особенности, традиции друг друга, они будут наносить обиды и даже враждовать меж собой. Скажем правду – меньшинство не может унижать большинства, бессильный не может обидеть сильного. Следовательно, в многонациональной стране многочисленный народ мудр, когда он широк душой и может прощать. Сила мудрого – в великодушии! Хвастовство, зазнайство, грубость – это нож, разрушающий согласие. Этот нож во все времена разрушал многонациональные страны. К сожалению, многие из них не увидели примера в этих уроках истории. Наоборот, это разрушение ускорялось, коль скоро давалась дорога унижению другого народа, демонстрации своего превосходства.

Говоря откровенно, у нас, особенно последние 25 лет, не стали заботиться и об истории народа, и о наследии его, и о его духовном богатстве – на все это закрывали глаза. Ленинская национальная политика извращалась: «дикие», «полудикие» – такие вот «открытия», относящиеся не к одному человеку или племени, а к целому киргизскому народу, звучали с высоких трибун. Печатались в газетах и книгах. Да что говорить об оскорблении достоинства нашего народа, когда на глазах у всех стали отрицать его древнюю родину – Енисей, Алтай, Минусинскую долину, – и на ум не пришло, что мы тем самым оставляем безродным нашу двухтысячелетнюю материальную культуру...

Например, вместо того, чтобы оценить наше непосредственное родство с чааташской культурой, вообще не учитывали то, что в то время был народ, называемый киргизами... В 1022 г. до н. э. в китайских источниках зафиксировано слово «кынарак» – плоский нож, сделанный вручную. В мемуарах одного из индейских вождей Мато Нажина «Мой народ сиу» даны понятия двум живым словам на языке индейцев: укрук – укурук, кораль – короо. Первое – орудие для ловли лошадей, второе – загон для скота. А кынарак – нож, которым

сегодня наши бабушки режут войлок. То, что эти древние слова до сегодняшнего дня являются живыми в нашем языке, – не случайность, а историческая преемственность. Орхон-енисейские, таласские письмена, нанесенные в средние века на камнях, а особенно живые слова, собранные в широко исследованном трехтомнике 11 века «Сборник тюркских слов» Махмуда Кашгари, составляют 70-80% живых слов сегодняшнего нашего родного языка. В своем словаре Кашгари считал, что киргизы, кипчаки, огузы, чигили, ягма, ийраки говорят на чистом тюркском языке, и действительно, киргизский язык, один из них, сохранивший свое имя, очень богат синонимами, – общими для, всех тюркских языков.

Придающий очарование национальной культуре, неиссякаемый родник общей культуры народа – это язык. Поэтому исследование «мертвых языков» народов, которые некогда создали высокую культуру, но исчезли в результате войн и стихийных бедствий, их познание вносят вклад в культурное наследие человечества.

Исследуем-ка словарь языков, называемых самыми богатыми. Сколько в этих языках слов, которые вошли из малых! Например, начиная с названий местностей – таких, как Канада, Квебек, и кончая сельдью, – сколько живых слов внесли языки саами, эскимосов.

Однажды мне задал вопрос один уважаемый человек, избранный действительным членом нашей Академии наук:

- Понимают ли ваш язык другие народы?

- Казахи, узбеки, уйгуры, татары, башкиры, туркмены, киргизы свободно понимают друг друга. – Он не знал, что киргизский язык относится к тюркским. – Удивлю-ка я вас еще, – шутливо сказал я. – Например, в русском языке нет ни одного исконного слова, начинающегося на букву «а», кроме междометия «ах». Не верите – загляните в словари Даля и Ушакова. Ну, а слова арык, аргамак, алтын, арча, архар, алмаз и другие перешли из нашего языка.

Тюркизмы до сих пор входят в русский язык. Сель, в форме селевого потока, вошел в русскую речь сегодня. И разве можно недооценивать «малые» языки? Да ни один нельзя! Все языки, на которых говорят люди, обогащаются за счет двух источников. Первый источник – собственный родник каждого языка. Второй – заимствования, с подчинением внутреннему закону языка. Известно, что 52% русских слов заимствованы – они, фонетически видоизменившись, стали родными. Это – особенность не только русского языка, а – всех. Сегодняшний наш полувековой опыт показал, что эту особенность нельзя, например, подчинить указам.

Всякое чужеродное слово должно подчиняться законам языка. И если оно не переходит в разряд живых, то, по моему глубокому убеждению, – над языком чинится насилие. Например, в киргизском языке слово «область» произносится как «область», а ведь надо – облус, комсомолец – комсомол, суд – сот, билет – белет, Пишпек – Пишкек, бутылка – бетелке и т. д.

В средние века арабские завоеватели говорили завоеванным ими народам: «Арабский язык – это язык Корана, а тот – Аллаха, поэтому на нем должны говорить и вы». Кто не читал молитву нараспев, того учили силой, а кто так и не научился – тому снимали голову. Это насильное обучение арабскому языку не достигло успеха.

Да, язык не терпит насилия, он нуждается в равноправности, о чем яснее ясно сказал в свое время Ленин...

Недостатки в хозяйстве и устройстве общества, имевшие место из-за односторонности подхода к ним, легко исправить. Да и извращения истории народа, как бы ни вредны они были, как бы ни задевали честь, они намного невинней извращений самого языка. Или, наоборот, терпимей. А по отношению к языку – очень больно задевают людей. Более того,

ведь язык не является культурным наследием только того общества, которое говорит на нем, а – достоянием общечеловеческой культуры.

...Долю, предназначенную для захватчиков всех времен, получили и палачи XX века. Фашизм не осуществил свои черные цели, остался ни с чем. Если бы не руководствовались сердобольностью XX века, а были во власти злой жестокости средневековья, то немецкий народ оказался бы раздробленным, лишился государственности.

Этому свидетель – трагедия последних веков киргизов, в свое время летавших, как птицы, прыгавших, как дикие львы, надеявшихся на свою высоту и силу, живших вольно, но, в конце концов, рухнувших, как скалы, щебень которых превратился в порошок.

Все мы – ученики Истории, послушные и строптивые, талантливые и не очень. И того, кто забывает ее уроки или не усваивает их вовсе, подстерегают в пути непредсказуемые опасности. Если человек в будущем намерен превратить родную землю в цветущий сад и жить в согласии с другими людьми, он не должен прятать за пазухой камень, помыслы его должны быть чисты, слух – обострен, чтобы уловить стук собственного сердца в общем перестуке миллиардов сердец на планете.

Пусть разум человека, запустившего в космос ракету, подскажет ему; как, утеплить родное гнездовье, продлить жизнь свою и всего человечества...

## ÑĖĬ ÂÎ Î Á ÀÂÒĬ ÐĂ

\*\*\*

Необходимо отметить, что Сыдыкбеков впервые в киргизской литературе создал крупные полотна на современную тему, изобразил людей, живущих рядом с ним, созидających новую жизнь. Это было впервые и имело большое значение для дальнейшего роста и развития всей киргизской прозы. Факт этот неоспорим.

*К. Кулиев*

\*\*\*

...Мне пришлось наблюдать, как Сыдыкбеков, став большим художником, мужественно, мудро «поправлял» раннего Сыдыкбекова. В этой значительной работе проявилась зрелость не только самого художника, не только его возросшая требовательность к себе и ответственность, но и сказалось возмужание всей киргизской литературы. Только с высоты сегодняшних наших достижений можно было вернуться к произведению прошлых лет и вдохнуть в него новую жизнь, заставить звучать современно. Роман теперь очень широко известен в стране: это – «Среди гор». Мне довелось переводить на русский язык его основную часть – вторую книгу. Переводил я это с удовольствием. Хорошей школой мастерства послужили мне, прежде всего, богатство, образность языка, широта охвата народной жизни, близкая к ауэзовской, зримость и точность бытовых деталей, неповторимые яркие национальные краски.

*Ч. Айтматов*

\*\*\*

Этот роман («Люди наших дней») с яркими сценами из киргизской жизни с правдивыми характерами, с вдохновенно выраженной в нем патриотической идеей... стал общесоюзным литературным достоянием, и сотни тысяч читателей, никогда не бывавших в Киргизии, увидели ее глазами писателя, перевернули еще одну страницу истории.

*М. Рудов*

\*\*\*

«Кен-Суу» – первый в истории киргизской советской литературы социальный роман. Его автор, Тугельбай Сыдыкбеков, по праву считается первопроходцем в становлении и утверждении романной формы в национальном искусстве слова.

*Е. Озмитель*

## АЛЫКУЛ ОСМОНОВ

### Белая береза

Ты прекрасна юностью и силой,  
Хорошеешь с каждой весною.  
Ты, береза, век была мне милой –  
Ты, береза, выросла со мною.

Каждую весну ты вся в кудряшках,  
Вьется в ветках небо голубое.  
Мы с тобою с детства как двойняшки.  
Мы, береза, выросли с тобою!

Посмотри, как друг твой стал серьезен,  
Только ты переросла ограду...  
Возврати мне молодость, береза!  
Мне другого ничего не надо!

Ты займи мне свежести у веток!  
Ты ж еще осталась молодою!  
Не остался б дар твой без ответа:  
Стал бы я твоей живой водою!

\*\*\*

Я пришел, а тебя, ненаглядная, нет.  
Для меня ты луна, мирный льющая свет.  
Что же делать, печалиться я не привык,  
Разве мало на свете случается бед!

Я пришел. Что же ты не пришла, не пришла?!  
Для чего мое сердце костром разожгла?  
Ох, тернисты, извилисты к счастью пути, –  
Ты б извилины жизни исправить могла.

Столько писем писала! Неужто их сжечь?  
В них велась о любви, о свидании речь.  
То взлетает, то падает наземь любовь,  
Но частицы упавшие надо беречь!

Ладно, я подожду, обуздаю мечты,  
Ведь и летом цветут, как весною, цветы.  
Поважнее любовных бывают дела:  
Знаю, на посевную уехала ты.

Знаю – надо, родная. Трудись веселей,  
Землю пусть бороздят лемеха средь полей.  
Пусть, питаясь тем хлебом, что сеешь сейчас.  
Где-то вырастет парень меня поумней.

### Киргизские горы

Гора с горой сошлись, гора с горой срослись,  
Гора из-за горы уходит вдаль и ввысь.  
Ни дать ни взять – бредет верблюдов караван.  
Неровной чередой хребты их поднялись.

Косые гребни скал безмерно высоки,  
Вершины их – точь-в-точь алмазные клинки.  
Сгрудились в тесноте обломки пирамид.  
Оскалившись, торчат гигантские клыки.

Не сходят никогда с крутых вершин снега.  
На солнце ледники блестят, как жемчуга.  
Вдоль каменной гряды орел не пролетит,  
Осилить этот путь способна лишь пурга.

Здесь, наверху, зима свой первый ткет ковер.  
Здесь, наверху, весны рождается задор.

Еще погружены долины в темноту,  
А серебро луны скользит по гребням гор.

Понятно, что и ночь здесь раньше настает.  
Когда в долине мрак, в горах уже восход.  
В часы, когда еще не пробудился мир,  
Уже на гребнях гор от солнца рдеет лед.

### **Боз — бала**

*(Молодой паренек)*

Мой ласковый мальчоночка,  
Мой боз-бала,  
С другою бродит до ночи  
Вдоль нашего села.  
Ой, боз-бала!  
Ой, боз-бала!  
В саду колхозном  
Тебя ждала.  
Ты ловко косишь  
И лихо ждешь.  
Зачем же эти косы  
Своими не зовешь?

Веселый мой мальчоночка,  
Мой боз-бала,  
Я маюсь, точно лодочка  
Без весла,  
Ой, боз-бала!  
Ой, боз-бала!  
Я возле речки  
Тебя ждала.  
Журчала речка звонкая –  
Тебя звала.  
Но ты прошел сторонкою  
Сказал: «Не жди – дела».

Чего же ты куражишься,  
Мой боз-бала?  
Уж я ли не красивая?  
Уж я ли не мила?  
Ой, боз-бала!  
Ой, боз-бала!  
Я возле виноградника  
Тебя ждала.

Но ты, моя отрада,  
Прошел к полям.  
Сказал мне: «Встреч не надо,  
Пока не кончим план».

Не прогадай, мальчоночка,  
Мой боз-бала.  
Недаром ходят парни  
За мною вновь села.  
Ой, боз-бала!  
Ой, боз-бала!  
Взгляни, с какою пышностью  
Округа расцвела.  
Пойдем же, мой молоденький,  
С тобой вдвоем  
Цветущим виноградником,  
Что родной зовет!

### **Родной язык**

Родному языку любовь научит.  
Родной язык вовеки не наскучит.  
С младенчества меня учила мать  
Родную речь любить и понимать.

Язык народа моего чудесен,  
В нем отзвук слышу колыбельных песен.  
И кажется, едва увидя свет,  
Я лепетал: «Ата, апа, ат, эт...»

Мне страсть к труду, презренье  
к празднословью  
Отец внушал, с великою любовью  
Родному языку меня уча.  
Я ощущал тепло его плеча.

Я петь привык на языке киргизском,  
Любимом с детства, с колыбели близком.  
Народов братских языки любя,  
Родной язык, забуду ли тебя?

\*\*\*

Светла и прозрачна вода,  
И воздух наполнен прохладой.  
Где б ни был, спешу я сюда,  
Мне большего счастья не надо.

Уставший в дороге большой,  
Губами к траве прикасаюсь  
И вновь молодею душой,  
И сил про запас набираюсь.

Радушны друзья и родня,  
Приветливы рукопожатья.  
И поит кумысом меня  
Красавица в шелковом платье.

Гляжу, как в туманной дали  
Мерцают снега Ала-Тоо.  
И верю, что нету земли  
Прекрасней родного джайлоо.

## **Дженишбек**

*Поэма*

Родной Иссык-Куль, то спокойный, то гневный  
Мой лучший товарищ, мой друг задушевный.  
Охваченный горечи черным огнем,  
Опору для жизни я чувствовал в нем.

Со мной Иссык-Куль навсегда неразлучен:  
Понятен он мне, если хмурится тучей,  
А если ласкается к берегу он,  
Как я, он, мне кажется, нежно влюблен...

Дает Иссык-Куль наш свободу волнам,  
Те мчатся подобно лихим скакунам.  
Светясь изнутри, разгоняет он тьму –  
Огни пароходов плывут по нему...

Привольно живут в Иссык-кульском краю:  
Джигитам своих дочерей отдают.  
Сегодня встречает народ сыновей,  
Что были в разлуке с отчизной своей.

Вот якорь бросает большой пароход:  
Как взнузданный конь, он все рвется вперед,  
И сразу наполнена пристань людьми: –  
О мой верблюжонок! Отца обними!

Шум встреч затихает. Расходятся в горы –  
Который пешком, на повозке который.  
Как мчится ручей к Иссык-Кулю весной,  
Так сын возвращается в дом свой родной...

И пристань пустеет. Стоит над водой  
Один только старец с седой бородой...  
Как будто летел легендарный скакун,  
И ногу поранил себе наскоку...

Кто он – вам расскажут его земляки.  
Минбаем зовут старика. От тоски  
По сыну он ходит с другими сюда:  
Зовет его даль и пугает вода.

Был сын у Минбая джигит и храбрец.  
Недаром назвал при рожденье отец  
Его Дженишбеком. Всегда побеждать  
Он должен был в жизни и горя не знать.

Но что-то не едет на родину сын –  
Минбай возвращается в горы один,  
С тяжелой думой, с надеждой в груди,  
Что все-таки встреча еще впереди...

Идет посмотреть, не приехал ли сын,  
И мать Дженишбека. Тяжелый кувшин  
С кумысом несет, но чужих сыновей  
Она угощает из чаши своей.

Иной раз бывает, что ветер и ночь  
На пристани видят Минбаеву дочь:  
Любимого брата встречает сестра  
И в черные волны глядит до утра...

Но всех безутешней несчастный отец.  
Измучился он ожиданьем вконец,  
Все ждет, хоть уж пристань пуста и темна –  
Лишь плещется тяжело о берег волна...

«О жизнь! Ты ведь щедрой к Минбаю была!  
Ты в дар ему сына – джигита дала.  
Что ж мечется сердце в груди старика,  
Как мечется конь, потеряв седока?»

О жизнь! Ты нам даришь любовь и семью,  
Но разве не ценим мы ласку твою?  
Так что ж ты утешить отца не могла,  
И словно орел он, лишенный крыла?»

Так думал старик, вновь оставшись один, –  
Ему все мерещится маленьким сын...  
– О боже, – вздыхает Минбай в забытьи, –  
Как помыслы трудно постигнуть твои!

Но время ему возвращаться домой.  
Пред ним его путь, замороженный тьмой...  
Махая камчою, он едет во тьму,  
Боясь, что надежда изменит ему...

Но нет, он не может вернуться в свой дом,  
Где все ожидают их с сыном вдвоем...  
Он с другом старинным не виделся век,  
Он едет туда, где живет Курманбек.

Живет Курманбек уже семьдесят лет –  
Но крепче мужчины в окрестности нет.  
Так руку при встрече он жмет, что джигит –  
Силач – с удивленьем вдогонку глядит...

С поклоном вошел к Курманбеку Минбай.  
Садятся друзья, разыскали насвай  
И друга опять упрекнул Курманбек,  
За то, что в тоске тот проводит свой век.

«Как ты слабоволен! По правде сказать  
Привык ты себя непрерывно терзать!  
Пристало ль джигиту унылым ходить.  
О горе своем все твердить да твердить?!

Коль жив Дженишбек – он вернется к отцу!  
Погиб – все равно тебе ныть не к лицу!  
Героя с тобою оплачет страна –  
Нас всех обездолила эта война.

Я сам проводил шестерых сыновей,  
Но мир не печалил печалью своей!..  
Ведь только двоих я увидел в живых,  
Но слез ты ни разу не видел моих!

Ты сразу не слышал, признайся, Минбай,  
Что я говорил: эх, мол, что за судьба!..  
Смотри-ка, восьмой мне десяток идет,  
А младшему сыну исполнился год!..

И может, по зову родимой страны  
И этот уйдет по дорогам войны.  
Что ж делать, раз этого требует честь –  
Не только семья – у нас Родина есть!»

Минбай подошел, и под полог взглянул,  
А мальчик ручонки к нему протянул...  
Волнуясь, воскликнул Минбай: «Курманбек!  
Пусть будет твой сын, как и мой Дженишбек!

Рука его в битвах да будет легка!  
Пусть стар я – дорога сынов далека.  
Сейчас ровно год с окончанья войны  
Девятое мая – рожденье страны!»

И старый Минбай снова сел на коня,  
И к пристани едет. Там, тайну храня  
Гудит Иссык-Куль и встает, разъярен,  
И волны со всех набегают сторон...

Да, сын Дженишбек был джигит и храбрец,  
Он пал, как герой, как отважный боец.  
Не знает отец, что глубок его сон –  
Что сын под Варшавою пулей сражен...

Он умер во имя Победы, и вот  
Шумит Иссык-Куль и, волнуясь, встает!  
Посмертную славу поет он бойцу,  
Последний привет он приносит отцу...

И катятся волны под грохот суровый –  
Несут они сына последнее слово,  
Не слышит Минбай, и стоит он один –  
Надеется все, не вернется ли сын?

Отец, не дожدهшься ты этого дня...  
Ты к пристани гонишь напрасно коня!  
Но радостный голос сыновний дойдет  
Девятого мая к тебе – каждый год!

Шумит Иссык-Куль... Он поет о тебе –  
О воле, о мощи, о славной судьбе...  
Светясь изнутри, разгоняет он тьму,  
Огни пароходов плывут по нему...

### ÑĖĬ ÂĬ Î Â ÂÂŎĬ ÐÂ

\*\*\*

Осмонов не слагает свои стихи из обыденных, ничем не примечательных слов. Еп поэтическое слово выходило из самой глубины сердца. И если мы, прочтя его книги, пойме? поэта, – значит мы полюбили его пламенное сердце. То, о чем писал Алыкул, исходило и жизненных наблюдений, личных ощущений и переживаний. В стихах звучат любовь нежность, дружба. И невозможно забыть саму жизнь поэта, как невозможно забыть ел стихи...

*Кенеш Жусупов*

\*\*\*

Мир его поэзии не только своеобразен, но и очень светел, он удивляет нас ясностью красок Его творчество полно большой любви к жизни, к земле, оно пронизано самым светлым? оптимизмом и любовью к людям... Вся поэзия Алыкула как бы напоена прозрачно! родниковой водой, она пахнет солнцем раннего утра и зрелыми плодами сада на заре.

*Кайсын Кулиев*

\*\*\*

Алыкул Осмонов встает перед глазами читателя как поэт огромной эмоциональной силы мастер краткого сжатого лирического стихотворения, богатого мыслями и художественным! образами.

*Темиркул Уметалиев – Николай Чекменев*

\*\*\*

Алыкул Осмонов – поэт мужества. Мужество – в его любви к жизни, к труду, в его вере в светлую силу человека, в великий смысл бытия. Когда читаешь стихи Осмонова, ты общаешься с личностью удивительно здоровой душевно. Видишь

благородную борьбу человека с невзгодами, побеждающего и гордого тем, что он, сын земли, сделал свое большое земное дело и будет делать его дальше, так же не сдаваясь.

*Ясыр Шиваза – Кайсын Кулиев*

## РАЙКАН ШУКУРБЕКОВ

Я слушал синицы  
Нехитрый рассказ  
До выводов –  
                  все по порядку.  
И мне помечталось:  
Вот взять бы сейчас  
Его записать бы  
                  в тетрадку.  
Неслись над экватором  
                  эти крыла,  
Касались земли  
                  африканской.  
Наверно б  
Какая поэма была!  
Или какая сказка!  
А жаль,  
Что я стал домоседом –  
Мне птичий язык неведом.

### Один день

Бывают – в будни,  
В суете домашней,  
Когда заботой ты томим пустышной,  
Идущий день покажется тебе  
Похожим, как две капли, на вчерашний.

Но не вернется он – упрямы сроки! –  
Как вспять не возвращаются потоки.  
Дней камушки в невиданной казне  
Отсчитывают зори на востоке.

Есть много дел хороших в каждом часе.  
Спроси себя, когда ты лампу гасишь,  
Что сделал ты сегодня на земле,  
Каким твореньем жизнь ее украсил.

Часы стучат, как сердце –  
                                непреклонно.  
Минуты в душу падают со звоном.  
Мы времени закон диктуем свой,  
Оно диктует – нам свои законы.

В далекой, но неповторимой яви  
Тебя причислят к благодатной славе  
Не по летам большим, что проживешь ты,  
А по делам хорошим, что оставишь.

### **Ночь на пастбище**

На Кашка-Су бараны чутко дремлют,  
Держа крутые морды на весу.  
Ночь, оседлав до горизонта землю,  
Арканом захлестнула Кашка-Су.

Горит костер.  
На молчаливых скалах  
Играть его узорам до утра.  
Два пастуха,  
Два вещих аксакала,  
Ведут свою беседу у костра.

От ледников, как мир седых и давних,  
Пока что безыменные, ничьи  
Спешат ручьи,  
Срываются ручьи  
И насмерть разбиваются о камни...

...Раскалывается тишина. Ликуя,  
Хохочет над костром, над головой  
Голодный,  
жуткий, ненасытный вой,  
Под сердцем тучу полоснув тугую.  
Но в миг, когда рогатая орава  
Пугливо жметя ближе к жонякам,  
Уже, спекаясь, присыхает к травам  
Шерсть песья  
с волчьей кровью пополам...

На Кашка-Су бараны снова дремлют,  
Держа крутые морды на весу,  
Ночь, оседлав до горизонта землю,  
Арканом захлестнула Кашка-Су.

### **Мой дом**

Здесь с вечера кочевье ночевало,  
А нынче снова перекочевало.  
На месте юрт лишь камни да зола...  
Там биографии моей начало...

Я вижу детство – вот оно какое! –  
Так близко, что легко достать рукою.  
Ночевки, вьюченые верблюдов, горы  
И новые ночевки над рекою.

Я вижу,  
Как костра уходит пламя  
В тундук и в небо звездное над нами...  
Мне мой отец рассказывает сказки,  
И машет сальная свеча тенями.

### **Улица**

Я с детства к этой улице привык...  
Вот здесь, еще в судьбу свою не веря,  
Мы открывали переплеты книг.  
Как в мир волшебный открывают двери.  
Здесь пламенем взметнулись искровым  
Чуть тлеющие угольки талантов.  
Тот стал акыном, этот – музыкантом,  
А третий – золотым мастеровым.

Здесь для меня и центр, и край земли –  
Легла отсюда строгая дорога,  
С которой к материнскому порогу  
Мы раны и седины принесли.

Года прошли. Ведь, что ни говори,  
Живем мы в век гигантского размаха.  
Но все ж я не забуду фонари  
И всадников на улице в папахах,  
И под комуза неумолчный гул  
Напев крылатый вещего акына.  
Мечта парила в высоте орлиной,  
Когда нам пел великий Токтогул.



А молодым попробуй Расскажи,  
О тех годах далеких вспоминая.  
Смеются сероглазые стрижи –  
Для них все это старина седая.  
Мы посадили саженцы в саду.  
Гудят они теперь зимой и летом.  
Не просто сад, а наша юность это  
Цветет, не увядая, в холоду.

Я с детства к этой улице привык...  
Вот здесь, еще в судьбу свою не веря.  
Мы открывали переплеты книг,  
Как в мир волшебный открывают двери.

## Волга

Кто на земле моей не знает  
Ее размах, ее разлет?  
Но только Волгу начинает  
Ручей калининских болот.  
Совсем на реку не похожей  
Она нащупывает путь.  
И если ты захочешь –  
    Сможешь  
Ее легко перешагнуть.  
Но в одиночестве обидном  
Ей не всегда вперед идти.  
Гляди, уже ручей невидный  
с ней подружился по пути.  
А вот второй,  
А вот и третий  
В нее несут свои снега –  
И величайшая на свете  
В родные входит берега,  
Осматривает все плотины,  
В пуды глотает якоря,  
И заставляет петь турбины,  
И повергает в дрожь моря.  
Теперь своим путем особым  
Она летит в поля, в огни.  
Переплыви ее попробуй –  
Не только что перешагни.  
Что говорить,  
Уж коли честно –

Открытия не сделал я.  
От сотворения известно –  
Все реки начаты с ручья.  
Мне и не думалось «открытьем»  
Двадцатый осчастливить век...  
Но дружбу захотел сравнить я  
С могучим единеньем рек.

## Петух и Соловей

*Басня*

В одном лесу идет олимпиада,  
Как говорят, смотр молодых талантов.  
Выходят на эстраду –  
Чтецы, певцы, танцоры, музыканты,  
Козел-конферансье оповещает чинно: –  
Сейчас Петух  
Ваш приласкает слух  
През-э-лестной каватиной.  
Прошу маэстро! –  
Вот появляется Петух, вот он  
Покашлял для порядка в микрофон.  
Все ахнули:  
Красив, цветаст, высок!  
На петушиный лоб,  
Бросая в дрожь всех молодых особ,  
Небрежно ниспадает гребешок.  
Еж, от восторга замерев на миг,  
Сказал жене:  
- Вот это шик!  
На отсечение голову даю,  
Он – не чета любому Соловью. –  
А в зале гул,  
Стоит смущенье в зале:  
Петь стоит ли сегодня Соловью?  
Едва ли! –  
Вот заиграл рояль,  
И все каноны руша,  
Петух пустил такого «петуха».  
Что многие позатыкали уши  
И вон из зала – дальше от греха.  
Петух орал, любуясь сам собою.  
Замолк Петух

И враз потух –  
Молчание кругом стояло гробовое.  
Мораль одна к моим стихам:  
Где место соловью –  
Не место петухам.

## Лягушка и Родник

*Басня*

С гор - скок да прыг –  
Стекал Родник.  
Он был невиден  
И не голосист,  
Зато прозрачно чист.  
Спросила раз,  
Презренья не тая,  
Лягушка у Ручья:  
– Течешь,  
Не зная сам, куда?  
Зимой стоишь.  
Опять течешь весною.  
Эх ты, Ручей!  
Презренная вода!  
Да разве же сравнить тебя со мною?  
Я квакаю, рожаю лягушат.  
А ты живешь бездомной птицей,  
Без тины, без приличий, без традиций.  
Разврат!  
Я дам тебе совет – уж так и быть:  
Кончай свой бег,  
Организуй свой быт.  
Довольно, брат, бродить по белу свету,  
В том проку никакого нету.  
Остановись –  
Здесь впадинка найдется,  
Стань небольшим болотцем.  
Увидишь, словно у меня – закон,  
Я проявлю во всем свою полезность.  
Могу к примеру оказать любезность,  
В тебе свершить впервые моцион. –  
Ручей ответил скромно:

– Я полон благодарности огромной,  
Действительно совет хороший дан.  
Я б с удовольствием,  
Да делом занят малым.  
Вы, верно, слышали, есть Тихий океан,  
Так я – его начало.

## Мальва

*Басня*

Пришла в поля весна,  
Как говорят, красна.  
Все потянули  
Прямо к солнцу лица –  
Цветы – красавцы,  
Травы – молодницы.  
Все было тихой радостью полно,  
Все свежестью дышало.  
Но,  
Вдруг молвила  
Разряженная Мальва,  
Высокомерно глядя на цветы:  
– Закрыли от меня и ширь и даль вы,  
Земля моей не видит красоты.  
Чтоб не было мне никаких помех.  
Вас надо уничтожить всех. –  
Как по заказу ветер поднял вой,  
Дождь хлынул,  
Высь громами загудела.  
Соседок Мальвы унесло водой,  
Сама ж она случайно уцелела.

Очнулась Мальва в голубой тиши,  
А возле – ни души.  
Она то рада:  
- Вот это то, что надо!  
Теперь я буду здесь одна Земле видна. –  
Но выше солнце – Мальве тяжелей,  
Но выше солнце –  
Все внутри горело.  
Взмолилась Мальва:  
- Солнце, пожалей! –  
Но нет, оно ее не пожалело.  
Ей захотелось вдруг

Вернуть подруг,  
Чтоб скромно  
В их тени держаться,  
Ни солнца, ни буранов не бояться.  
Себя до слез  
Вдруг Мальве жалко стало. Но поздно:  
Солнце поднималось выше,  
Был голос Мальвы солнцем не услышан  
Она увяла.

Подумай о других, душа моя,  
Когда ты произносишь:  
-Я.

## ТАШИМ БАЙДЖИЕВ

### Семетей — сын Манаса

«Семетей» – вторая часть эпической трилогии «Манас». В ней излагаются события о рождении главного героя Семетея – сына Манаса – до его гибели.

В «Семетее» продолжают события первой части поэмы как дальнейшее развитие сюжета Он един с «Манасом» по своей идее и форме, художественным средствам воплощения, манере исполнения и музыкальной архитектонике. В «Семетее», как и в «Манасе», доминантой звучит призыв к единству кыргызского народа, его независимости, приумножению славы и могущества, заботе и любви к родному Отечеству.

Герои первой части – Манас, Алмамбет, Чубак, Сыргак, Каныкей и Бакай – идеализируются во второй и далее в третьей части – «Сейтеке». Если Манасу удается во имя единой цели – борьбы с внешними врагами – преодолеть междоусобицы и распри, то в «Семетее» основное место занимают внутренние противоречия и конфликты, спровоцированные братьями Манаса – Абыке и Кобешом, предательством жены Семетея – Чачыкей, коварством близкого родича Кыяза и непримиримыми амбициями Уметея – наследника хана Кокчө, погибшего в походе на Китай.

«Великий поход», повествующий о долголетней войне с китайцами, взятии города Бейджин, о гибели большей части кыргызских воинов и самого Манаса, получил свое продолжение в битве Семетея с Конурбаем, которая происходит много лет спустя и в иных обстоятельствах. Если Манас шел в поход на Китай с целью восстановить и расширить границы кыргызского государства, освободить тюркские народы от гнета китайского предводителя Карахана, то Семетей мстит Конурбаю за смерть народных защитников – Манаса, Алмамбета, Чубака, Сыргака, пытается восстановить былое величие и единство народа, вернуть завоевания отца.

Безусловно, сказание о Манасе и его сыне Семетее является единым произведением, имеющим общую сюжетную и художественную основу, но все же поэма «Семетей» намного отличается от поэмы «Манас». К примеру, переживания и страдания Бакая, Семетея, Каныкей; ностальгия по былой славе, тоска по идеалам богатства, присущие Манасу и утраченные во времена его сына; яркая тема любви, ревности, месть сопернику; интриги борьбы за власть внутри рода и ханства – все это в совокупности привело к тому, что «Семетей» сложился в лиро-эпическую поэму. Если в первой части трилогии основным мерилем достоинства героев были доблесть, храбрость, верность идеалам дружбы и братства, патриотизм, что придавало им героико-эпический облик, то в «Семетее» на первый план выходят более интимные, психологические аспекты человеческого характера. Герои второй поэмы трактуются в более реалистическом ключе, приближенными к жизненной, подчас бытовой правде; углубляются и акцентируются личные взаимоотношения и конфликты персонажей. И тем не менее положительные герои «Семетея» горячо любят свое отечество, стремятся соединиться с любимыми, воспитать детей, достойных своего народа, сохранить родовую дружбу, отомстить врагам за свои унижения и страдания.

Помимо фантастико-мифологических явлений, в поэме «Семетей» большое место занимают боевые действия. Однако следует отметить, что батальные эпизоды в «Семетее» дублируют описания сражений. Если в первой части поэмы Конурбай смертельно ранит Манаса и лишает его боевой мощи, то во второй части он гибнет от руки Семетея.

Здесь может показаться парадоксом тот факт, что могучий Манас, имевший великое войско, не смог одолеть Конурбая, а его сын Семетей всего лишь с двумя соратниками легко отсек ему голову. Но дело в том, что Семетей побеждает врага не по логике жизни, а по воле сказителя, продиктованной верой народа в победу и возмездие. Для эпических сказаний это вполне закономерное явление, о нем справедливо заметил академик В.М. Жирмунский: «Оптимизм народного творчества не терпит неразрешенных трагических диссонансов. Торжество коварных и злобных врагов над героем эпоса не может быть окончательным: за гибелью героя и временной победой его врагов должны последовать восстановление справедливости и месть насильникам и захватчикам. Долг кровной мести и восстановление законной, признанной народом власти лежит на сыне погибшего». Описание деяний сына, как правило, становится сюжетом следующей части народного эпоса, о чем ярко свидетельствует поэма «Семетей».

«Семетей» повествует о событиях того времени, когда кыргызы вновь разбиты, раздроблены и разогнаны, потеряли свободу и независимость, лишились военной мощи. Это дает нам право предполагать, что вторая часть эпоса создавалась в XVII-XVIII веках, т.е. Семетей моложе своего отца Манаса по крайней мере на несколько столетий. Вместе с описанием наиболее трудных в истории кыргызов событий XVII-XVIII веков в поэме «Семетей» отображены сознание и мировоззрение народа, начиная с древнейших времен до наших дней. Народный эпос, передаваясь из поколения в поколение, впитал в себя идеологию социальных формаций разных эпох, менял свою художественно-эстетическую философию согласно требованиям времени, вместе с тем бережно сохранял классические традиции устного поэтического творчества.

Сказители «Манаса», как правило, становились исполнителями и «Семетея», а затем и «Сейтека». Среди известных сказителей нет таких, кто, сказывая «Семетея», не знал бы «Манаса». Так, например, популярные манасчи Нооруз, Кельдибек, Балык, Акылбек, Чонбаш, Назар, Тыныбек исполняли всю трилогию. Знаменитый Сагымбай признавался, что «Семетея» знает лучше, чем «Манас». Жившие в советскую эпоху выдающиеся манасчи

Саякбай, Шапак, Багыш, Тоголок Молдо сказывали обе части поэмы в полном объеме событий.

Не каждый сказитель, знающий сюжет эпоса, был способен привнести свою интерпретацию, угадать желания и чаяния слушателей, развить канонический сюжет эпоса, украсить стиль своими изобразительно-выразительными средствами, творчески отшлифовать рифму, найти более выразительную мелодию и архитектуру речитатива. Такими способностями обладали только очень талантливые и вдохновенные акыны, жившие в вечном поиске, посвятившие свою жизнь исполнению эпоса. Их называли в старину «жомокчу» – сказочниками; они зарабатывали свой хлеб профессией сказителя, постоянно бродили от айла к айлу, собирали вокруг себя слушателей, которые тут же могли дать оценку мастерству исполнителя, принять или отклонить предложенную версию. Сам сказочник внимательно прислушивался к оценкам и замечаниям аудитории, постоянно совершенствовал свое поэтическое и исполнительское мастерство, обогащал художественное содержание, философскую мысль эпоса. В результате сюжет, стиль, художественные элементы сказки подвергались постоянному совершенствованию, а потому вариант каждого талантливого сказителя «Семетей» имеет свои ощутимые отличительные черты, свою неповторимую самобытность. Постоянными же оставались основная сюжетная канва эпоса, характеры и трактовка образов главных героев, их имена, клички коней, описания одежды, вооружения. Иначе говоря, существуют традиционные элементы эпоса, которые сказитель не вправе менять, но, тем не менее, есть такие компоненты, которые могут изменяться согласно требованиям времени и ситуаций.

С прошлого века и до наших дней сказители повествуют эпос в следующей последовательности:

1. Детские годы осиротевшего Семетей в Бухаре и возвращение его в Талас.
2. Победа Семетей над Чынкожо с Толтоем и его женитьба на Айчурек.
3. Битва Семетей с Конурбаем.
4. Гибель Семетей.

Завязка всех четырех частей начинается, как правило, с конца событий «Манаса» и имеет свое дальнейшее продолжение с новеллическим завершением.

Эпизод поединка Семетей с Чынкожо и Толтоем завершается женитьбой на Айчурек. Здесь доминирует тема любви и лирической романтики с мотивами боевой героики. Эпизоды сватовства и другие явления быта насыщены описаниями народных обычаев и традиций, ритуальных церемоний, отражающих народные нравы, этику, феодально-родовое мировоззрение древних кочевников.

В образе Айчурек представлен идеал женщины. Семетей – воплощение настоящего богатыря, полного отваги, решимости, находчивости и преданности своему народу. В облике Кульчоро воспеваются храбрость, деловитость и преданность дружбе.

Кровопролитные бои и поединки подаются не как горькая, безысходная трагедия, а как жизненная необходимость в борьбе за свободу, они полны оптимизма, веры в победу, изобилуют юмором и сарказмом. События преподносятся так, что слушатель, в конечном счете, остается удовлетворенным. Герои достигают своей цели, народ празднует победу – и на этой ликующей ноте заканчивается эпопея.

Вторая часть трилогии основательно разработана многими крупными сказителями, в результате чего поэтическая форма «Семетей» более совершенна и изящна, по звучанию более музыкальна и ритмична, чем «Манаса». В эпизодах, посвященных любви главных

героев, звучит подлинная лирическая романтика, поэтому «Семетей» более распространен и популярен в молодежной среде.

«Гибель Семетей» – самая трагическая часть поэмы – вызывает у слушателей искреннее сострадание. Предательство соратника Семетей Канчоро, который, вступив в интимную связь с его женой Чачыкей, творит подлости и бесчинства, достойно гнева и осуждения. Слушатели не любят эту часть поэмы, и семетейчи зачастую пропускают ее, в силу чего она осталась неразработанной, имеет целый ряд противоречий и недомолвок.

«Битву Семетей с Конурбаем» можно считать сюжетным повторением «Великого похода». То обстоятельство, что борьба двух богатырей заканчивается довольно буднично и примитивно (Семетей отрубает голову безоружному и пешему Конурбаю), не всегда удовлетворяет слушателей, а скорее, разочаровывает и в какой-то степени снижает рейтинг любимого героя. Вот почему эта часть поэмы не пользовалась такой популярностью, как, например, события, связанные с судьбой красавицы Айчурек.

Жизнь осиротевшего Семетей в Бухаре и возвращение в Талас большинством сказителей исполнялись в традиционном плане, а порою скороговоркой, как сюжетная связка. Только выдающийся манасчи Саякбай Каралаев развил и обогатил эту сюжетную линию, введя в эпос новый эпизод – «Участие Каныкей в скачках». Саякбай исполняет этот эпизод с потрясающей выразительностью, перевоплощаясь в горемычную Каныкей. Могучий голос его скорбно дрожит, по щекам текут слезы, а вместе с ним сопереживают и плачут сидящие перед ним слушатели. А когда ее конь Тайтору приближался к финишу, звучал подлинный марш победы, и лица сидящих озарялись радостными улыбками: они искренне верили в подлинность происходящих событий.

Талантливые сказители неутомимо и скрупулезно искали наиболее действенную форму исполнения, как можно острее выстраивали интригу сюжетной линии, углубляли внутренний смысл повествования, передавали содержание эпоса с помощью жестов и мимики, выступая одновременно в качестве сказочника, композитора, певца и драматического актера. Трилогия «Манас» достигает вершин своей выразительности благодаря гармоничному сочетанию поэтического текста, музыки, вокала и пластики пантомимы. Когда сказитель исполняет эпос в традиционной форме, некоторые шероховатости текста, отсутствие стихотворной рифмы, нарушение размера строфы, тавтологические повторы воспринимаются как естественный поток живой речи. Слушатель остается буквально замороженным ходом событий, чувствует себя непосредственным соучастником, гневается и радуется, плачет и смеется вместе с героями. При перенесении устного текста на бумагу тут же теряется магия живого исполнения звука, мелодии, ритма, тембра голоса, зримого ощущения. Остается голый текст, который не всегда может удовлетворить взыскательного читателя. Саякбай Каралаев исполнял все три части поэмы, как правило, в состоянии вдохновенного экстаза. И это вполне закономерно, так как для того, чтобы сочинить грандиозный устный эпос из полумиллиона стихотворных строк в четкой канонической форме, сказителю понадобилось бы прожить не одну сотню лет.

Традиционную сюжетную канву, речевые обороты, постоянные элементы, мотивы и напевы каждый начинающий сказитель усваивал от своих учителей, месяцами и годами слушая их сказ во время сопровождения по кочевьям. Выдающийся манасчи Саякбай в юные годы сопровождал знаменитого иссык-кульского сказителя Чоюке, известный сказитель

Шапак учился у аксакала Балыка, Сагымбай – у родного брата Алишера, Алмабек – у старшего брата Дыйканбая, Багыш – у знаменитого Тыныбека. Не было случая, чтобы манасчи не имел своего конкретного учителя. Художественная манера исполнения, лексика, стиль, мелодия, а порою даже жесты и мимика учителя перенимались учениками, а те в свою очередь передавали свои традиции грядущим поколениям.

Виднейший исследователь «Манаса» Мухтар Ауэзов справедливо заметил, что истинными сказителями эпоса становились те, которые не только переняли и выучили готовый текст, но еще имели поэтический дар акына-импровизатора, способного творчески переосмыслить сюжет, отшлифовать выразительные средства, сократить или расширить отдельные эпизоды и таким образом способствовать сохранению и развитию легенды.

Словом, «Семетей» – это плод исключительно творческой фантазии не одного поколения сказителей. В фондах Киргизской академии хранятся десятки самостоятельных вариантов, принадлежащих разным исполнителям. Основными отличительными признаками этих вариантов принято считать следующие.

У сказителя Жаныбая после смерти Манаса его братья Абыке и Кобеш отправляют к овдовевшей Каныкей Серека и Сыргак, тогда как в других версиях Серек и Сыргак погибают в Великом походе, а на переговоры с ней отправляются Тазбаймат и Кыргызчал.

Одни сказители считают, что имя отца Каныкей – Карахан, а другие зовут его Темирханом, Саякбай повествует о том, как подростку Семетею о его истинных родителях рассказывает младший брат Темиркана Сарыгаз; у сказителя Жаныбая эту миссию выполняют Жекетаз, Каратаз и Сарыгаз.

По-разному представлены названия вооружений и боевых доспехов, оставшихся от Манаса, и история их приобретения. У Манаса было семь волшебных и чудодейственных вещей. В варианте Саякбая Каныкей рассказывает Семетею о двенадцати вещах: кольчуге Акколпок, ружье Аккельте, охотничьей собаке Куутайган, ловчей птице Акшумкар и других. Щенка, рожденного от синей птицы, Манас с Бакаем находят в пустыне Медины и дарят Каныкей, которая вырастила и выучила его. Когда умирает Манас, Куутайган в скорби не ест, несколько дней не спит, не встает, а потом убегает в лес. Шесть мечей Манасу падают с неба. Акшумкар является детенышем птицы Куукумпай.

По варианту Жаныбая, кумбез Манасу воздвигает дева-воительница Сайкал. В Бухаре Каныкей совершает обряд посвящения Семетея в мусульманство. В большинстве других вариантов кумбез Манасу воздвигает сама Каныкей. Об обряде над Семетеем не рассказывается.

Саякбай повествует о том, что по исполнению Семетею двенадцати лет его дед Темиркан устраивает большой праздник, где юный герой в смертельном состязании побеждает силача Теебалбана. В других вариантах подобные события отсутствуют.

По варианту Жаныбая, Темиркан решает испытать храбрость Семетея, и когда тот отправляется в Талас, посылает вслед двести воинов, приказав напасть на юношу. Когда солнце палило так, что отряд не мог двигаться, вдруг на землю опускается прохлада, которая спасает его от явной гибели. В других вариантах такого эпизода нет.

У иссык-кульских и тянь-шаньских сказителей Джакып пытается отравить своего внука Семетея. У Жаныбая подобного случая нет, а житейские раздоры Семетея со своими родственниками он излагает прозой. Другие сказители от начала и до конца рассказывают «Семетея» в поэтической форме.

Большие расхождения встречаются в вариантах «Семетея» в описаниях поминок Кокетея. Иссык-кульские сказители ввели поминки Кокетея в «Семетея» как воспоминания Толтоя. Тянь-шаньские сказители (Сагымбай, Тоголок Молдо, Шапак), как правило, рассказывают «Поминки Кокетея» в первой части эпоса «Манас», начиная с крылатой фразы: «Поминки Кокетея – начало большого раздора», т.е. Великого похода. Однако тянь-шаньские манасчи (Багыш, Акмат) данный эпизод рассказывали в контексте «Семетея».

Еще одно существенное отличие в вариантах «Семетея» причины того, почему родственник Манаса Чынкожо стал Семетею врагом. Одни сказители мотивируют это тем, что отец Чынкожо по имени Шыгай в свое время терпел притеснения от Манаса, поэтому его сын и враждует с сыном Манаса Семетеем. Другие сказители объясняют это тем, что Семетей женился на Чачыкей, в которую был влюблен Чынкожо, и они враждуют как соперники.

Варианты «Семетея» разнятся также своим художественным стилем, поэтическими и языковыми особенностями. Варианты Шапака, Жакшылыка и Багыша отличаются яркой изобразительностью, динамикой и многоплановостью сюжета, четкой художественно-смысловой завершенностью, обилием лексических архаизмов, определенным историзмом. В вариантах Жаныбая, Алмабека, Молдобасана чувствуется вторичность, хотя стихи и мелодика в их исполнении более совершенны и изящны, близки к акынской импровизации.

Поэма «Семетей» впервые была записана выдающимся казахским этнографом Чоканом Валихановым, который в прозаическом пересказе изложил эпизод «Поминки по Кокетею». После него в 1862-1869 годах русский ученый академик В. Радлов записал «Семетея» объемом в 3005 поэтических строк и в 1885 году издал в своем труде «Образы народной литературы северных тюркских племен».

После Октябрьской революции первую запись произвели из уст Тыныбека Жапиева в 1924 году, а в следующем году эпизод «Сватовства Семетея Айчурек» вышел отдельной книжкой.

Интенсивная запись эпоса «Семетей» началась с 30-х годов. В фондах Киргизской Академии наук имеется более 25 000 печатных листов текста второй части трилогии. Это варианты Саякбая Каралаева – 210 тысяч строк, Молдобасана Мусулманкулова – 35 тысяч строк, Жакшылыка Сарыкова – 67 тысяч строк, Шапака Ырысмендеева – 45 тысяч строк, Акмата Ырысмендеева – 30 тысяч строк, Багыша Сазанова – 105 тысяч строк, Тоголока Молдо – 40 тысяч строк, Жаныбая Кожекова – 100 тысяч строк, Алмабека Тойчубекова – 25 тысяч строк и др. От великого манасчи Сагымбая Орозбакова было записано 200 тысяч строк эпоса «Манас», но, к сожалению, из-за болезни и смерти сказителя «Семетея» и «Сейтека» записать не успели.

Если не считать общих сведений по эпосу «Манас», сделанных учеными прошлого века Ч. Валихановым и В. Радловым, то настоящее научное изучение всей трилогии начинается только с 30-х годов. Многие ученые, посвятившие свои труды эпосу «Манас» (М. Ауэзов, А.Н. Бернштам, К. Рахматулин, А.Н. Берков), в основном останавливаются на анализе первой части, о «Семетее» говорится вкратце и вскользь. Разумеется, эти отрывочные публикации не могли дать ясного и полного представления о содержании эпоса «Семетей».

Вторая часть эпоса «Манас» «Семетей», являясь наследием художественной культуры кыргызского народа, стала духовной пищей для многих поколений, пробуждая отвагу, до-

блесть и патриотические чувства, служила своеобразной энциклопедией по истории, географии, морали, медицине, политике, международным делам и по сей день остается сокровищницей художественного слова, образцом устного поэтического искусства.

Полный вариант эпоса «Семетей», записанный от Саякбая Каралаева, состоит из четырех глав.

После смерти Манаса по наущению его отца Джакыпа Кобеш (брат Манаса) посылает сватов к овдовевшей Каныкей с требованием выйти за него замуж. Каныкей в гневе прогоняет сватов. Тогда Кобеш с сорока дружинниками нападает на аил Каныкей, учиняет разгром, ранит Каныкей в грудь и увозит ее сестру Акылай. Чоро Ырчы-уул напоминает дружинникам о тех благах, которые они видели от Манаса и его мудрой жены Каныкей, о том, как она по-матерински опекала их, провожала в Великий поход, встречала при возвращении, оплакивала погибших. Ырчы-уул предлагает вырастить и воспитать Семетея настоящим воином, чтобы под его знаменем отомстить врагам за гибель отцов. Но дружинники не послушались и побили его.

Каныкей с маленьким Семетеем и матерью Манаса Чыйырды бежит в Бухару. В пути, оставив ребенка с бабушкой, она отлучается на поиски пищи, а вернувшись, видит, что старуха спит, а Семетея кормит своим молоком самка архара.

В Бухаре Каныкей живет у своего отца Темирхана. Брат Каныкей Ысмаил воспитывает Семетея до семи лет, учит грамоте. Семетей вырастает озорным безбожником, избивает священников. Чтобы остепенить внука, Темирхан устраивает большой той. «Для тех, кто знает, – это поминки по Манасу, а для тех, кто не знает, – той в честь Семетея», – говорит он и объявляет внука наследником хана.

В спортивном турнире кокандский богатырь Тёбалбан побеждает бухарского богатыря Акбалбана. Не выдержав позора поражения, Семетей вступает в борьбу с Тёбалбаном и убивает его.

Каныкей, загадав желание: «Станет ли Семетей богатырем и займет ли место своего отца?», выставляет 64-летнего коня Тайтору на скачки. В мужской одежде она выходит на дорогу и подбадривает скакуна. Ысмаил, недовольный поступком сестры, приказывает Семетею расправиться с нею. Семетей, не знающий своих истинных родителей, с дружиной отправляется устроить засаду и наказать Каныкей. Каныкей смотрит в подзорную трубу и видит, как ее конь идет последним. «Если Тайтору не придет первым, Семетей, не ведая, что я его мать, убьет меня из-за позора и за то, что, будучи женщиной, участвую в скачках, да еще со старым конем», – плачет Каныкей. Но тут святые духи Алмамбета, Чубака, Сыргака, подгоняя Тайтору, выводят его вперед, оставив позади шестьсот скакунов. Каныкей сопровождает Тайтору. Семетей в азарте помогает своей вдовой «сестре», и старый скакун первым достигает финиша.

Ханы, заметив богатырскую силу Семетея, решают убить его. Мать Манаса, 95-летняя Чыйырды, просит Каныкей показать ей внука. Каныкей приводит Семетея, передает ему одежды и доспехи Манаса. Семетей восхищен заботливостью «сестры». «Был бы я ее сыном», – втайне думает он. Узнав от неё о злонамерениях ханов, избивает и разгоняет их.

От живущего в лесу угольщика Сарытаза Семетей узнает о своем происхождении и, потрясенный узнанным, не принимает пищу, ни с кем не разговаривает. Каныкей вынуждена

рассказать сыну о Манасе, о его победах, о походе на Китай, о гибели лучших кыргызских воинов и его самого от руки Конурбая и просит вернуться на Родину.

Семетей едет в Талас, встречается с Бакаем, посещает могилу отца. Верблюд Каранар, лежавший здесь со дня погребения Манаса, переставший лаять Куутайган, улетевший сокол Акшумкар, конь Тайбуурул – все возвращаются к Семетею. По наставлению матери Семетей приносит в жертву верблюда Каранара и снимает с него золотую уздечку.

Семетей встречается с кузнецом Бёлекбаем, вдовой Алмамбета Бурулчой, его сыном Кульчоро и со своим дедом Джакыпом. Джакып дает Семетею угощение с ядом. Но Семетей выкидывает пищу собаке, а сам отправляется к дядям Абыке и Кобёшу. Абыке встречает Семетея с распростертыми объятиями и слезами. Кобеш ранит Бакая, не желая возвращать отнятое у Каныкей добро, и начинает вражду с племянником.

По дороге в Бухару Семетей, не узнав сестру Манаса Кардыгач, вступает с ней в поединок. Бакай догоняет их и знакомит. По возвращении Семетея Темиркан женит внука на дочери Шаатемира Чачыкей и всех вместе с Сарытазом провожает в Талас.

Народ с радостью встречает Семетея. Но дед его Джакып, дядя Абыке и Кобёш, бывшие дружинники Манаса, затаив злобу, готовы предать его в любую минуту. Семетей вынужден расправиться с предателями, оставив в живых только Кульчоро и Канчоро – сыновей Алмамбета и Чубака.

Старая Каныкей в знак братания дает им свою материнскую грудь. Кульчоро высасывает из её груди молоко, Канчоро – кровь.

Семетей отправляет Бакая к Чынкожо с просьбой вступить с ним в союз, но тот оскорбляет послов и отклоняет предложение.

Нареченную невесту Семетея, красавицу Айчурек, Чынкожо решает выдать за своего брата Толтоя и осаждают город Акунхана. Айчурек, обманув Толтоя, превращается в белую лебедь, летит к Семетею, видит его в полете, влюбляется и похищает его любимого сокола Акшумкара. Семетей отправляется на поиски пропавшей птицы и знакомится с Айчурек. Узнав о случившемся, Чынкожо с Толтоем готовятся к сражению. Толтой во время разведки встречается с Кульчоро, получает рану, бежит к Чынкожо, рассказывает ему о Манасе, предупреждает, что они не смогут одолеть Семетея. Однако Чынкожо, не послушавшись Толтоя, вступает в бой и погибает.

Семетей отдает Кульчоро свой боевой трофей – скакуна Суркоена. Канчоро обижен за то, что конь подарен не ему.

Семетей женится на Айчурек и возвращается в Талас.

Желая отомстить Конурбаю за смерть Манаса, Семетей, Бакай, Кульчоро и Канчоро уничтожают сторожевую лису, хитрую утку, горного барана, охранявших границы владений Конурбая. Семетей узнает, что Конурбай, оставив своего скакуна Алгара, пересел на другого коня. Карагул, главный конюх Конурбая, выдает себя за младшего брата Манаса, ранит Семетея в голову и сбегает. Семетей падает в воду, начинает тонуть, но конь его Тайбуурул, подав хвост, спасает своего седока.

Конурбай, собрав большое войско, нападает на Талас и ранит Семетея. Айчурек перешагивает через тело Семетея – и пуля выпадает из раны. (Согласно верованию, такое бывает лишь в том случае, если жена непорочна и верна своему супругу).

Излечившись, Семетей преследует Конурбая и отсекает ему голову.

Кыргызское войско подступает к китайскому городу Бейджину. Навстречу выходит Кунжанжун, преподносит Семетею дары в тысячу слонов, груженных золотом, и тысячу красивых девушек. По совету Бакая Семетей принимает дары и возвращается в Талас.

Казахский богатырь Уметей – сын покойного Кокчѐ, не послушавшись народа, решает отомстить за смерть своего отца, погибшего в Великом походе. С большим войском он идет на Талас. Кульчоро, выехав навстречу, радушно приветствует Уметея, но тот говорит ему: «Пусть Семетей заплатит виру за смерть моего отца, отдаст мне коня Тайбуурула, а племя аргынов – в рабство, иначе я истреблю кыргызов». Кульчоро сообщает об этом Семетею. Каныкей с Бакаем говорят Семетею: «Манас и Кокчѐ были верными друзьями. Из уважения к духу славного Кокчѐ отдай глупому Уметею все, что он просит. Подружитесь, казахи и кыргызы – родные братья». Семетей отправляет к Уметею Кульчоро с напутствием: «Если он готов на дружбу, веди его сюда! Если скажет «нет» – принеси его голову!». Увидев Кульчоро, Уметей бросает клич «Кокчѐ!» и нападает на него с копьем. Кульчоро вынужден убить Уметея. Семетей, погрузив тело Уметея на Тайбуурула, отправляется к его матери – своей тётке Акэркеч.

Акэркеч, чтобы отомстить за гибель сына, сыплет в уши коня Тайбуурула песок, вонзает в копыта иглы и бросает его в глубокую яму. Канчоро пишет Кыязу: «Семетей лишился своего коня. Теперь можешь отомстить ему за смерть своего брата Толтоя!».

В день, когда должен прибыть Кыяз, Канчоро уговаривает Семетея пойти на могилу Манаса: «Совершим молитву и принесем в жертву скот». Айчурек сообщает мужу о своем дурном сне, но тот, оттолкнув ее со словами: «Не загораживай путь мужчине!», – выезжает из дома.

Семетей с Кульчоро и Канчоро приносят в жертву кобылицу у могилы Манаса, читают молитву. В этот момент появляется войско Кыяза. Канчоро, перейдя на сторону Кыяза, стреляет в Семетея. Начинается жестокая битва. Кульчоро, потеряв коня, попадает в плен. Копье Кыяза смертельно ранит Семетея. Начинается сильный ураган и уничтожает войско Кыяза. Семетей исчезает из глаз...

Такова сюжетная канва поэмы «Семетей» – второй части трилогии эпоса «Манас».

В третьем части эпоса речь пойдет о внуке Манаса, сыне Семетея – доблестном Сейтеке.

## ÑĖĬ ÂĬ Î Á ÂÂÛĬ ÐÂ

\*\*\*

В истории народного образования Киргизии было несколько знаменательных событий, в которых принимал активное участие Ташим Байджиев – просветитель, педагог и ученый. Ташим – один из первых авторов учебников по киргизской литературе.

*Зияш Бектенов*

\*\*\*

При знакомстве с опубликованными художественными произведениями Ташима Байджиева, его журналистскими очерками и литературоведческими статьями бросаются в глаза многогранность, своеобразие и неповторимость его творческого дарования. В отличие от многих своих современников, Байджиев – писатель никогда не отходил от позиций правды жизни и художественного реализма, а Байджиев – ученый никогда не изменял научным принципам, не делал уступок политической идеологии.

В художественном творчестве Ташим Байджиев повествовал о событиях, свидетелем которых он был сам.

Несмотря на то, что художественное наследие Ташима Байджиева невелико и занимает скромное место, он был одной из ярких личностей, стоящих у истоков профессиональной киргизской литературы.

*Салиджан Джигитов*

\*\*\*

Пьеса «Джигиты» является произведением зрелого мастера, созданным в традициях реалистической литературы. Она свидетельствует о широком кругозоре, глубоком интеллекте и высокой художественной культуре ее автора. Т. Байджиев в подлиннике читал русскую классику, через русский язык прекрасно знал мировую литературу, в его переводах шли на киргизской сцене пьесы А.Н. Островского, К.А. Тренева, М.А. Светлова.

Подобно тому, как А.П. Чехов писал свою «Чайку» вопреки установившимся традициям, Т. Байджиев создавал своих «Джигитов» в противовес урапатриотическим пьесам о войне, ставившимся в то время на сценах страны... Пьеса не дошла до своего читателя и зрителя в свое время благодаря усердию охранников тоталитарного режима, а ее автор был незаслуженно репрессирован, – это не только горькая судьба самого Т. Байджиева, это трагедия киргизской литературы и искусства. Трагедия ушедшего века...

*Советбек Байгазиев*

\*\*\*

В судьбе моего отца Ташима Исхаковича Байджиева, как в фокусе сферического зеркала, отразился тернистый путь киргизской культуры, языка, науки, судьбы творческой и научной интеллигенции, киргизского народа, государства, всей страны Советов, построенной и разрушенной в прошлом столетии.

*Мар Байджиев*

# НИКОЛАЙ ЧЕКМЕНЕВ

## ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

### *Повесть*

Ната вновь увидела знакомые горы и все, что было два года назад, вспомнилось вмиг, как давно забытая, любимая песня. Она шла по улице Дзержинского, опустив глаза, словно искала следы того, с кем ходила раньше по тенистым аллеям бульвара. Но не осталось любимого на этой счастливой земле.

Все, что видела Ната в этом городе, напоминало о нем. Здесь они были проездом. Прошли два года, но, казалось, это было вчера. Они сидели во дворе, у знакомых мужа, в беседке, обвитой буйным хмелем. Пили чай с вишневым вареньем, шутили, смеялись. Потом шли в городской парк, вот по этой улице, где по звонкому асфальту тихо шуршали шины автомашин, где стояли рядами кудрявые карагачи, где белые домики, поблескивая стеклами окон, прятались за живые ограды тополей.

Какое хорошее, веселое время было для Наты! Сема вел ее под руку, и она так остро ощущала крепкие мышцы под мягкой тканью гимнастерки. Казалось, эта рука давала ей необычайную силу и бодрость. Легко было шагать вместе с любимым и хорошо бы так идти всю жизнь...

Городской театр, в окружении могучих дубов тенистого парка, был переполнен. Шла опера «Ай-Чурек». Сема говорил, что им нужно побывать на всех спектаклях Киргизского театра, ведь они приехали в страну, о которой раньше ничего не знали и теперь надо спешить все увидеть, осмыслить и понять.

Несколько дней они гостили у знакомых в городе Фрунзе. А затем на машине Киртранса ехали в горы. Седой и дикий Боом, бурные реки, синие волны Иссык-Куля, темные ущелья, крутолобые утесы, тяжелые перевалы, покрытые вечным снегом вершины хребтов, – все это видела она, видела впервые и вскоре привыкла к новой жизни на высоких долинах Тянь-Шаня. Но судьба жестоко посмеялась над счастьем Наты, не прошло и полгода, как она ехала обратно. И ехала одна. Сема остался в горах. И она знала, любимый никогда больше не вернется, никогда.

Как возненавидела Ната суровые горы и людей, населяющих эти места. Она проклинала тот день и час, когда впервые ступила на эту землю. Встретив где-либо жителя гор в бараньей шубе, в шапке, отороченной пушистым мехом, она думала: «Басмач... Вот он убил моего Сему...». Больше она не могла жить в горах ни одного дня.

Два года бродила Ната по стране. На раздольях Волги, на берегах Черноморья под рокот волн, в лесах Забайкалья, – везде следовала за нею, как тень, память о муже. И вот она вернулась в Киргизию. Для чего? Не знает сама. Может быть, грозные горы, величественно и недосыгаемо сверкающие на солнце еще раз напомнят былое, и тоска переполнит ее сердце. А потом выплечет, выльет она до дна свое горе и ей станет легче.

Поезд пришел в полдень. Ната оставила свои вещи на вокзале в камере хранения и пошла искать знакомых. Друзья Семы жили в двух шагах от вокзала. Но их на старой квартире не было. В гостинице все номера заняты. Ната пришла в Дубовый парк, устало опустилась на скамью, не зная, что делать дальше, куда идти.

За оградой, в окружении молодых елочек, высился тяжелый квадрат братской могилы со старинными пушками по углам. С этими пушками красные партизаны делали революцию в городе Пишпекке. А теперь пушки остались, как память о былом. На огромной доске написаны десятки имен. Родина великого полководца свято хранила имена героев. «Вот и Сема... Осталось от него только одно имя. Нет, не надо... Довольно».

Ната вышла из парка. Около высокого фасада кинотеатра «Ала-Тоо», украшенного киргизским орнаментом, она увидела сотни детей. Издали их говор и смех был похож на веселое щебетание птиц. Дети пришли на дневной сеанс. У входа в кино высился огромный плакат. Над шумной толпой детей стоял непомерно длинный музыкант. Такие могут быть только на плакатах. Музыкант держал в руках саксофон и весело улыбался, глядя на облака, плывущие высоко, в голубом просторе. На другом плакате в стремительном порыве протянул вперед руку человек в черной папахе. А рядом с ним, другой, помоложе, напряженно склонился над пулеметом. Дети пришли посмотреть еще раз на своего любимца – Чапаева.

Лицо Наты оживилось. Она радостно улыбалась, глядя на детей, и в этот миг забыла о себе и о том, что ей сегодня негде переночевать. Затем она медленно перешла улицу и остановилась у голубой будки. стакан чистой газированной воды приятно освежил гортань. Он любила газированную воду, без сиропа, особенно в жаркий день. Ната остановилась в тени карагача. За деревьями бульвара в конце улицы был виден вокзал, а над ним и над всеми строениями города она увидела все те же первозданные горы, пленившие своей красотой в то время, когда Ната была так счастлива и беспечна.

- Ната?... Какими судьбами?

Она вздрогнула и повернулась. Перед Натой стоял Дмитрий Егорович. От него несся запах дешевого одеколлона. Он только что вышел из парикмахерской. Лицо его сияло, вокруг глаз весело смеялись морщинки.

- Дмитрий Егорович! Как я рада! – воскликнула Ната. Лицо ее вспыхнуло.

Такой взволнованной **встречи** Дмитрию Егорович никак не ожидал, и сам был тронут трепетным пожатием рук и долго с упоением глядел в ее бирюзовые глаза. Обеими руками, огромными и крепкими, словно дубовые коряги, он держал руки Наты, не выпуская, и все еще не верил своим глазам. Она ли это?

- Так. С приездом, стало быть?

- Да. Сегодня приехала, – ответила Ната, – и не знаю где мне остановиться. Вещи оставила на вокзале.

Дмитрий Егорович взволнованно потер лысину. Лицо его сморщилось.

- Плохо. Друзья-то уехали. Что ж, ночуешь у меня. А завтра – будет видно.

- Удобно ли это? Ну, все равно. Едем к тебе.

Теперь Ната весело смеялась. Но вдруг она смолкла. Дмитрий Егорович озабоченно **смотрел** на ее прическу, и Ната это быстро подметила. Он двумя пальцами, словно опасаясь вспугнуть кого-то, снял с головы желтый листок карагача, тонкий и прозрачный, как крыло бабочки. Ветерок шелестел над ними в буйном раздолье ветвей, и тихо слетали на землю желтые листья. Ими была усыпана аллея бульвара.

- Ну, что? – удивилась Ната. – Желтый, вялый.

- Да, – вздохнул Дмитрий Егорович, – зелень вокруг. А вот эти листья желтеют.

- Помнишь картину Левитана? Она висела «над рабочим столом Семы. Золотая осень...»

Дмитрий Егорович вновь смотрел на ее темно-русые локоны. Там редко змеились тонкими струями седые волосики, как знак раннего увядания.



- Снова увиделись. А ты говорила: не встретимся, – взволнованно, как юноша лепетал Дмитрий Егорович.

- Ну, едем ко мне, едем Ната.

Он взял такси, и через полчаса Ната сидела в комнате Дмитрия Егоровича, на кушетке, чувствуя себя как дома. В окно приветливо заглядывали ветви яблони. В садике за окном было тихо и бездумно. Дмитрий Егорович крупными шагами мерил маленькую комнату, и все время потирал подбородок. Это был верный признак его волнения. Но даже и в такие минуты он был по своему обыкновению немногословен, говорил отрывисто и кратко.

- Я живу один, как перст. Да и ты теперь одна. Такая судьба. Но я не жалею. Некогда. Работа.

Ната следила за его медленными движениями и вспоминала: таким он был всегда – замкнутый, не любивший много говорить о себе. Он, бывало, подолгу молчал, и Ната любила наедине с ними предаваться своим раздумьям. Если в обществе с другими невольное молчание смущало, то в присутствии Дмитрия Егоровича, оно было приятным и даже как бы необходимым.

- Будем, как встарь Митя, – сказала Ната.

- Хорош Митя! – улыбнулся Дмитрий Егорович, – у Мити лысина. И ему сорок пять лет.

- Это ничего не значит. Для меня ты памятен с тех пор, когда я еще не знала Сему.

- В палисаднике у вас береза была. Помнишь?

- Помню, – усмехнулась Ната. – Мы сидели на скамейке у нашего дома. И ты весь вечер молчал. А я не знала куда деваться.

- А что было говорить? Я любил тебя.

- Удивительно, об этом я узнала спустя много лет!

Дмитрий Егорович остановился у окна и, глядя на корявый и кривой ствол яблони, сказал:

- На той березе я вырезал твое имя.

- За это я получила выговор от родителей, – добавила Ната.

Вспомнив свою родину и молчаливую любовь земляка, Ната вдруг со всей ясностью поняла, что никогда, ни при каких условиях она не могла бы полюбить этого человека. И теперь, глядя на его лысину, Ната невольно вздохнула. Старый холостяк любил ее, любил глубоко и стойко. Он, как аскет, пронес через всю жизнь затаенную любовь. Он подружился с Семой. Дружба их была удивительно крепкой. Противоположные по характеру, по образу мыслей, они как бы дополняли друг друга. Они никогда не ссорились. Если Семен кипятился и был чем-либо раздражен, Дмитрий Егорович молчал и тихо улыбался. Пыл проходил, и Семен начинал смеяться сам над собой. Тогда друзья садились за шахматы. Долгие зимние вечера они просиживали втроем за столом в дружеских беседах и расходились только тогда, когда Ната напоминала, что пора спать. Дмитрий Егорович прощался, и в его глазах горели веселые огоньки. Он словно был утешен чужой радостью. Никто не знал, что творилось у него в душе. Он подолгу спокойно, с доброй улыбкой смотрел в лицо Наты и, казалось ей, что он вполне счастлив.

Теперь все было, как и раньше. Только не было Семы. Дмитрий Егорович, словно угадав ее мысли, сказал:

- Болезнь затянулась. Надо поправляться. Пора. У тебя – вся жизнь впереди.

- Нет, Митя. Это – неизлечимо.

- Пустяки. Меньше думай. Делом займись. Дело увлечет. Киргизы говорят: если муж умрет, вдова другого мужа найдет.

- Я тебя не узнаю, Митя, – вспыхнула Ната, – как это грубо и жестоко с твоей стороны. Ты был другом Семы...

- Да. Правда всегда груба и жестока. Мы тоже умрем. А пока живы, надо жить и найти свое место под солнцем.

- Нет, нет. Никогда больше, никого я не способна полюбить... Все мужчины противны и ненавистны мне. Нигде не найду я настоящего друга.

Дмитрий Егорович сел рядом с Натой на кушетку и осторожно прикоснувшись своей тяжелой рукой к плечу Наты, пристально посмотрел на нее.

- А я? Разве не друг?

Ната долго молчала. Она увидела в глазах Дмитрия Егоровича глубокую грусть и словно из жалости, медленно промолвила:

- Ты друг. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

- Ну, вот. Давно бы так. Будем жить, Ната. Помогу тебе забыть прошлое.

- Я сама давно хочу забыть, но не знаю как.

- Есть хорошее средство.

- Какое?

- Едем в горы.

- В горы? Опять в горы?

- Да. Природа – лучший врач.

Дмитрий Егорович вдруг оживился, что было для него не совсем обычным. Может быть, это он сделал искусственно, чтобы увлечь Нату.

- Послушай, Ната. Мы вдвоем с парнем прошлую зиму жили на метеорологической станции в горах. Высота – три тысячи метров. Глушь. Дичь. А мы не скучали. Как хороша там осень. Какая охота! Стада иликов, архары. Зимние вечера. На горах вьюга. А у нас в доме – тепло. Так уютно было сидеть у камелька. И думаешь, мы были оторваны от мира? Нет. У нас радио. Все помыслы наши вместе со страной. У нас – книги. Столько перечитано! Наблюдение за погодой и передача сводок – дело не хитрое. Досуга много. Был бы я ученым, за эту зиму научный труд написал бы.

- Представляю: какая скука прожить целую зиму в горах.

- Нет, ошибаешься, Ната. В этом есть своя прелесть. Поэзия.

- Насколько я знаю, у тебя натура не поэтическая.

- Представь себе, Ната. За эту зиму я писал дневник. Своего рода Толстой.

- Неужели? Это интересно.

- Можешь почитать на досуге. От тебя ничего не скрываю.

Ната обвела взглядом комнату, и от ее пронизательного взгляда не ускользнуло, что здесь в уютно обставленной комнатке оставила свой след заботливая женская рука. Она знала, что старый друг солгал, не все он открывает перед нею. Слегка улыбнувшись, она спросила, подойдя к туалетному столику.

- Митя, откуда у тебя это?

Дмитрий Егорович смутился, увидев в ее руках коробку пудры и помаду. Ната рассмеялась.

- Знаю тебя, старый грешник!

Чтобы замаять начатые Натой вопросы, он снова начал рассказывать о зимовке в горах, о своей работе, о своих планах на будущее. Ната слушала его внимательно и в ее пылкой и впечатлительной натуре уже зрело решение. Дмитрий Егорович особенно подробно останавливался на рассказе о своем товарище, о его альпинистских походах на высокие недоступные пики. Это Нату заинтересовало, и она с большим вниманием слушала его.

- Хорошо, Митя, – прервала Ната, – скажи, что ты мне предлагаешь?

- Меня вновь посылают начальником высокогорной станции.

- Ну и что же?

- Поедешь с нами в горы? Будешь нашей хозяйкой.

Ната задумалась. Ее двенадцать лет жизни с мужем были принесены в жертву домашнему уюту, и вот когда Семь не стало, она лишилась всего и с ужасом поняла, что, прожив лучшую половину жизни – не научилась жить. Она нигде до сих пор не работала, не служила, не имела никакой специальности. Дмитрий Егорович вновь прервал ее раздумье.

- А лето в горах. Ты знаешь. Это не лето – весна. Ты не видела, как цветут эдельвейсы? На зеленом ковре трав белые звездочки. Эдельвейсы цветут на большой высоте. Во времена рыцарства поднести любимой даме букет эдельвейсов было подвигом. Легенда о них пришла из Европы, с Альпийских гор. Обычно, если дама хотела избавиться от надоедливого любовника, она посылала его в горы, за эдельвейсами. Многие погибали, не достигнув цели. А вот мы – жили на такой высоте.

- А какова дорога на вашу станцию? – спросила Ната.

- Дороги нет. Можно проехать только верхом, по конной тропе.

- Я никогда не ездила верхом на коне.

Ната замолкла. Но теперь она воодушевлено смотрела в лицо старого друга, и Дмитрий Егорович видел, что она почти согласна с его предложением. Он не ошибся. Ната, решительно **встряхнув** головой, сказала:

- Мне теперь все равно куда ехать. Но с тобой лучше. Поедем за эдельвейсами! Дмитрий Егорович радостно жал ее руку и с необыкновенной нежностью говорил:

- Я знал. Ты будешь согласна. Вот увидишь. Скучать не будем. Дружеская беседа затянулась надолго.

Вечером они ужинали в ресторане и вернулись на квартиру Дмитрия Егоровича, усталые от воспоминаний и удовлетворенные тем, что завтра есть, чем заняться. Их ожидали совместные дела, заботы, сборы в дорогу.

Дмитрий Егорович устроил постель Nate на кушетке.

- Выключи свет – сказала она – я буду раздеваться.

Старый холостяк в этот день наговорил столько, сколько не мог высказать в течение двух лет. Поэтому был взволнован и не мог уснуть. Он слышал, как шуршало платье Наты, когда она раздевалась. Слышал, как скрипнули пружины кушетки, когда она легла. Слышал, как она засыпала, утомленная впечатлениями дня. И вот в темноте ночи только тикали монотонно часы да сверкал огонек его папиросы. А затем все погрузилось в тишину.

## II

Встреча с Дмитрием Егоровичем пробудила с новой силой поминания о прошлом. И теперь Ната убедилась, что надо начинать жизнь сначала. Медлительный и уравновешенный Дмитрий Егорович был занят одной заботой – как можно скорее выехать на высокогорную станцию. Ната, подчиняясь принятому решению, деятельно готовилась к новой жизни в горах.

От города Фрунзе до Иссык-Куля они ехали той же дорогой, по которой Ната ехала два года тому назад. Но теперь ей все казалось иным. Поля Чуйской долины желтели жнивьем убранных хлебов, яркой зеленью выделялись квадраты клеверников. Колхозы Чуйской долины начинали уборку свекловичных полей. Шумное оживление было на пристани в Рыбачьем, при посадке на паром. И вот они плыли по Киргизскому морю. Ветерок дул с востока, влажный и соленый. Навстречу пароходу бежали легкие волны. Белые гребни волн то возникали, то исчезали на синем просторе. Казалось это сотни, тысячи лебедей то ныряли, то всплывали над водой, играя, взмахивая крыльями. На юге, за голубым раздольем высились громады Терской Ала-Тоо.

На южном берегу Иссык-Куля их ожидал проводник с лошадьми. Он с ловкостью человека, привыкшего кочевать, навьючивал коней, предвидя, что если на месте плохо навьючишь ящики, то в пути их труднее увязывать. Три коня стояли поодаль. Они были подседланы. Один из них был предназначен для Наты. Около коней стоял третий участник зимовки – Слава Заречный, молодой метеоролог.

- Познакомьтесь. Будем жить вместе, – промолвил Дмитрий Егорович. Слава пожал руку Наты, назвав свое имя, и затем добавил.

- Так это вы будете нашим завхозом? От души сожалею.

- Почему? – удивилась Ната.

- Скучать будете. Перевалы покроет снег. Ни пройти, ни проехать. Сиди на месте и кукуй. Мы то привыкли. А вот вам будет не совсем удобно. Захотите домой, к папе и маме.

- Не беспокойтесь, молодой человек, – холодно ответила Ната, – папы и мамы у меня давно нет. А дом для меня там, где я живу. Посмотрю я, кто вперед вспомнит маму.

- Ого! Какая вы гордая, – усмехнулся Слава, окидывая ее с ног до головы недружелюбным взглядом. С растрепанными волосами, с обветренным лицом, на котором обозначались первые морщинки, в старом запыленном платье, она казалась ему старше своих лет, и ничего привлекательного в пожилой женщине он не увидел. Дмитрий Егорович помогал проводнику и не обратил внимания на едкие реплики, которыми обменялись Ната и Слава. А между тем Заречный с явным негодованием косился на своего начальника. «Черт лысый с бабой связался» – подумал он и представил себе жизнь на зимовке. Теперь между ними встанет женщина. Кто знает, какова она? Может статься прежде времени убежишь в Каракол и бросишь все. Слава был почти готов отказаться от задуманного предприятия. Только неистребимая любовь к горам удерживала его. Подозревая Дмитрия Егоровича в сожительстве с новым завхозом, Слава еще раз окинул Нату взглядом, полным презрения, и спросил:

- По горам ездили?

- Да. Бывала. Только на машине.

- А верхом на лошади?

- Нет. Никогда не ездила.

- Ну, тогда совсем дело дрянь.

- А почему вас так беспокоит все это?

- Боюсь, упадете в пропасть. Будет много хлопот.

Ната расхохоталась. Заречный вспыхнул и отвернулся к лошади. Уцепившись за подпругу, он стал испытывать, насколько крепко она подтянута. Ната продолжала смеяться, удивляясь непонятному смущению Славы. Худощавый и тонкий, в узких брюках, заправленных в сапоги, в гимнастерке, перехваченной на тонкой талии широким поясом, Слава Заречный

показался Нате глупым и заносчивым мальчишкой, который прежде времени хочет быть похожим на комиссара времен гражданской войны. Фуражка военного образца завершала собой подчеркнутую внешность Заречного. Не хватало только страшной колодки маузера. Слава сурово супил брови, но пушок еще небритых щек выдавал его несовершеннолетие.

Подошел Дмитрий Егорович. Он одобряюще хлопнул Натю по плечу и сказал:

- Ну, вот и готовы в путь.

Чтобы доказать Заречному, что ей не страшна дорога по горной крутизне, Ната подчеркнуто равнодушным тоном спросила, показывая на лошадей.

- Которая из них моя?

- Выбирай любую.

- Я вот на этой поеду, – показала Ната на гнедого коня. Он был выше других и бойко мотал головой, отгоняя мух.

- Нет, нет, ошиблась, – возразил Дмитрий Егорович, – на нем поедет Слава. Этого коня надо уметь вести. А тебе надо помирнее. Пожалуй, вот эту серую кобыленку.

Ната удивилась, когда он успел изучить норы коней и с обидой в голосе, словно Дмитрий Егорович умысленно обнаружил ее неопытность, промолвила:

- Выбирай сам. Все равно. На любой поеду.

Дмитрий Егорович отвел в сторону, выбранную им серую кобылу и, положив на седло одеяло, чтобы Нате было мягче сидеть, стал подтягивать постель ремнем. Сидение стало еще выше, и Ната со страхом подумала, как на глазах Заречного она будет садиться верхом. А между тем Слава Заречный следил за всеми движениями Наты и сам пока не садился, держа своего гнедого за повод. «Хорошо им, – думала Ната, – а вот у меня еще платье мешает». Ната занесла левую ногу в стремя, но почувствовала, что забраться в седло она не сумеет. Дмитрий Егорович поддерживал ее под руку и ободрял. Проводник держал кобылу за повод и с любопытством наблюдал, что будет дальше. Ната деланным смехом хотела не выдать смущения, но лицо ее покраснелось.

- Нет, не могу, седло высокое...

Дмитрий Егорович завел кобылу в арык и только с бугра, подобрав платье, она наконец взобралась на лошадь, быстро оправив платье, закрывая обнаженные колени. Проводник подал ей поводья и кобылка без понукания пошла вперед, почувствовав на себе седока. В седле было очень удобно и мягко, как на подушке. Дмитрий Егорович едучи рядом, поучал.

- Если что будет плохо, поводья не натягивай, держись за луку седла. Лошадь сама пойдет. Нате стало весело. Было уже не так страшно ехать верхом, как это ей казалось вначале. Кобыла, мирно помахивая хвостом, шла по дороге.

- Скакать мы не будем, а так можно уехать даже в Америку, – добавил Дмитрий Егорович. Слава Заречный последним вспрыгнул в седло и стоя на стремях, лихо проскакал мимо.

Гнедой, подстать седоку, гордо задрал голову, поводит ушами и отфыркивался, подняв за собой тучи пыли. Слава Заречный обогнал навьюченных коней и проводника, едущего впереди. Вскоре он скрылся за косогором, где дорога сразу же пошла на подъем, в гору. Когда Дмитрий Егорович и Ната остались одни, она сказала:

- Не нравится мне этот Заречный. Хвастун и задира.

- Парень хороший. Напрасно так думаешь, – возразил Дмитрий Егорович. – Я его знаю второй год. Это просто молодость.

Ната ничего не ответила, и дальше они ехали молча, любясь голубой далью Иссык-Кудя и величием гор, стоявших перед ними сказочной громадой, которую предстояло одолеть. Проехав ущельем, где клочкотала и билась о камни берегов белопенная река, они выехали на простор речной долины. Здесь река разлилась, и путникам предстояло переехать ее вброд. Проводник остановил коней и стал присматриваться к течению. С противоположной стороны ехала группа всадников. Все они были одеты в бараньи длиннополые шубы и когда направили коней вброд, показалось, что они плывут по реке. Вода бешено била по ногам лошадей, увлекая их по течению. Кто-то громко пел и голос его временами тонул в грохоте реки. Но вот один из всадников внезапно рухнул в воду. Его лошадь видимо передними ногами оступилась в яму. Всадник окунулся с головой. Ната видела, как барахтался киргиз в воде, как отчаянно выбиралась лошадь на мелкое место, и у нее все похолодело внутри.

- Джаман... джаман... – качал головой проводник. А между тем все остальные благополучно переехали брод. Искупанный всадник отряхнулся, поправил шапку, и как ни в чем не бывало, вспрыгнул в седло. Проезжая мимо проводника, он приветливо кивнул головой, но с таким видом «мы то проехали, посмотрим, как вы проедите». С его шубы стекала вода, лошадь упорно отфыркивалась, видимо, хлебнув воду.

- На воду не смотри, на голову лошади смотри, – предупредил Дмитрий Егорович, – правь следом за мной, не бойся.

Проводник направился первым, за ним следом навьюченные лошади. Затем тронулись Дмитрий Егорович и Ната. Позади всех остался Слава Заречный. Ната заметила, вид у него был беспечный, в карих глазах сияла насмешливая улыбка. Вода заклокотала под ногами коней. Ната ощущала, как сотрясается под нею корпус лошади. Кобыла шла медленно и осторожно, скользя копытами через невидимые под водой камни. Ната слышала глухие удары подков о предательские камни. От шума и грохота реки звенело в ушах, вода стремительно бежала вперед, и показалось ей, что лошадь не идет вперед, а пятится назад. К глотке подступила тошнота. Ната бросила поводья и обеими руками вцепилась в луку седла. Мучительно медленно шла лошадь по броду, и не видно было конца этой пытке. Еще бы один толчок и Ната не удержалась бы в седле, но она вспомнила совет Дмитрия Егоровича – не смотреть на воду. Теперь на воду она не смотрела, не видела ничего и впереди, кроме ушей и гривы своей лошади. Но вот и эта последняя опора исчезла. Внезапно голова лошади скрылась под водой. Кобыла упала на колени, но быстро вскочила и опять упала – голова ее вновь была под водой. Лошадь затряслась всем телом, но удержалась. Видимо, могуч был в ней инстинкт жизни. В несколько прыжков кобыла выбралась из глубины и только на берегу, когда Дмитрий Егорович заботливо ссадил Натю с седла, она очнулась от страха и нервно рассмеявшись, сказала:

- Теперь я ... крещеная.

Насмешливая улыбка исчезла с лица Славы Заречного. Он с теплотой и участием обратился к Нате.

- У вас ноги промокли. Надо надеть сухие чулки.

- Не беспокойтесь, молодой человек, я сама знаю, что надо делать, – холодно обрезала Ната.

- Да, да, – спохватился Дмитрий Егорович, – сухие чулки. Обязательно. Иначе и заболеть недолго.

- А вот и не буду болеть, – заупрямилась Ната. – На таком солнце все высохнет. Киргиз в шубе искупался и то ничего. А я разве из глины слеплена?

Дмитрий Егорович вновь хотел помочь ей сесть на лошадь, но Ната отказалась.

- Не мешай, Митя. Я сама.

Приняв первое боевое крещение, Ната уверенно дернула за поводья свою кобылу, подвела к бугорку и, встав на него, вскарабкалась на седло.

Конная тропа повела на подъем, по крутому склону. Внизу бушевала река, а над головой нависали угрюмые скалы, казалось готовые сорваться и похоронить под тяжелыми глыбами. Лошадь вспотела, и низко опустив голову, медленно шла вперед, карабкаясь по тропинке. Подковы резко скрежетали по щебню, временами из-под ног лошади срывался камень и летел в пропасть. Ната старалась не смотреть в темный провал ущелья, а только смотрела вперед, на крепкую и надежную спину Дмитрия Егоровича.

Выехав на вершину гребня, проводник решил дать отдых лошади. Все спешили и долго любовались грандиозной картиной. Голубые воды Иссык-Куля, словно опрокинувшееся небо, теперь были далеко-далеко внизу, покрытые пеленой полуденной хмари. Но отдых был короток. Проводник сказал, что до наступления ночи им надо преодолеть один небольшой перевал и на ночь остановиться на джайлоо. Каков это был перевал, Ната узнала только после и надолго запомнила его.

- «Куда понесло меня? – сожалела Ната, – зачем я его послушала?»

Начали ныть ноги, каждый шаг лошади болезненно колот ее сердце. Ната слезла с лошади и пошла пешком, но вскоре совсем изнемогла. Подъем был крутым. Началась тяжелая отдышка. Тогда она опять кое-как вскарабкалась на седло и, стиснув зубы, отдала себя воле неутомимой кобылы. Дмитрий Егорович спрашивал часто, как она себя чувствует, не нуждается ли в отдыхе. Но она упорно молчала. А проводник все торопил.

Но вот скалы отступили, и тропа вывела путников на плоскогорье. Слава Заречный поравнялся с Натой. Они молча ехали рядом.

Заречный, освободив одну ногу от стремени и свесив ее, беспечно помахивая плеткой и сдвинув на затылок фуражку, смотрел на снеговые пики хребта. Ната искоса окинула его взглядом и позавидовала тому, с какой легкостью и изяществом он держался в седле, словно родился на коне. Гибкий корпус его, тонкая талия и бодрая поступь коня словно составляли единое целое. Первым заговорил Слава.

- Летом я участвовал в походе альпинистов на ледник Инылчек... Знаете, пешком. Скалы. Снег. Лед. Трещины. Один товарищ в ледяную трещину сорвался. Еле спасли. А потом вершину взяли... Высота шесть тысяч пятьсот над уровнем моря. Тяжело, утомительно, а вот люблю. Это – закалка. Надо воспитывать мужество.

Ната молчала, и Слава, покосившись в ее сторону, продолжал:

- Наши на Дальнем Востоке штурмовали высоту Заозерную... А здесь разве нет самураев? Есть они. Вот за этими горами Китай. Горы то высоки... А что вы думаете? Мы должны научиться лучше всех по горам ходить.

Ната понимала, что эти слова только вступление к другой теме. И не ошиблась. Слава, внезапно оборвав свою речь, спросил:

- Вы почему молчите? Обиделись на меня?

- Нет, – болезненно улыбнулась она. – Я устала.

- А знаете, на переправе я хотел кинуться за вами, спасти. А потом смотрю, вы сами выехали. Признаюсь, я был удивлен. Вы молодец.

- Ничего удивительного, – с достоинством сказала Ната, – это заслуга не моя, лошадь вынесла.

- Ну, нет, – возразил Слава, – от седока тоже многое зависит. Надо уметь.

- А киргиз упал? Он всю жизнь на коне.

- Да. Но если конь упал под седоком, на воздухе не повиснешь, упадешь вместе с конем. Вам тяжело? Давайте остановку сделаем.

Слава с участием заглянул в лицо Наты, и она ответила благодарным взглядом.

- Честное слово я не знаю, чем бы вам помочь. Если бы можно было чем...

- К сожалению, нельзя, – улыбнулась Ната, – у меня ноги заболели, а ехать нужно... Сколько еще до ночлега?

- Да вот за перевалом и ночлег. Там отдохнем, будем пить кумыс, какого вы нигде и никогда не пили.

Постепенно, увлекаясь разговором, они начали отставать, и вскоре остались одни. Караван скрылся за поворотом тропы. Могучие тянь-шаньские ели развернутым строем бежали вниз по склону горы, туда, где бурлила и шумела невидимая для глаз река. Здесь на зеленых склонах было много солнца. Только кое-где бежали редкие тени облаков, а над снежными вершинами облака, словно дымовая завеса, нависли мрачной пеленой.

- Снег идет на горах, – сказал Слава, – это плохо. Ведь вы промокли. Как хотите, я предлагаю вам одеться теплее.

Ната подчинилась. Они спешили, и Слава, уйдя в сторону, подождал, пока она переодевалась. А затем он предложил ей надеть пальто.

С перевала подул свежий ветер. Слава предусмотрительно, с видом опытного горного жителя, предложил застегнуть пальто на все пуговицы.

Затем они продолжали путь. И вот из-за скалы прямо на них выбежало стадо иликов. Слава мгновенно выхватил из чехла охотничье ружье и нацелился. Ната от неожиданности ахнула и невольно залюбовалась дикими животными. Илики, тесно прижавшись друг к другу, переступая тонкими ножками, несколько мгновений изумленно смотрели на людей. Раздался выстрел, и стадо исчезло, словно провалилось под землю. Через минуту илики бежали по склону горы, по ту сторону ущелья и вскоре скрылись из глаз.

- Промахнулся... – вздохнул Слава, опуская ружье в чехол.

- А мы не отстанем? Где наши? – с тревогой спросила Ната.

- Да, – согласился Слава, – надо поторопиться.

Дмитрий Егорович несколько раз оглядывался назад и затем остановил проводника.

Он видел, что Слава вместе с Натой, но, несмотря на это, думал: «не случилось ли что?» Когда Ната и Слава подъехали к ним, Дмитрий Егорович успокоился, Ната улыбалась и казалась бодрее.

Началась самая трудная часть пути. Тропа извивалась змейкой между скал все выше и выше. Лошади упорно карабкались по камням, часто останавливались, тяжело дыша. Встречный ветер свежел, обжигал лица. Над горами быстро расплывалась, закрывая все небо, свинцовая туча. Даль померкла. Вскоре пошел мелкий дождь. Все оделись в пальто, подняли воротники. Ната укутала голову пуховым платком, но холодный дождь неумолимо сек по лицу. Ледяные капли проникали под шаль, текли по шее. Губы ее посинели. Не в силах сдержать пронизывающей дрожи, Ната стучала зубами. Все тело изнывало в тупой боли, начинался лихорадочный приступ. Ната забыла, что теперь – день или вечер? Сколько времени они карабкались по скалам, она не могла припомнить. На вершине перевала ветер ожесточился до предела, трепал гривы лошадей, пронзительно завывал и свистел в скалах, пригибая до земли редкие былинки сухого, тощего кустарника. Наступали тяжелые сумер-

ки. А может быть, в это время солнце еще было высоко? А здесь на перевале, все было покрыто темными тучами.

Начался спуск, и он оказался еще более мучительным. Теперь чтобы не упасть, Ната все время упиралась ногами в стремяна.

Из тумана, в сумерках вечера, показалось несколько юрт. Вокруг стоянки сотни баранов и коз, согнанные на ночь, орала на разные голоса. Жалобно блеяли козы. Тоскливо и безутешно, как обиженные дети, плакали козлята. Слышалась тревожная переключка чабанов.

Проводник остановился у первой, попавшейся на пути юрт, и путников встретили здесь молодые парни, не дав еще спешиться, Ната с большим трудом освободила правую ногу от стремени и навалившись на седло, сползла на землю. По затекшим ногам ударило, как электрическим током. Ноги одеревенели и стали непомерно тяжелыми, словно чужие. Она еле удержалась и чтобы не упасть, ухватилась за луку седла. К ней на помощь поспешил Дмитрий Егорович и, взяв под руку, завел в юрту. Радужная встреча и гостеприимство жителей джайлоо избавили от многих бед. Всех лошадей мгновенно взяли в свои руки, и проводник заверил, что теперь до утра они будут на попечении чабанов, а им, гостям, ничего не остается делать, как отогреться около очага, поест нарына и насладиться отдыхом.

Хозяйка юрты быстро развела огонь и вскипятила крепкий чай. А хозяин, за это время, наточив на бруске нож, перерезал горло одному из баранов, находившихся тут же у входа в юрту. Свежее дымящееся мясо было разделано с удивительной быстротой, и вот уже куски мяса были спущены в огромный казан, поставленный на треножник посередине юрты.

Выпитые Натой две пиалы крепкого горячего чая словно разлились по всем венам, оживили застывшие ноги и руки. Ей стало так тепло и приятно, что она вмиг забыла все невзгоды пути. А хозяйка с ласковой улыбкой посматривала на русскую женщину и, не зная, что и как ей сказать, только повторяла.

- Ич...ич...

Ната поблагодарила за все и, отказавшись от ужина, попросила, чтобы ей разрешили прилечь. Слава Заречный объяснил по-киргизски эту просьбу, и Ната была устроена постель из трех огромных одеял, в которых она укуталась с головой.

Вскоре она уснула и проснулась только утром, вся мокрая от пота.

- Митя... – позвала она слабым голосом. – Мне кажется, я заболела.

Дмитрий Егорович положил руку на ее лоб и с тревогой смотрел в глаза. Лицо ее пылало.

- Ничего, пройдет, – успокоил ее Дмитрий Егорович.

- А почему я вся мокрая?

- Пропотела! – обрадовался он, – это хорошо, очень хорошо! Будешь здорова, уверяю. Как видишь горячий чай – прекрасное лекарство. В горах большинство людей обходятся без лекарств. Шутка ли – сто пятьдесят километров до самой ближайшей аптеки. Пока лежи, Ната. Вот солнце обогреет землю, тогда выйдешь из юрты. Сегодня солнечная погода.

Дмитрий Егорович нежно гладил ее волосы, и Ната лежала неподвижно, не отстраняя его руки.

К полудню небо прояснилось окончательно, жарко светило солнце. Ната отдохнула и была совершенно здорова. Хотя от вчерашнего перегона все еще ныли ноги, но она сама первая предложила собираться в путь.

- Поехали, поехали, Митя. Довольно гонять лодыря. Видишь, я здорова. Итак, из-за меня задержались до полудня.

- У вас очень хороший организм! – восхитился Слава Заречный. – Мог быть хуже.

- У меня была раньше малярия, – ответила Ната.

- Ну, друзья, коли ехать, так поехали, – прервал их Дмитрий Егорович.

Тропа повела их снова на подъем, но здесь было не как на перевале.

Отдохнувшие лошади шли бойко.

Когда солнце позолотило снеговые пики и огненный диск его начал опускаться за дальние горы, путники увидели на косогоре у истока реки, берущей начало от ледника, небольшой домик.

- Вот и наша станция! – первым крикнул Слава.

Вокруг было безлюдье и тишь. Все напоминало виды ледникового периода. Ледник, словно застывшая лава сполз с горы, да так и застыл.

Домик был наглухо заколочен, и стоило большого труда открыть его наружную дверь и сорвать доски с окон.

Когда они вошли туда, повеяло холодным мраком необжитого жилища. Ната молчала и с грустью осматривала голые стены.

- Вот здесь мы будем зимовать, – сказал Дмитрий Егорович.

### III

На крутых склонах гор пожелтела трава. Но еще ярче и пышнее казались вечнозеленые тянь-шаньские ели. Это были дни короткого «бабьего» лета. Необыкновенно чист и прозрачен был воздух. Горы очистились от облаков и их недосыгаемые вершины, под пеленой осеннего снега, ярко блестели на фоне синего неба. Отцвели голубые дни горного лета, пролетели они в цветении тюльпанов, ромашек, незабудок, в буйных грозах и ливнях и вот теперь наступил удовлетворенный, бездумный покой. В долинах плодоносные сады, кудрявые парки оделись в праздничный наряд золотой осени, а здесь в горах в безветрии солнечных дней стояла неопишуемая тишина.

Запоздалая любовь в сердце старого друга жила неугасимо. Так столетняя, кряжистая ель теряет порой увядшую хвою, но зеленеет и лето и зиму. Дмитрий Егорович был счастлив, как никогда. Ната вместе с ним, она живет под одной крышей. С того дня, как она поселилась на высокогорной станции, одинокий домик приосанился, и словно помолодел. Все вещи в доме жили теперь иной, осмысленной жизнью, все было на своем месте. После прогулки и произведенных наблюдений над погодой, Дмитрий Егорович возвращался домой и как только открывал дверь, его обдавал неуловимый аромат женского тепла и уюта. Сохраняя в сердце тайную надежду, Дмитрий Егорович долго не решался сказать Ната о своих чувствах, но его выдавала чрезмерная внимательность, и частые, полные любви порывы, нежные, теплые слова, способные расплавить самое жестокое и недоступное сердце. Ната видела и понимала все. На первый слабый намек она ответила спокойно, как женщина, у которой в сердце давно погас огонь любви.

- Митя, этого никогда не будет.

Она говорила правду, она была также уравновешена и спокойна, как безветренный осенний день. Эти слова надолго определили характер ее поведения. Ната с увлечением выполняла новую роль домашней хозяйки, и вечерами они втроем сидели за столом, пили чай, слушали радиопередачи, вели длинные беседы, читали, порой жарко спорили. И все это

было так просто, словно она меж двух мужчин была родной сестрой и была полна заботой лишь о том, чтобы они хорошо покушали, хорошо выспались и чтобы на них были чистые, выглаженные сорочки. Но впоследствии ей не раз пришлось раскаться в сказанных словах и немало испытать угрызений совести.

Дмитрий Егорович покорился своей участи, ушел в себя, стал еще более неразговорчив и угрюм. В нем жила твердая, как скала, воля. Он был способен перебороть все чувства и переклочить свои силы на иные, творческие дела. Не было сомнения, он решил осуществить свой давний замысел, написать ученый труд по метеорологии. Он подолгу в одиночестве бродил по склонам гор, держа за плечами ружье. Домой он возвращался большей частью без добычи, видимо охота меньше всего увлекала его. А дома большую часть времени проводил за своим рабочим столиком, склонившись над исписанными страницами тетради.

И вот однажды Ната с изумлением убедилась, что Слава Заречный вошел в ее жизнь, как неизбежный и желанный попутчик. Случилось все это также просто, как скорая дружба в вагоне, где люди сходятся быстро и порой на всю жизнь.

Слава Заречный вошел в комнату жизнерадостный и веселый, как луч солнца, что вошел через оконце и играл на досках свежeweымытого пола.

- Наталья Петровна, сегодня у вас занятия по стрельбе! Приготовьтесь.
- Хорошо, готова, – ответила Ната.

Мишень стояла в тридцати шагах и черное яблоко в радужном окружении линий и цифр теперь стало единственной и желанной целью. Слава подал ей ружье и с достоинством, как учитель ученику, сказал:

- Перед вами задача: через месяц сдать экзамен на ворошиловского стрелка.
- Это будет гораздо раньше, дорогой друг.
- Ого! Великолепно! Мы пойдем вместе на уларов.

Ната желала постигнуть все, чем владел ее молодой учитель, и она стремилась изо всех сил доказать, что не отстанет от него ни в езде на коне, ни в ходьбе по горам, ни в стрельбе по мишени.

Ната уверенно вскинула карабин и прицелилась. Раздался выстрел. Скала ответила эхом. Словно там откололась огромная каменная глыба и полетела в пропасть.

- Стреляйте еще! Потом посчитаем.

Пять выстрелов один за другим разбудили осеннюю тишину. Ната раскраснелась, с волнением ожидая результата. Слава подбежал к мишени первым.

- Тридцать два из пятидесяти возможных. Это уже не плохо, – заключил он. Ежедневные занятия по стрельбе увлекли Натy, и вот вскоре они шли вместе в гору, закинув ружья за плечи. Перепрыгивая с камня на камень, они карабкались вверх сквозь колючий кустарник. Гнездовья уларов на высоких отвесных скалах, и добраться до них стоило большого труда. Но теперь ничто не смущало Натy. Все притаилось и затихло вокруг, и вот только они вдвоем, в окружении молчаливых скал, в дремотном раздумье полуденного солнца шли вверх и только их шаги нарушали покой.

Дорогу им преградили обломки скал, нагроможденные друг на друга. Им предстояло перейти каменную осыпь. Вековая работа ветра, солнца и снега наломали здесь столько камней, что из них можно было бы построить целый город. Камни были разнообразной и самой причудливой формы, непомерно огромные, то круглые, то в форме кубов или квадратных плит. Груды мелкого щебня усыпали весь склон горы.

Слава взобрался на камень и подал руку. Ната крепко ухватилась за него, и Слава ощутил трепетное горячее биение в ее напряженных венах. Могучими толчками билась, пульсировала кровь. Все чаще и чаще им приходилось подавать друг другу руки, и утомительный путь в гору стал радостным, легким. Затем они отдыхали на берегу ручья, прыгающего вниз по камням. В стремительном беге ручей лепетал о чем-то на своем непонятном языке. Ручей пел о неиссякаемой любви, о жизни, которая преодолевает все преграды, рушит скалы, идет наперекор всему, идет к счастью.

И вот в неумолчную песню ручья ворвался неожиданный крик:  
- Кеклик... Кек-лик...

Слава насторожился и схватил ружье. В карих глазах блеснули веселые огоньки. Он многозначительно мигнул Натe, и, сделав ей знак сидеть на месте, стал красться на тревожный окрик. Вскоре раздался его выстрел. Ната вскочила и побежала вслед за ним. Слава поднял из травы убитую им куропатку и привязал ее к поясу. Первая удача окрылила его, в нем закипела страсть охотника.

- Нам надо разойтись, – сказал Слава. – Вы идите сюда, по левому склону, а я пойду направо. Сойдемся вон там, у скалы.

Она пошла в сторону, держа наготове ружье. Шум ручья умолк. Она шла по косогору, часто останавливалась, прислушивалась и вот прямо из-под ног у нее выпорхнула серая птица. Она быстро побежала, ковыляя меж кустов и камней. Серый цвет горной куропатки служил для нее прекрасной маскировкой и спасал от многих врагов. Но на этот раз, пущенный вслед заряд дроби настиг ее и поразил насмерть. Все чаще и чаще попадались глупые куропатки у нее на пути. Ната все чаще вскидывала ружье, но не всегда ожидала ее удача. Когда они сошлись в условленном месте у скалы, в ее сумке лежали две куропатки. Пояс Славы был украшен пятью куропатками. Смуглый и загорелый с сияющим лицом, он встретил Натy радостными криками. Слава размахивал ружьем, куропатки болтались вокруг него серым оперением, напоминая наряд индейца. Ната вместе с ним радовалась удаче.

Выйдя на вершину скалы, они замерли и залюбовались грандиозной панорамой гор. Долины тонули в голубой дымке полудня, и казалось, это был бездонный океан, а вот они, как Робинзон и Пятница на необитаемом острове стоят на вершине горы и пристально смотрят в беспредельную голубую даль, не покажется ли там, как светлая надежда, белый парус? Но караваны облаков, как и журавли, улетели на юг, за высокие горы. С гор подул ветерок. Он бойко играл прядью волос, упавших на лоб. Ната встряхнула головой, закинула назад игривый локон. Слава крикнул во всю силу легких, и скала повторила этот крик. Ната запела песню, и в тон ей дружным хором женских голосов ответили седые скалы.

Ната пела о любви. О любви пели скалы, о любви пел ветер, о любви пели яркие солнечные лучи, о любви пели ручьи, бьющиеся из-под ледника, вырывающиеся из-под скал и бегущие вниз, в голубую долину.

Усталые, но довольные прогулкой возвращались они на станцию. На пороге домика их встретил Дмитрий Егорович и подозрительно посмотрел в их веселые и счастливые лица. Он молча отвернулся и вошел в дом.

- Охотился. А сводку кто будет делать за тебя?

- Сделаю, Дмитрий Егорович, не беспокойся, – ответил Слава, – зато, посмотри, сколько мы набили кекликов. Славный будет у нас обед!

- Я убила двух, – добавила Ната, – посмотри, Митя, вот это, мои.

Дмитрий Егорович мрачно посмотрел на убитых птиц и ничего не ответил на это, садясь за свой стол. Снимая охотничьи доспехи, Слава оживленно рассказывал обо всех деталях охоты, не забыв подметить ловкость Наты и ее неутомимое желание постигнуть искусство стрельбы. Дмитрий Егорович молчал. Ната весело напевая песенку, щипала перья. На плите уже кипела и булькала вода. Ната была необыкновенно оживлена, несмотря на усталость и это не могло пройти незамеченным.

Дмитрий Егорович в мрачном раздумье сидел за столом, предчувствуя, что счастье опять проходит мимо него. Он с молчаливым укором смотрел на Нату, следя за всеми ее быстрыми движениями. Ната разлил суп по тарелкам, уселась рядом с ним, заботливо пододвинула тарелку с хлебом, а сама все смотрела на Славу. Может быть, и села она так только для того, чтобы видеть перед собой Славу. А он, еще не понимая ничего, болтал без умолку, шутил, смеялся и был в этот день сверх обыкновения весел. Ната все время поддерживала этот, на первый взгляд, ничего не значащий разговор и смеялась вместе со Славой. А Дмитрий Егорович медленно подносил ложку ко рту, медленно пережевывал хлеб, не спеша, разламывал теплое парное мясо, и нежные кости птицы хрустели в его крепких зубах. Мясо кекликов Дмитрий Егорович ел с остервенением и мрачной злобой, словно кеклики, были причиной его душевного смятения.

По мере того, как подозрения Дмитрия Егоровича все более усиливались, и он все более уходил в себя, дружба Наты с Заречным росла и крепла. Они большую часть дня были вместе и о чем только ни говорили, чего только ни вспомнили из своего прошлого. Ната со слов Заречного узнала всех родных Славы, его друзей, запомнила даже всех их по именам. Она словно видела своими глазами домик на одной из каракольских улиц. Домик этот стоит под сенью зеленокудрых верб, а за ним огромный, тенистый сад. Там цветут яблоны, цветут груши, вишни, там жужжат пчелы, собирая с цветов сладкий сок. Об одном умолчал Слава, – о девушке, которая осталась в Караколе. Но и это, в конце концов, утаить не мог. Он достал из папки небольшую фотокарточку и сказал:

- Вот она.

Полное личико, в обрамлении просвечивающихся локонов, счастливая улыбка и глаза, живые, светлые, как майское утро, заставили вздрогнуть сердце Наты. Но зачем это волнение? Не все ли равно, и какое ей дело до того, что у Славы Заречного есть девушка, которую он очевидно любит?

- Как ее зовут? – спросила Ната.

- Шура Голубева.

- Красивая. Вы с ней большие друзья?

- Да. Вместе десятилетку окончили.

Сколько раз потом Ната в разговоре возвращалась к девушке и, оставшись одна, не могла забыть ее волнующий облик. Ей хотелось узнать все, – ее поведение, ее характер, ее помыслы и желания, ее манеру ходить, говорить, смеяться. Много, о чем ей рассказывал Слава, было знакомо по ее девичьим летам. Ната пыталась узнать, насколько крепка их любовь и не могла. Может быть, ее и не было? Слава об этом не говорил ни слова. А потом она гнала от себя эти глупые мысли и смеялась над собой. Зачем забивать голову такими пустяками?

Несколько дней спустя к домику подъехал киргиз на маленькой и поджарой лошаденке. Он быстро соскочил на землю, привязал лошадь у столба, и широко распахнув дверь, быстро вошел в комнату, размахивая полами широченной шубы. Эта шуба принесла сюда все

запахи горной летовки – кислоту самодельной овчины, дым очага и крепость выпитого за все лето кумыса.

- Аман, аман джолдош!

Киргиз обеими руками тряс руку Дмитрия Егоровича и вновь повторял слова приветствия. Ради такого приезда Дмитрий Егорович достал бутылку вина и усадил гостя за стол, разлил вино в стаканы, нарезал колбасы.

- Чушка? – спросил гость, покосившись на тарелку.

- Чушка, – подтвердил Дмитрий Егорович.

- А все равно! Давай чушку, – рассмеялся гость и, выпив стакан, стал закусывать колбасой, признав, что она вкусна и несколько не хуже колбасы, приготовленной из мяса молодого жеребенка. После этого полилась дружная беседа. Тоялы рассказал все новости джайлоо. Рассказал и о том, что они вскоре собираются покинуть любимую летовку, перебраться в долину, в свой колхоз. Но вот на прощание решили выехать на архаров, и уверены, что их друг из дома в горах, по старой памяти не откажется вместе с ними поохотиться за архарами и провести последние дни на их раздольном джайлоо.

Когда все вино было выпито, Дмитрий Егорович встал из-за стола и, обращаясь к Натке, глухо промолвил:

- Едем на охоту. Буду через два-три дня. А ты, Слава, смотри, не забудь о передачах.

Надо точно. Вовремя.

- Хорошо. Все будет сделано, Дмитрий Егорович. Желаю удач.

Угрюмый хозяин и его беспокойный гость вскоре удалились и вот Ната и Слава остались одни с глазу на глаз. Это было так неожиданно, что Ната смутилась и, уйдя на кухню, долго стояла у окна, глядя на горы. Она слышала, как Слава прошел по комнате, хлопнул дверью, но не повернулась. Она видела его, как он прошел мимо окна и направился к площадке, где стоял дождемер.

Почему он был так долго, Ната не знала. Она открыла окно. Вдыхая прохладу осени, подставляя ветру разгоряченную грудь, словно этим хотела подавить в себе то, что так умела подавлять в течение долгого времени. И потому, как гулко билось сердце, она поняла, что теперь не в силах овладеть собой. Она ждала его возвращения и не могла не ждать. Со стыдом и страхом она призналась сама себе, что не может быть больше без него. Он нужен ей как солнце, как воздух, им полна вся душа. Услышав его шаги, Ната вздрогнула. Слава шел мимо дома и не видел ее, он задумчиво смотрел себе под ноги. Ната тихо окликнула. Он остановился и вскинул голову. Глаза его сузились, лицо побледнело, и почему-то вздрогнули губы. Ната протянула ему руки, он взялся за них, и больше уже не мог оторваться. Так долго они стояли, смотря друг другу в лицо. А затем Слава вспрыгнул на подоконник, и она покрыла его лицо поцелуями. Не верилось ей самой, что так хороша может быть поздняя осень. Одинокая, готовая сделать последние расчеты с жизнью, она теперь снова цвела, горе и печаль ушли, казалось, навсегда, а на сердце стало легко и солнечно, как в ясном осеннем небе.

Небывалый прилив радости переполнил ее сердце. Такое было только в те первые встречи с любимым, когда она была еще девушкой. Не думалось ей, что любовь еще живет. Раньше не могла допустить мысли об этом. А вот все получилось внезапно, как горный обвал. Покатилась вниз снеговая лава, расплавилась под солнцем, хлынул в долину буйный поток, ломая все на своем пути. Обновленная и счастливая она бродила по склону горы, все пело в ней, щеки пылали. Ей хотелось петь, слагать песни. Вдохновенно, как первобытный поэт,

она повторяла: «Ветер гонит облака по небу, это – Слава мой... Скала высокая дарит эхо – Слава мой... Быстроногий илик бежит по горам – Слава мой... Горячий конь кусает удила, быстрый, как молния – Слава мой. Родники бьют из-под скал, отсюда начало всех рек – Слава мой... А солнце горит и на ледниках – Слава мой... Сердце мое – Слава мой...

А потом она лежала в его объятиях, и Слава смеялся по-детски, восхищенный необыкновенным порывом любви. А веселое солнце светило, светило, да так и закатилось усталое за далекие горы...

Спустя три дня вернулся с охоты Дмитрий Егорович. Его приятель Тоялы помог привезти убитого на охоте архара. С большим трудом свалили они огромную тушу с крупа лошади. Ната с любопытством рассматривала огромную тушу зверя. Дикий баран, круторогий и небывалый, как чудовище, лежал теперь на земле, закусив намертво язык, и остекленелыми глазами, сизыми и изумленными, глядел в бездонное небо.

- Вот он, архар... Видишь какой? – промолвил Дмитрий Егорович. – Мы их троих взяли. Тоялы, присев на корточки, натачивал нож и улыбался.

- Хозяйка, сейчас его резать будем, бешбармак будет!

Ната почему-то вздохнула при виде этой непомерной силы, повергнутой в прах.

Архар ей напомнил трагический конец одной буйной и веселой жизни. И вот опять здесь шапка с лисьей опушкой и длиннополая шуба. Но на Тоялы, который по-дружески обращался к ней и смеялся, обнажая ряды белых зубов, Ната посмотрела с доброй улыбкой.

Не думалось ей, снова побывать в горах и найти новую дружбу, а вот теперь по указаниям Тоялы она училась делать киргизское блюдо и затем сидела рядом с ним, угощала его и была рада в этот день поделиться со всеми своими чувствами, переполнившими до краев ее любящее сердце.

Тоялы простился до следующей весны, пожелав счастья и удачи в их ученых делах. И вот они снова остались втроем. Теперь уже никто не нарушит их уединения до самой весны. Скоро, скоро перевалы засыплет снегом и к ним тогда ни пройти и ни проехать.

Слава Заречный ничем не выдал происшедшей перемены. А с Натой он стал сух и скуп на слова. Она решила, что его тяготит эта близость. Первый пыл пролетел, и у них было очень много времени подумать о том, чем это все кончится. Они были вынуждены скрывать от Дмитрия Егоровича то, что произошло между ними, и для Наты это было невыносимо до боли. А он, старый друг, видел и понимал все и сердце его, хоть и огрубелое и выносливое, кипело в негодовании.

Однажды, когда Слава ушел на охоту, Дмитрий Егорович оставил свои занятия и долго ходил из угла в угол, а затем остановился напротив Наты и бросил в упор.

- Нарочно уехал. Тебя испытать. Седина в голову – бес в ребро. А я то, старый дурак, любил... Кого? Ветер!.. Дружба, любовь, честь... Теперь вижу... Это – ошибка. Зачем ты приехала сюда? Как мы сможем теперь провести зиму под одной крышей? Не лучше ли теперь уехать тебе, пока перевал открыт?

Ната вспыхнула, все закипело в ней, что так долго сдерживала и таила. Она упала на постель, уткнулась в подушку, и плечи ее тряслись от подступивших внезапно рыданий. Дмитрий Егорович остановился подле кровати и молча склонил голову. Минуты эти были мучительны для обоих. Несколько успокоившись, Ната приподнялась, вытерла слезы и трясущимися губами, еле выговаривая слова, промолвила:

- В чем я виновата? Митя...

- Ты его любишь? Нет! Это не любовь... Это – блуд. Он – мальчишка. А ты? Двенадцать лет у тебя прошли с другим. Ты подумала об этом?

- Когда любят – не рассуждают.

- Блудишь, блудишь, Ната. Мужем тебе может быть вот такой, как я. А что? Я лысый, дурной. Разве только в красоте любовь? Кто может быть большим для тебя другом кроме меня?

- Знаю, Митя. Никто.

- Так почему же, почему ты забыла все? После Семена только я один. Я – твой. Живу для тебя... Помни это.

По щекам Дмитрия Егоровича пробежали две слезинки и застряли в щетине давно небри-той бороды. Первый раз в жизни она видела его слезы. Старый холостяк плакал беззвучно, глухо. Но стоял он перед нею так же твердо, словно каменная глыба. Только лицо его исказилось в страдании. Ната бросилась к нему, обняла его плечи и готовая на самую теплую ласку, с глазами полными слез, смотрела прямо перед собой.

- Не надо так... Митя, не надо больше. Я жестокая, я не ценила твоей дружбы... Прости меня.

- Я ничего. Это пустяки. Успокойся Ната, я не сержусь на тебя. Просто так, вспомнил старое. Он гладил ее волосы нежно, как любящий отец и говорил слова утешения. Тяжелый камень упал с его сердца. Она оценила его дружбу. Пусть она его не любит. Но он счастлив хоть тем, что она возле него и есть еще надежда, что когда-то будет и у него солнечный день.

Слава пришел с охоты с двумя уларами и не застал никого дома. Дмитрий Егорович был на площадке, а Ната куда-то ушла. Когда старый холостяк вошел в комнату, Слава был удивлен теплотой и мягкостью его голоса, чего не замечалось раньше и особенно за последние дни. Дмитрий Егорович был необычно разговорчив и хлопотлив. Он сам растопил плиту, поставил воду, говоря, что сегодня его очередь готовить обед, и он это сделает на славу. Ната, когда вернулась, наоборот была очень печальна. Войдя в комнату, не говоря ни слова, она взяла томик Пушкина и легла на кровать, закрыв лицо книгой.

Барометр предсказывал бурю. А к вечеру из ущелья подул холодный ветер. Всю ночь бушевала непогода. Ветер шумел на крыше, бил в стекла окон, сотрясал стены. Утром Дмитрий Егорович первым поднялся с постели и был удивлен обилию света. Ему показалось, что он проспал. Но когда посмотрел в окно, понял все.

- Ната. Ната, посмотри, – будил он ее,

- Что случилось?

- К нам в гости пришла зима.

- Снег выпал!

- Да. Снег.

Линия снега на горах в одну ночь опустилась на добрых два километра. Солнце ослепительно сверкало на вершинах. На крыше лежал толстый слой снега. Белый покров растался теперь вокруг, и только скалы, как могучие зубья чудовищ, торчали из-под снега грозные и синие, неодолимые ничем и непреклонные, как судьба.

#### IV

Зима наступила внезапно, как все в горах. После недолгих солнечных дней вновь ползли по горам серые тучи, бушевал злой ветер, и слепила глаза неумная пурга. Ветер налетел из темного провала гор и затем дул весь день, голодным волком выл в трубе, злобно свистел в



щелях крыши и карниза. Его порывы сотрясали рамы окон, а где-то в горах как отдаленные пушечные выстрелы, гудела и стонала, сотрясалась крошечная тьма.

Дмитрий Егорович, обеспокоенный тем, что его приборы может сорвать и завалить снегом, вышел на волю. Плотнo прикрыв за собою дверь, он с минуты стоял у стены. И вдруг до его слуха донесся слабый отдаленный крик. Кто-то звал на помощь. Вернувшись в комнату, Дмитрий Егорович взял ружье и сказал Славе:

- Я слышал чей-то голос. Надо идти.

Ната удивленно посмотрела на старого друга.

- Кто может быть в такую пору в горах?

- Не знаю, – ответил Дмитрий Егорович. И в ожидании Славы молча уставился на открытую дверцу плиты, где жарко пылала дрова. На плите, в огромном чайнике закипала вода, хлопая крышкой. Из чайника билась густая струя пара. Отсвет пламени играл на лице Наты, озаряя половину ее лица.

- И я пойду с вами.

- Не надо, – возразил Дмитрий Егорович, – оставайся дома. Может случиться, задержимся там. Надо повесить фонарь повыше.

- Мы скоро вернемся, – добавил Слава с улыбкой, – потом согреемся около чайника. Ната посмотрела на него, и ей тоже стало весело.

- Ну, возвращайтесь скорее. Я заварю чай покрепче.

Минуты ожидания были долги и томительны. Ей казалось, что прошло несколько часов. Через полчаса они вернулись. При тусклом свете фонаря Ната увидела двух подседланных лошадей, гривы их были запорошены снегом, около ноздрей повисли ледяные сосульки. Лошади заворачивали головы под ветер и жались друг к другу. Ветер злобно трепал их длинные хвосты.

Дмитрий Егорович и Слава вели под руки человека, укутанного в шубу. Он еле переступал, неся под полами невидимую тяжелую ношу. Быстро стряхнув с него снег, человека провели в кухню, к жарко натопленной печи, сняли шубу. Под нею был теплый стеганный ватой халат. Человек продолжал держать на руках узел и дико озирался вокруг, изумленно глядя, то на женщину, то на мужчин, приведших его в этот дом. Казалось, он не верил в свое спасение. Губы его тряслись, на кончике приплюснутого носа дрожала капля от растаявшего снега. Так же мокры были опущенные вниз черные усы. Слава взял с его рук ношу. Человек тревожно и с непонятной враждебностью посмотрел на Славу, но не противился, а только прохрипел.

- Осторожно... Не надо будить.

Ната кинулась к узлу, который Слава все еще держал на руках. Узел был теплый и живой. В нем кто-то шевелился.

- Ребенок!.. – ахнула Ната и, подхватив его, положила на кровать.

- Моя девочка... Айганыш... Она спит, не будите.

Отец что-то хотел еще сказать, шагнул вперед и, пошатнувшись, упал на скамью.

Руки его окоченели. Он беспомощно шевелил прямыми, одеревеневшими пальцами. Дмитрий Егорович схватил таз и побежал за снегом. Затем натирал до красна руки и лицо обмороженного. Человек покорно молчал и только изредка с тревогой поглядывал на свою дочь. Пальцы его стали красными как морковь, от них шел пар. Скрипя зубами, он тихо стонал. Сознание его прояснилось. Он с мольбой посмотрел на Дмитрия Егоровича и простонал: – Там... В снегу моя байбиче... Жена... Спасите...

Человека уложили в постель, укутали его шубами, и он замолк в неподвижности. Дмитрий Егорович и Слава, не раздеваясь, вновь скрылись в темноте ночи. В комнате стало тихо. Только жарко потрескивали дрова, да стучали часы. Ната не отходила от девочки и временами поглядывала на отца. Он долго молчал, широко открытыми глазами смотрел на Нату. Затем начал говорить, но она не поняла его речи и ответила:

- Я не понимаю по-киргизски.

Он болезненно улыбнулся и продолжал по-своему.

- Мое имя Тоймо. А моя дочь – Айганыш... Хорошая Айганыш. Она спит? Ната отвечала:

- Когда нас застал дождь в горах, ваши люди дали чай, и мне стало тепло. Мы сейчас будем пить горячий чай...

Ната показала на чайник и сказала слово, которое она успела вспомнить: – Су...

- Су... Су! – обрадовался Тоймо.

Он дрожащими руками потянулся к горячей пиале. Затем пил густой чай.

Маленькими глотками, довольно причмокивал, благодарил. Допив пиалу, он вновь опустился на постель. Закрыв утомленные веки, вскоре затих в болезненном сне.

Ната с тревогой поглядывала на часы. Прошло много времени, мужчины не возвращались. Часто выглядывала она наружу. Лошади стояли под теплым навесом. Ноги их тряслись, как в лихорадке. Но укрытые кошмами и брезентами, они согревали себя тем, что неустанно жевали подложенное им сено. Фонарь, подвешенный на высоком шесте, был плохим маяком. Он бросал тусклый свет в темноту, откуда летели хлопья снега. По-прежнему зло и угрюмо выл ветер. Тоймо утверждал, что жена его осталась в снегу, совсем где-то рядом. Он сам замерзал и ничего не мог сделать. Но он знал, что где-то здесь, в одиноком доме, живут русские люди, и поэтому он кричал, звал на помощь. После долгих и бесполезных поисков Дмитрий Егорович и Слава, изнеможенные, выбившись из сил, еле добрались до своего убежища. Выпив крепкого чая, они тоже свалились на постель и спали, как убитые. Не спала только одна Ната. Ей все мерещилась жуткая смерть женщины, утонувшей в снегу. Глубокой ночью погрузилась в тяжелый сон и Ната, затем не раз просыпалась, вставала и с тревогой оглядывалась вокруг. Но было тихо. На столе горела лампа и мирно тикали настенные часы.

Только к утру затихла пурга и вновь, как ни в чем не бывало, ярко светило солнце. Жену Тоймо нашли под снегом в двухстах шагах от дома. Расчистив снег, вырыли могилу, а над нею сложили высокую грудку камней. Тоймо все время молчал и вместе со своими спасителями выполнял эту тяжелую работу. Когда все было закончено, Тоймо присел на корточки около груды камней. Лицо его было бледно, глаза влажными, но он не уронил ни единой слезы. Губы его шевелились. Видимо он молился по-своему. Может быть, первый раз в жизни он подумал, что теперь было бы лучше выполнить какой-либо обряд. Кто знает, наверно, Кудай на том свете спросит у ангелов. Карамин-кетибин и ангелы расскажут о многих неверных делах Тоймо, и ему будет плохо. Дмитрий Егорович сделал знак остальным и Тоймо несколько минут сидел один у могилы жены. О чем он шептался со своим богом, никто не знал, но в дом вернулся несколько успокоенным и был недолго, все время смотрел на свою дочь, и глубокая скорбь была в его взгляде. А затем, сурово сдвинув брови, он обратился к Дмитрию Егоровичу:

- Вы ученые люди. Не знаю, что вы тут делаете. Слышал я, хотите узнать все тайны злого духа, который посылает буран и джут. Но злой дух сильнее вас. Он отнял у меня жену... Пусть будет так. Хорошо. А дочь я оставляю у вас. Пусть ваша жена смотрит за ней. Весной я приеду, возьму Айганыш.

«Моя жена?.. Он ее считал моей женой!» – мелькнула мысль у Дмитрия Егоровича, но он забеспокоился.

- Куда поедешь? Перевалы под снегом, Живи у нас.

- Нет, нет, – запротестовал Тоймо, мне надо ехать, надо ехать.

Тоймо с удивительной для всех поспешностью торопился в дорогу, подседлал коней и только у постели своей Айганыш задержался на минуту. Вытерев глаза рукавом халата, он махнул рукой и выбежал из дома. Не оглянувшись ни разу, словно опасаясь, что может отказать от принятого решения, он сел на коня и направился вниз, по склону горы. Второй конь с пустым седлом покорно затрусил вслед. Зимовщики молча следили за его отъездом и только тут вспомнили о своей оплошности. Кроме имени они ничего не узнали об этом человеке. Куда он поехал? Где его родной аил? А если не вернется, как отправить к нему маленькую Айганыш? Решение Тоймо продолжать опасное путешествие и то, что он рискнул оставить у чужих людей свою дочь, которую он, видимо, любил, – все это было загадочным и непонятным. Девочке было четыре года, Она плакала и часто повторяла одно слово:

- Апа... Апа!..

Испуганно, как загнанный зверенок, видя вокруг себя только незнакомых людей, она плакала безутешно и горько. Слава, зная киргизский язык, пытался ее забавить, но девочка плакала еще громче, Ната не знала, какими понятными, ласковыми словами утешить ее. Взяла девочку на руки и начала с нею ходить по комнате. Айганыш прильнула к ее груди и затихла.

- Вот как хорошо, – обрадовался Дмитрий Егорович, – что значит женщина! Чувствует девчонка! Айганыш положила свою ручонку на высокую грудь Наты и, мигая, смотрела в окно на яркий отблеск солнца на снегу. Плакать она перестала, видимо истратив все свои силы, и только изредка вздрагивало ее тельце от глубоких всхлипов.

- Успокойся дочка, – утешала ее Ната. – Ты осталась одна, я тоже была одна. А теперь мы будем жить вместе. Я тебе песенку спою... Хорошую песенку.

Ната пела тихим грудным голосом и Айганыш вскоре уснула нее на руках.

Первые дни жизни девочки в доме, все были поглощены заботами о ней. Дмитрий Егорович наделал ей множество игрушек, из кусков дерева вырезал ей барашка, корову. Слава из палочек и тряпок смастерил ей коня, поставил его на колесики, сделанные из катушек от ниток. Ната была увлечена по женскому делу, сшила ей новое платье, нагрела воды, выкупала. Айганыш вначале капризничала, не хотела купаться, но потом ей понравилось сидеть в теплой воде. Ее пухленькое тельце, чисто вымытое было таким смуглым, словно после длительного летнего загара. Ната с восхищением смотрела на девочку. Черные глазенки Айганыш блестели, она радостно вскрикивала, плескаясь водой. Ната окунула ее еще раз, взяла из таза и надела на нее все чистое, только что сшитое белье.

- Мать, а мать, – шутил Дмитрий Егорович, – теперь у нас много заботы, надо сделать ей кровать. Он взял пилу и топор, напил из досок тонкие брусья. К вечеру кровать была готова и в одном из углов комнаты в окружении игрушек мирно спала Айганыш. Она вошла в этот дом, как давно желанный сожитель. В робинзоновом государстве Дмитрия Егоровича прибавилась новая, счастливая пятница. Но девочка имела свое хорошее имя. Ласкательно ее стали называть Аичкой.

- Ая! Аичка! – звала ее к себе Ната, и Айганыш вскоре привыкнув к новой обстановке, охотно откликалась на этот зов и шла навстречу. Незаметно, каждый день, слыша прежде незнакомые ей слова, девочка стала привыкать к ним и к великой радости Наты, хотя и неумело, начала повторять слова вслед за Натой.

- Вот погоди, выучится она до весны, а потом тебя будет учить по-киргизски говорить.

- Нет уж я устарела, – ответила Ната на шутку Дмитрия Егоровича, – мне труднее, а у нее сознание ясное, голова ничем не забита.

- Ая, скажи: мама, – учил девочку Заречный.

- Мама, – повторяла вслед за ним Айганыш.

- Говори «папа», – продолжал Слава, показывая на Дмитрия Егоровича.

- Ата... папа, – лепетала девочка, глядя на лысого старика.

В ее сознании смутно, как детский сон, вставал образ матери в белом элечике, и теперь все смешалось. Была другая, голубоглазая апа, которую учат называть «мама». А вместо черноусого ата – лысый папа.

Дмитрий Егорович радостно улыбался. Ему никогда не снилось, чтобы его называли папой, и эта шутка понравилась. Он подхватил.

- Это твоя мама, а я – твой папа.

Он многозначительно посмотрел на Нату. По молодости и по глупости Ната лишила себя ребенка, а затем не могла исправить ошибки. Как горько сожалела, что не стало детей. Ушел навсегда Сема. Если от него остались дети, оставалась бы с нею живая память о счастливых годах любви. А теперь она навсегда одинока и только в чужих детях может воскресить погасшее материнское чувство любви. А старый холостяк, растерял себя, по разным путям-дорогам, не найдя семейного счастья. Обо всем этом Ната прочитала в его взгляде и сказала:

- Ты будешь папой, я буду мамой. Затем посмотрела на Славу и отвернулась. Он стоял в стороне, холодно и безучастно созерцая эту сцену. Внешне он был спокоен, а внутри поднималась буря. Слава был уверен в себе. Ната его любила, не скрывала глубокого чувства, но зачем теперь такими добрыми глазами, как счастливая мать и добрая жена, смотрит на старого друга. Что это? Или игра пожилой интриганки или новое чувство, которого не ожидал никто? То горькие сомнения, то ноющая боль, то разочарования терзали его душу, и Слава долго не мог забыть этой сцены. А она разжигала его чувства полупамятками, игрою слов, жестов и, в конце концов, мужчины увидели, что в центре всей их жизни, всех помыслов встала Ната. И когда девочка, привыкшая и полюбившая новую маму, бежала к ней на руки, оба мужчины со счастливыми улыбками следили за ними.

А между тем Ната, поглощенная заботами о воспитании девочки, не замечала многого. Она еще не предвидела, что это мирное сожительство может оборваться так же внезапно, как оно и началось. Ната была довольна своим новым положением матери, жизнь потекла ровнее, она приосанилась, ободрилась, слова и жесты стали вескими и уверенными, как у хозяйки и матери в большом доме.

Потянулись долгие зимние вечера. Зимовщики так привыкли друг к другу, что казалось, иной жизни невозможно было и представить. Когда Айганыш укладывали спать, подолгу еще сидели за столом, слушали московские передачи, узнавая в них все, чем жила советская страна в эту суровую зиму борьбы. Сознывая свой долг служить родине, на доверенном им посту, на высокой земле, где рождается погода, они жили одной жизнью с теми, кто в эти часы трескучих морозов, суровых метелей, стерегли границу, шли в бой с белофиннами, ради высшего идеала жертвовали самым дорогим – своей жизнью.

Слава часто вспоминал:

- Где-то теперь мой брат? Он был на Дальнем Востоке. Письмо от него сюда не дойдет.

Вечерами Слава не отходил от приемника, стараясь уловить все, что говорил московский, далекий голос диктора. Но вести от брата не было.

Несколько раз шел обильный снег, и перевалы теперь были закрыты окончательно.

Отрезанные от всего мира, они должны были знать одно свое дело и ждать весны. Дмитрий Егорович с небывалой настойчивостью и упоением сидел над своим трудом. Десятки, сотни страниц, исписанных его рукой, вырастали вещественным оправданием его жизни в горах.

В хорошую погоду они втроем отправлялись на прогулку на лыжах. Этот спорт закалял, вливал новые силы. В сладком утомлении, после долгой ходьбы, они засыпали крепко, чтобы на утро быть способными к новым близким и дальним походам. Жизнь в непрестанном труде, который сопровождал им, умеряла их страсти, и они понимали, что иначе зимовка в горах превратилась бы в мучительную пытку для чувств. Айганыш росла и крепла. Она уже знала несколько десятков русских слов и нашла для себя в пределах одной комнаты много интересных забав. Она жила в чудесном мире сказок и веселых игр. У нее был свой уголок, населенный маленькими, сделанными из тряпок людьми и деревянными барашками и коровками. Айганыш имела свой столик, где тоже была занята делом, подражая старшим. По вечерам она слушала песни голубоглазой матери, училась петь сама и затем засыпала, уносясь в иной, сказочный мир снов.

Скрытая борьба чувств, все более крепла, и Слава Заречный убеждался, что с каждым прожитым днем он все дальше и дальше уходит от того безмятежного покоя, с которым приехал сюда осенью. Он пытался развеять свои мысли воспоминаниями о девушке, картинкой которой так ревниво хранил. Но теперь, вглядываясь в знакомые милые черты Шуры, он видел, что девушка эта стала далекой, как смутное воспоминание детства. Теперь он стал мужчиной и женщина с веселыми морщинками вокруг бирюзовых глаз, дородная и порывистая полонила все его помыслы. Жизнь с Дмитрием Егоровичем, теперь необъяснимо тяготила его и чтобы хоть как-то забыть об этом, он старался большую часть дня избегать его близости. В ходьбе по горам на лыжах, в борьбе со стихией он забывался, но когда возвращался, вновь перед ним был этот старый холостяк. Намеками на старую дружбу Дмитрий Егорович мучил и терзал его воображение. В один из дней, когда Ната и Слава вновь были наедине, и она нежно гладила его волосы, Слава, задыхаясь, шептал.

- Надо это кончить... Я не могу больше... Ты играешь со мной.

- Милый дуралей. Любовь не только в том, чтобы и все время говорить нежные слова. Разве тебе не по сердцу наша дружба?

- Я сам не знаю, Ната. Мне кажется это все – ложь...

- Ах, Слава, если бы ты знал...

Она не договорила. Слава все понял.

- Пойми, Слава. Он общий наш друг. Ты знаешь, чувствами своими я не торгую. Я сама не предвидела, что так будет. Но я не хочу делать ему больно. Мы должны прожить вместе до весны. Он занят большой, серьезной работой. Это надо ценить. Надо стараться пожертвовать всем, чтобы не помешать ему. Что можно придумать лучше, скажи, Слава?

- Ты права, – согласился Слава и облегченно вздохнул. – Я глупо поступил. Дмитрий Егорович славный человек. Это просто нехорошо с моей стороны.

- Вот и отлично! Будем друзьями по-прежнему.

Наступила ранняя весна. С гор зашумели буйные потоки. Показались первые поляны, показалась первая нежная зелень травы, и зацвели подснежники. Солнце было так ласково, и воздух был так сладок и чист, что нельзя было усидеть в доме. Работа Дмитрия Егоровича

над рукописью близилась к концу. Он дописывал последние страницы вдохновенно, как пахарь, поднявший целину и делающий последний круг. А когда дописал, словно освободился от груза, который привык нести на своих плечах, и вот вдруг ему стало необыкновенно легко, и он несколько дней ходил как пьяный, в восторге, что давний замысел осуществлен, ходил по зеленым склонам опьяненный весной, солнцем, пробуждением жизни.

И вот в эти дни необыкновенной в его жизни весны, он пошел напролом. Так летит в пропасть тяжелая глыба камня, оторвавшись от скалы, которая века сдерживала затаенную непомерную силу. Ната его не могла узнать в этот день. Он был взволнован до бешенства.

- Ты – моя!.. Ты будешь моей! Никому тебя не отдам...

Насилием? – Да!..

- Никогда.

Ната сказала твердо и, отойдя в сторону, гордо вздернула голову и, горячими, полными ненавистью глазами окинула его. Он замер на месте и долго не мог сказать ни одного слова, а затем пошел прямо на нее. В эту минуту он был страшен. Айганыш закричала и подбежала к Нате, вцепилась в ее платье и с глазами полными слез, смотрела на огромного, как скала, папу. Дмитрий Егорович закрыл лицо руками, отошел прочь и тяжело опустился на табуретку.

- Вот видишь, Митя. Ты сам понял как это нехорошо. Он молчал. Ната взяла девочку за руку и ушла в кухню.

Слава угадал происшедшее по тому, как они оба угрюмо молчали. Несколько дней продолжалось тягостное для всех состояние. Много передумала Ната в эти дни. За многое ругала себя, не зная, как исправить создавшееся положение и стало ясно, что так дальше продолжаться не может. Она сказала Дмитрию Егоровичу:

- Я решила покончить...

- Что? – встрепенулся он.

- Уезжаю навсегда. Я теперь понимаю: ошиблась...

Она знала, что не сегодня-завтра из долины приедут на станцию люди, привезут продукты. Дмитрий Егорович оценил правильность ее решения и, зная ее характер, не мог не поверить сказанному.

- Больше не увидимся?

- Нет. Никогда.

- Хорошо, – продолжал он после раздумья. – Я сам провожу тебя в долину. Куда ты намерена поехать?

- Не все ли равно.

- А девочка?

- Возьму с собой.

- Но за нею приедет отец.

- Он может найти Айганыш в Караколе.

Разговор внезапно оборвался с приходом Славы Заречного.

Спустя несколько дней приехали из долины сотрудники метеорологического бюро, привезли продукты, почту, письма от родных, груды новостей. Все с волнением и радостью ожидали этого дня, но в этой радости была и печаль. Прожитым дням в одиноком доме, дням, сопряженным и с трудом и с заботами, и с печалью, и с радостью теперь наступал конец.

Когда все было готово к отъезду, и Айганыш устроилась на коленях у Дмитрия Егоровича, Ната еще не садилась на лошадь и растерянно стояла, теребя поводья.

- Посади меня... Ведь ты знаешь: я плохо езжу верхом.

Слава подошел и помог сесть на коня. Он ничего не сказал и в последнюю минуту, когда Ната комкала поводья и оглядывалась на домик, который не суждено было увидеть.

- Я забыла тебе сказать что-то... И теперь не могу припомнить.

- Что еще говорить, Ната?

Слава с укором посмотрел на нее.

- Ну, прощай. Не забывай нашу дружбу.

Слава промолчал и стоял недвижимо до тех пор, пока она не скрылась вдаль, на повороте, где горная тропа спустилась вниз, в грохочущее ущелье. Там белые буруны реки неумолчно шумели день и ночь.

Ната ехала, не оглядываясь назад, низко опустив голову. Тошнота тяжелым комом захватила ее дыхание. Рябило в глазах от яркого сияния дня. А впереди ехал Дмитрий Егорович. Он издал приветливо махал рукой.

В этот день Ната не знала, куда она едет, где оставит девочку и как потечет ее дальнейшая жизнь, куда занесет ее река времени и найдет ли она желанный берег?

## V

В лучах солнца на душистых гроздьях сирени еще блестели капли утренней росы. Ветви тяжело свисали и приветливо заглядывали в открытое окно.

Стол директора детского дома стоял у окна. Толенов, разговаривая с Натой, временами посматривал в окно на далекие горы и шурился от яркого света. Ворот его белой рубахи был расстегнут, обнажая смуглую грудь. Рукава он засучил по локти и, положив руки на стол, играл цветным карандашом.

Ната сидела подле стола. Айганыш, прислонившись к ее коленям, с изумлением смотрела на Толенова, угадывая в нем черты почти забытого отца. Толенов был одних лет с ее отцом Тоймо. Был так же смугл, и черные волосы, коротко подстриженные, торчали ежиком. Карие глаза, так же как и у отца были узки под нависшими прорезями век. У Толенова не было только черных усов и не было суровости во взгляде. Его смуглое лицо озарялось широкой улыбкой. Он с интересом выслушал рассказ Наты и теперь с большим любопытством рассматривал девочку.

- Как тебя зовут, девочка? – спросил он по-киргизски.

Айганыш молчала, не зная, что ответить на это. Ната за нее ответила:

- Ее имя Айганыш. Она видимо забыла родную речь. Восьмой месяц живет со мной.

- Интересно, очень интересно! – воскликнул Толенов. – У киргизской девочки русская мама. Это хорошо, очень хорошо! Значит, все мы **живем** по-братски.

- Я согласна у вас работать, – перебила его Ната, – мне очень жаль девочку. Я так привыкла к ней. И просто боюсь оставить ее одну.

- Одна не будет! – улыбнулся Толенов, – здесь у нас целый интернационал: киргизы, уйгуры, русские, узбеки... У нас ей будет весело!

- Но я вам должна еще сказать, – добавила Ната. – Ее отец обещался за ней приехать. Толенов нахмурил брови.

- Отец, который бросил свою дочь, едва ли приедет.

- Нет, он любил Айганыш, это мы видели. Толенов задумался, и что-то припоминая, спросил:

- Это было в октябре прошлого года? В такое время никто через перевал не поедет. Только плохой человек поедет. Кто ее отец?

- Фамилию мы не узнали, – ответила Ната, – помню только его имя – Тоймо.

- Тоймо? Гм... Тоймо. Ну, хорошо, товарищ Шебалина. Будем работать вместе. А девочка может жить в вашей комнате. Но я думаю, ей лучше жить со своими ровесниками, она привыкнет к коллективу. Это будет хорошо.

- Как хотите, – ответила Ната.

Новая работа в детском доме хотя и была трудна на первых порах, но она увлекла Натю. Ей отвели небольшую комнатку с окном в сад. Днем, пока она еще только привыкала к новым людям, еще не познакомилась близко с коллективом сотрудников, чувствовала известную неловкость, работа с детьми тоже для нее новая не ладилась на первых порах. Тут были дети разных национальностей, разных возрастов, привычек и наклонностей. Нужна была исключительная любовь к делу, но кроме этого было нужно и умение, чего ей еще не хватало. Но в работе день проходил незаметно, а когда она возвращалась в свою комнату, чувство одиночества вновь охватывало ее. Зима, проведенная в горах, теперь вспоминалась как желанное прошлое, к которому уже нет возврата. Она лишилась друзей и виновата только сама, никто больше. Она пыталась забыть все, забыть Славу, забыть старую дружбу с Дмитрием Егоровичем, но была бессильна это сделать. Все плохое скоро было забыто, а вот лучшее, светлое осталось в памяти. Ложась в постель, она не могла сомкнуть глаз. Время тянулось мучительно долго, час, другой, третий, четвертый лежала она в постели, борясь с бессонницей. В комнате было темно. В саду тишина. Все вокруг спали. А она уснуть не могла. И только в глубокую полночь погружалась в бредовый сон. Но и во сне мучил недосыгаемый образ. Милый и добрый друг Слава, от которого она ушла сама, теперь приходил только во сне. Она протягивала к нему трепетные руки, но Слава был холоден и нем. Вскрикнув, она просыпалась. Сердце усиленно стучало, на лбу выступал холодный пот. Утром выходила на работу сумрачная, с тяжелой головной болью. Требовалось большое напряжение воли, чтобы выполнять свою работу, казаться веселой на глазах у детей. Жизнерадостная от природы, Ната умела скрыть свою тоску, развлекала детей рассказами, сказками, читала им забавные книжки, пела вместе с ними пионерские песни, внешне была веселой, и никто не знал, что переживала она, когда наступала ночь.

А по ночам пели соловьи, и полная луна, как назло, светила в окно. В один из таких вечеров Натю обуяла невыразимая тоска. Как не старалась прогнать от себя мысли, но они текли, текли бесконечной чередой. Явственно и словно зримо проходили картины недавних, счастливых дней. Ей стало душно. Ната открыла окно в сад, но не могла надышаться. И поняв, что уснуть все равно не может, вскочила с постели, накинула платье и как лунатик пошла, не зная куда.

Детский дом спал. Везде были погашены огни. В саду свистели и шелкали на разные лады неугомонные соловьи. Сад был полон шорохов и теней. Тихо шелестели и раскачивались ветви тополей. Пятна лунного света играли на траве. Ната обняла ствол тополя и прижалась к нему разгоряченным лбом. А счастливые невидимые птицы пели, пели, и она ощутила до боли, как далека ее жизнь от веселых песен. Вся жизнь представилась, как одно непрерывное страдание и вот она решила, что не надо больше страдать. Надо положить всему конец, чтобы не слышать соловьев, не слышать ночных шорохов, не видеть этой проклятой луны, которая смотрит на нее холодно и безучастно. Мысль о смерти отрезвила. Стало

жутко только от того, что Ната, полная сил и здоровья, она, могущая жить и жить хорошо, пришла к такой мысли...

До рассвета бродила Ната по саду, по окрестным полям, шла навстречу ветру, вдыхая его освежающую силу. Все передумала и решила, что надо еще жить. Ведь все в ее руках. Ната может вернуться обратно, если захочет этого, может быть вновь счастливой. Усталая от ходьбы, она крепко и быстро уснула, а на другой день решила отдаться целиком работе и быть как можно

больше среди людей.

Увидев Нату, дети с шумом побежали навстречу. Первой среди них была Айганыш. Она называла Нату по привычке мамой. Так стали называть ее и все остальные.

- Ну, ребята, давайте с вами поиграем.

- А во что мы будем играть?

Ната бросила на лужайку мяч и крикнула? –Поиграем в мяч!

Началась веселая возня, крики и смех. Ната сидела на траве и, смотря на детей, думала: «Глупая, глупая. Вот они веселы. Надо учиться у детей. У них нет прошлого, они его не помнят. Жизнь всегда хороша, если не думаешь о прошлом. Надо смотреть в завтра».

Работа с детьми стала лучшим лекарством, избавляющим от всех недугов. И Ната решила, что в этом ее призвание. Оставшись одинокой, не имея своих детей, потеряв любовь, она чувствовала, что ее потребность в любви перейдет на детей. Им нужна материнская ласка и забота. В этот день Ната с особым увлечением отдалась игре с детьми. И сама, как ребенок, бегала вместе с ними. А потом они ходили в горы за тюльпанами. Каждый нарвал по огромному букету. Обратно дети шли с песнями, неся над головами букеты цветов. Шумная толпа детей превратилась в живой цветник. Ребята привязались к Нате и все ее полюбили. Секрет этой дружбы крылся в одном. С детьми Ната вела себя на играх, как равная им, умела создавать веселье, но на занятиях была строгой и требовательной, умела увлекательно рассказать занятную историю, была внимательной ко всем, брала под защиту обиженных, умела высмеять и обличить шалунов, и дети увидели в ней человека способного делать все: быть строгим учителем и быть веселым другом в играх и забавах. Прозвище мамы прочно укрепилось за Натой, и она старалась в глазах детей оправдать это дорогое и любимое звание.

В полдень, после обеда, когда дети были по своим комнатам, к детскому дому подъехал всадник.

Ната узнала в нем отца Айганыш. Лицо его было запылено, он казался еще более сумрачным и угрюмым. Она обрадовалась этой встрече. Сразу же догадалась: Тоймо был в горах, на станции, он привез оттуда новости, наверное, есть письмо от Славы. Ната не ошиблась. Поздоровавшись, Тоймо торопливо достал из кармана завернутые в газету письма и затем сказал:

- Я был в горах. Вы увезли мою Айганыш. Зачем такое дело?..

Наташа помрачнела при мысли, что она теперь вынуждена расстаться со своей любимой.

- Оставьте коня здесь. Идемте ко мне в гости, – предложила Ната.

- Нет. Я приехал за Айганыш. Где ваш хозяин?

- Директор у себя в кабинете, вот здесь, – указала Ната.

Тоймо тронул коня и подъехал к дому директора. Из окна выглянул Толенов и пристально посмотрел на приезжего. На лице директора Ната прочитала изумление. Тоймо, увидев его, мгновенно закрыл лицо и быстро повернув коня, бросил Нате сквозь зубы:

- Это не ваш хозяин! А дочь привезете в горы. Иначе вам – смерть...

Ударив несколько раз коня тяжелой камчой, Тоймо пустился вскачь, подняв за собой столб пыли. Ната, ничего не понимая, стояла на месте и держала сверток с письмами, все еще не решаясь их открыть. Толенов подошел к ней и спросил почему-то взволнованно и, как показалось Нате, с тоном недоверия:

- Кто это был?

- Отец Айганыш.

- Он что-то передал вам?

- Письмо. Он был в горах, на станции, где я работала... Но я не понимаю, что случилось? Он приехал за дочерью и как только увидел вас – быстро ускакал.

- Вы не понимаете? А я знаю все хорошо. Его давно ищут.

- Скажите, кто же он такой?

- Это пока секрет, – ответил Толенов. – А вы ничего не знаете о нем?

- Нет... Ведь я вам рассказывала, как он оставил свою дочь в горах. Больше ничего не знаю.

- Хорошо, – прервал ее Толенов, – идите по своим делам. Я вам верю.

Только войдя в комнату, Ната развернула газету. Там лежали два письма, и оба были от Дмитрия Егоровича. И в том и в другом старый друг писал об одном и том же, о своей одинокой жизни в горах, о скуке, которая охватила его после отъезда Наты. В письмах была мольба, вернуться к нему, не забывать старую дружбу. Ната по нескольку раз перечитала письма, пытаясь прочесть и все то, что осталось между строк. Только в конце второго письма вскользь было упомянуто: Слава уехал в Каракол, его вызвали на допризывную подготовку.

Весть о том, что Слава в Караколе, совсем рядом с нею, вскружила ей голову. Она ликовала при мысли, что вновь может увидеть его. Как он встретит? Помнит ли, что говорилось, что думалось в те долгие зимние вечера?

Словно идя навстречу ее желанию, Толенов предложил:

- Товарищ Шебалина, у вас большое лицо. Нездоровится?.. Надо съездить в Каракол, к врачу.

- Хорошо. Я поеду, – обрадовалась Ната.

- Завтра утром поезжайте. А на обратный путь я вам дам небольшое поручение.

На другой день Ната ехала в Каракол. Утопающий в садах город, который она видела впервые, представился ей как большой, запущенный парк. «Здесь живет мой Слава... Здесь он родился... Какой красивый город!» С восхищением подумала она. В этом небольшом городе все ей казалось хорошим и необычно красивым лишь потому, что город был родиной Славы. Она знала адрес. Но не решалась пойти. Несколько раз проходила мимо дома, поглядывая на окна, не увидит ли он, не выйдет ли к ней на улицу? Но из дома никто не выходил. А постучать в калитку она не решалась, в страхе думая о том, что из дома выйдет отец и спросит, что ей нужно. И как тогда ответить?

Только вечером, около кинотеатра она увидела Славу и замерла на месте. Он шел под руку с девушкой. Они о чем-то говорили оживленно. Им было весело. Они остановились около кассы, и при ярком свете Ната узнала в девушке ту самую, которую видела зимой на фотоснимке.

Ната подошла ближе, и Слава увидел ее, что-то сказал девушке, оставил ее у кассы. Когда он подошел, Ната не могла узнать в нем прежнего, душевного и отзывчивого друга. Слава был холоден. Сурово насупив брови, коротко пожал руку и спросил сухо:

- Как живешь?  
- Работаю в детском доме. Работа хорошая, но скучно мне, Слава, без тебя.  
- Вот как? Печально. Не надо скучать, когда есть работа.  
Слава беспокойно оглядывался на свою спутницу, но та не видела происходящей сцены.  
- Слава, милый мой, я так рада... что увидела тебя...  
- Зачем ты приехала? – сухо оборвал он. – Неужели не понимаешь, что было на зимовке, то прошло.  
- Но как я могу забыть, Слава?  
- Наши дороги разошлись. Да они никогда и не сходились.  
Ната с мольбой смотрела в его глаза, а Слава, сумрачный и неприступный, отвернулся в сторону.

- Я не ожидал Ната, что ты будешь меня преследовать... Ну, до свидания.  
- Постой, Слава, – задержала она его, – я вижу, ты занят... Понимаю... Прошу об одном. Приезжай ко мне, хоть один час побудь. Мне нужно видеть тебя, надо объясниться... Иначе я просто с ума сойду. Прошу тебя, выполни эту маленькую просьбу.

Помолчав несколько, он согласился.

- Хорошо. Я приеду. Где тебя найти?  
- В детском доме. Спроси, любой скажет.

Слава быстро отошел прочь, а Ната стояла до тех пор, пока он не скрылся в толпе гуляющих. «Пошли в кино. Не сходить ли и мне?» Но при мысли, что ей будет неудобно сидеть одной в зале, Ната ушла из парка и теперь была занята только одним, как она встретит Славу у себя дома, о чем будет с ним говорить.

Он выполнил данное обещание, приехал на следующий день под вечер. Ната украсила свою комнату букетами цветов, поставила на стол бутылку шампанского. Слава не увлекался вином, но ведь этот день в ее жизни – радостный праздник. Только в разлуке она поняла, какова была сила привязанности к нему. Ната поведала ему обо всем откровенно, рассказала все, что передумала за тяжкие дни одиночества. Ната знает, что не имеет права на его любовь. Но что делать, когда у нее никого и ничего не осталось кроме?

Она проливали слезы раскаяния, говорила, что не осуждает его. Не видит в нем ничего плохого. Он искренний, чистый, не замаранный ничем. Он и тогда в горах не любил ее, как любят обычно. Он говорил о девушке. Он был привязан к Шуру. Ведь это естественно все. Но разве Ната виновата, что осталась одинокой?

Слава молча слушал ее и, когда она высказалась до дна, с необыкновенным равнодушием начал поучения, вычитанные из книг, тоном учителя говорил обо всех известных истинах. Он это говорил в надежде, что несколько утешит ее, отрезвит разгоряченное воображение, но Ната не унималась.

- Повеселимся, милый мой. Брось наставления. Я сама немного грамотная. Все понимаю. Давай забудем хоть на минуту о том, чего забыть нельзя.

Она целовала его лоб, щеки, лицо, губы и Слава, опьяненный ее восторгом, невольно почувствовал, что с этим человеком, после зимовки в горах, у него навсегда останется что-то общее, чего действительно забыть невозможно.

Но Слава не потерял головы. Он сказал, что гостит у нее в первый и в последний раз. Эти слова ошеломили Натю. Да, теперь она теряла надежду не только на любовь, но и на то, что увидит его еще когда-либо. Стало ясно раз и навсегда, что Слава никогда больше не вернется. Он любил Шуру, ту белокурую девушку. Он говорил, что сохранит память о Нате, как о лучшем друге, но она должна забыть навсегда все, что было на зимовке.

Ната, опустив голову на руки, долго сидела неподвижно. Бутылка шампанского стояла на столе нетронутой. Очнувшись от горького раздумья, Ната сказала:

– Слава, мы больше никогда наверно не встретимся. Но помни: я люблю тебя. Если случится у тебя горе какое, если будет нужно, – позови... Буду тебе старшей сестрой, буду неизменным другом... Прости за все.

Сказанные Натой слова напомнили Славе судьбу его старшего товарища. Трезвым голосом мужчины, испытанным и готовым на все, Слава в заключение сказал:

– Осенью еду в Красную Армию. Мой брат был в боях с белофиннами, а нам еще предстоят другие большие фронты.

Ната подала ему руку, поцеловала его в лоб, и они расстались.

## VI

Лето пролетело быстро в труде и заботах о воспитании детей. Ната жила в детском доме. А мысли были там, куда невозвратно ушел милый, незабвенный, неповторимый.

Чего только не захочет любящее женское сердце? Ната жила в стороне от Славы и никто бы не мог подумать, как она любила его. Ната узнала день и час, когда Слава с партией призывников должен был выехать из Каракола. Не медля ни минуты, она поехала в Каракол, достала билет на пассажирскую машину и на другой день подъезжала к городу Фрунзе. Заняв койку в Доме Дехканина и оставив там свой чемоданчик, Ната вновь шла по знакомым улицам, теперь украшенным золотом осеннего увяданья. Стояли ясные солнечные дни. Могучие дубы парка сбросили свой летний наряд и крылатые листья, цвета шоколада, лежали пестрым ковром на земле. Вербы и вязы тоже осыпали свои листья и только пирамидальные тополя местами еще зеленели, а большею частью, желтые, оранжевые, золотые под лучами солнца, стояли стройными рядами, присмирив, словно перед началом парада.

Но солнечная погода стояла недолго. К вечеру подул западный ветер, срывая с деревьев стаи листьев, поползли серые тучи, пошел дождь. Всю ночь дождь барабанил по крыше, журчала вода в трубах, переполнились мутными потоками арыки. Рано утром, зябко кутаясь, Ната пошла на сборный пункт. Она опередила на целый день каракольских призывников и только накануне вечером узнала, что призывники будут сегодня. Когда она открыла дверь огромного помещения, то увидела, что оно пусто. Стояли рядами чисто убранные кровати, пол был чисто вымыт. На стенах картины, красочные плакаты. Все было готово к приему призывников, но в помещении было холодно. Никто не предвидел, что так быстро наступят холода. У дверей сидел один старик, сторож. Он тихо дремал, сидя на стуле и, когда Ната вошла, не изменил своей позы, а только слегка приподнял голову и, сладко зевнув, спросил:

- Вам кого, гражданочка?  
- Каракольские когда приезжают?  
- Вот сегодня ждем. Видишь – это для них приготовили.  
- А почему здесь так холодно?  
- Вишь, какая прыткая! Натопим.  
- Где у вас топор и пила?

Старик наконец очнулся от дремоты и удивленно посмотрел на странную женщину.

- Какое твое дело, где топор, да где пила? Я сам знаю где, – ворчал старик.  
- А коли знаешь, – не унималась Ната, – так давай сюда, пойдем пилить дрова.

- Вот помощница нашлась, – удивился старик, – дрова у нас напилены, только натаскать осталось.

- Ну, давай дед, поменьше слов – побольше дела, – проговорила Ната, строго сдвинув брови, и старик покорно пошел вслед за нею.

Ната вместе со сторожем топила печи и радовалась тому, что натопит она печи, приедет Слава и ему здесь будет тепло...

Вместе с партией призывников приехали и родные. Ната не смела подойти ближе. Она видела, что со Славой стоял рядом отец. О чем они говорили, Ната не слышала. Но вот дали команду строиться, и только когда уже стояли в строю, и шла перекличка, Слава увидел Нату, улыбнулся, кивнул головой.

Раздалась команда, рота призывников направилась на вокзал. А Ната все стояла на том месте, где увидел ее Слава, и комкала мокрый платок.

Потом она шла, как в тумане, по улицам города. При посадке на автобус ее слегка тронула за руку дама и спросила:

- Гражданка, вы сумочку обронили.

- Спасибо, – ответила Ната, принимая из рук дамы свою сумку. Там были в полной сохранности ее деньги – тысяча рублей, но она была так рассеяна, что даже забыла поблагодарить женщину.

Взяв отпуск в детдоме, она предполагала, что поедет в тот город, куда поехал Слава. Но как глупо она поступила. Кто мог ей сказать, куда он поехал? И зачем это нужно, если он сам видел ее и не подошел, знал, что она ради него ехала сюда, и не послал даже привета. Куда теперь ехать? Где найти отдых? И вот она снова была в Караколе, проходила мимо дома его отца несколько раз, но так и не решилась войти, не найдя для этого никакого повода. А потом равнодушная ко всему, она снова была в детском доме, и теперь ее уже ничто не радовало. Она потеряла светлую надежду, потеряла любовь и теперь казалось, что ей никто не нужен и она никому не нужна. Айганыш в течение лета подружилась с девочками и отвыкла от Наты.

Толснов сообщил ей новость. Тоймо оказался в руках советского правосудия. Неуловимый басмач в течение ряда лет грабил и убивал мирных жителей, убивал советских работников. Этот бандит зверски убил известного на весь Тянь-Шань Семена Шебалина, благородного человека, стойкого большевика, мужественного командира пограничной части.

- Вы тоже Шебалина, – заключил Толснов.

- Да... Я Шебалина... Я – жена убитого командира.

Толснов с удивлением посмотрел на нее, а Ната молча отвернулась и пошла прочь.

Так вот кто этот угрюмый Тоймо! Она воспитывала дочь убийцы своего мужа. Могла ли она знать? Она полюбила Айганыш. Девочка лепетала милые слова и ласкалась как родная дочь. И вот гибнет и эта, последняя любовь.

Ната шла вверх по течению реки, на высокий холм. Там крутой скалистый берег. Осеннее солнце светило тускло, и лучи перестали греть своим теплом. Вокруг было безлюдно и все неподвижно. Только река буйно клочкотала внизу, прыгая с камня на камень. Ната уселась на край обрыва, на огромный и плоский, как стол, камень. Давно возникшая мысль теперь привела к одному решению. Через несколько секунд горный поток подхватит ее бездыханное тело, и тогда уже не нужно будет думать о том, почему она осталась одинокой. Ната, уцепившись за острые углы камня, невольно закрыла глаза. И вот вся жизнь пронеслась перед нею – детство, юность, игры, любовь, Сема, Дмитрий Егорович, Слава...

И теперь все стало ненужным. Она наклонилась к обрыву, готовясь прыгнуть вниз головой. И вот, словно сквозь бредовый сон, в рокоте реки она услышала далекий и звонкий голос.

-Мама!.. Мама!..

Ната открыла глаза. К ней бежала Айганыш, размахивая ручонками. Она подпрыгивала и весело смеялась.

- Мама!.. Де ты плопадала?

- Что случилось Аичка? –Папа плиехал!

Ната широко открыла глаза и смотрела на девочку, ничего не понимая. Ей представилось, что за Айганыш приехал ее страшный отец, и Ната с невероятной тревогой схватила девочку за руку

- Какой папа? – спросила она, еле переводя дыхание. – Большой!.. Голий! Теперь все стало понятным. Старый друг не забыл ее и видимо это не так просто. –Не голый, а скажи: лысый, – поправила Ната.

- Лисий! Лисий! – радостно кричала Айганыш, болтая ножками.

Ната крепко прижала свою любимицу к сердцу и целовала, целовала без конца ее пухлые щечки. И то, что минуту назад было решено окончательно, теперь уже не могло совершиться.

Ната нужна людям. Ее любят, и она еще не потеряна для счастливой жизни. Пусть ее любовь растворится в детях. Им она отдаст всю свою жизнь, и с этой мыслью ей вдруг стало легко и радостно

Ната шла, ведя за руку Айганыш, и смеялась сама над собой. «Ах, дура, вот дура! Никого этой глупостью не удивишь. Приду, все расскажу ему. Пусть поругает меня»...

Горный поток с грохотом и гулом несся в долину, а в голубой вышине по-прежнему тепло и ласково сияло веселое солнце.

1940 г.

## СУЮНБАЙ ЭРАЛИЕВ

### Город Торжок

Приютивший нас город Торжок,  
до свиданья! –

мы двинулись дальше,  
за спиной остается Восток,  
оглянуться нет времени даже.

Знаю,  
Пушкин когда-то спешил  
к Анне Керн вот по этой дороге,  
где, почти выбиваясь из сил,  
я беру,  
волоча свои ноги.

До свиданья,  
свободный Торжок,  
ты уже в отдаленье остался,

и, конечно,  
тебе невдомек,  
что киргиз молодой затерялся  
в серой массе солдат,  
что в дому,  
где соснул он с друзьями своими,  
уходя, он не понял –  
к чему  
написал на стене свое имя...  
Сколько лет с той поры утекло!  
Кто прочел это имя – не знаю.  
Но становится сердцу тепло,  
как про город Торжок вспоминаю.

### Письмо из деревни

Зима. Одиночество.  
Ночь.

А вьюга гудит неустанно,  
как будто волна океана,  
бьет в стены на полную мощь.  
Прислушаюсь...  
Где-то в лесу –  
обилие стука и треска,  
морозу небезынтересно  
алмазом водить по стеклу.  
Я отодвигаю листы,  
о чем-то задумаюсь снова,  
но знаю: всех мыслей основа  
в конце концов все-таки ты.  
Ты пишешь, что я не пишу,  
что долго я не возвращаюсь,  
но я не спеша возрождаюсь  
и снова любовью дышу.  
Я вижу в туманном окне  
деревья из нашего дома,  
тоскующие по весне...  
И мне, ты поверишь,  
и мне, и мне это чувство знакомо...

### Вечер в горах

В горах опускается вечер,  
крадется ущельем в ночи.  
Чуть треплет порывистый ветер

тяжелую гриву арчи.  
Табун поднимается в горы,  
во тьму каменистых дорог.  
А в юрте слышны разговоры,  
над юртой клубится дымок.  
Стоит жеребец одиноко  
на привязи невдалеке.  
Табунщика юная дочка  
с ведром побежала к реке.  
Вернулась... Лукаво склонилась  
к джене... Что-то шепчет впотьмах.  
И смех раскатился в горах,  
и эхо в горах раскатилось.

\*\*\*

Почтальона то и дело  
жду напрасно. Ты молчишь,  
Много дней надежда тлела...  
Птичья стая улетела.  
На озерах снова тишь.  
Жду напрасно. Нет вестей.  
Скоро времена ненастья.  
Мне напомнит в смене дней  
небо родины моей  
синий цвет родного платья.

\*\*\*

Конь копытил копытом дорогу.  
Под уздцы ты схватила коня: –  
Подожди,.. Ну хотя бы немного...  
Как же я?.. Как же ты без меня?..

Ты сказала и к гриве склонилась.  
И застыл, словно вкопанный, конь.  
Вот такой ты на фронте мне снилась,  
затмевая войну и огонь.

\*\*\*

Я навестил родимые места  
и вдруг услышал  
голосок в ущелье.  
Речушка детства! Милая сестра!  
Ты не забыла давних дней веселья?



Она лицо завесила травой,  
лукавым взором на меня взглянула...  
Когда же я склонился над водой,  
она в мое лицо плеснула...

Давай еще!  
Плесни еще сильнее,  
чтоб не забыл о родине своей!

### **Конная игра**

Пусть славится дружеский той  
на древней зеленой равнине.  
Любуются люди игрой,  
что так молода и поныне.

Гудит, словно улей, народ,  
азартно шумит, предвкушая,  
как ринутся кони вперед  
и степь загудит, не смолкая.

.. Чего же ты медлишь, джигит?  
Смотри, ты упустишь добычу!  
А девушка плавно летит,  
как требует древний обычай.

Со свистом, как будто стрела,  
несется джигит над равниной.  
Гора вдалеке замерла,  
захвачена этой картиной.

А ветры звенят, как стекло,  
под конским копытом дробятся,  
и пеною круп замело  
иль облаком – не разобратся.

Земля под копытом гудит.  
А сердце от этой погони  
трепещет: какой ты джигит,  
коль девушку ты не догонишь!

Смотри – это юность твоя,  
до цели немного осталось...  
Держись, а не то колея  
свернет в невеселую старость...

А девушка морем травы  
летит, словно вольная птица,  
спасаясь от острой стрелы,  
не зная, когда приземлится.

### **Лесной вальс**

Как-то раз предо мной  
природа с концертом  
предстала.  
Я увидел, как озеро в паре с ветром  
плясало  
перед березой,  
перед ольхой,  
перед чинарой,  
перед арчей.

Волны скручивались, как пряжа  
говоря в хороводе:  
– Ах, какая прекрасная пляска  
на природе!

А из птичьих уст  
был составлен оркестр небывалый,  
где звенели  
и арфа,  
и флейта,  
и гобой,  
и комуз,  
и гармошка с гитарой.

Звуки льются,  
сливаются в вальс,  
волны пеною блещут,  
то замрут,  
то пускаются в пляс,  
а деревья, впадая в экстаз,  
листьями рукоплещут.

А потом сорвались и пошли,  
выбегая из строя,  
зашумели,  
качаясь, как корабли  
во время прибоя.  
Расхожденье,  
схожденье ветвей...

Разыгралась природа...  
И душе потрясенной моей  
любвы звуки стихийных страстей  
этого хора хора.

## Я иду

Грядущее,  
будем знакомы!  
На перевале двадцатого века  
ты видишь меня,  
человека,  
потомка ушедших времен  
и предка грядущих племен.  
А время шумит, как река.  
Я иду.  
Я в ответе за дела,  
что творятся на нашей планете.  
Я иду по земле,  
и по звездам,  
и по времени,  
и по пространству...  
Моему постоянству  
удивляется время.  
Я иду, сапогами гремя,  
Из-под ног вылетают горячие искры,  
словно из-под кремня.  
Я иду,  
а вокруг жеребьями прыгают дни.  
Я иду среди песен и звезд,  
через мост, называемый веком.  
Солнце завтрашним светом  
озаряет мой путь.  
Так и кажется –  
стоит лишь руку свою протянуть –  
и достанешь до солнца.  
Шепот мой услышала луна.  
Я иду,  
а дорога длинна,  
окликают меня повороты.  
Но попробуй меня удержи, удержи –  
разве воду удержишь в горсти?  
Разве ветер взнуздаешь?  
Если остановлюсь,  
если сердце устанет,  
то кружиться в пространстве

земля перестанет,  
время в бездну глубокую канет.  
Веди планета и я  
составляем одно...  
Я иду,  
Я зерно,  
из которого будущее прорастает!

## АВТОБИОГРАФИЯ

Встречаясь с читателями, я часто слышу один и тот же вопрос: как я стал поэтом? Как стал... Иногда я и сам задаю себе такой вопрос, и, поверьте, ответ на него найти сразу трудно. Сказать, что с самого детства во мне прорезался чудный дар писать стихи, нельзя. Сказать, что я получил хорошее литературное образование, – тоже. Что меня окружала поэтическая атмосфера, давшая толчок к творчеству, – опять не то. Все было по-другому...

Было обычное детство довоенного сельского мальчишки. Родился я в селе Уч-Эмчек Таласского (в те годы – Буденновского) района Киргизской ССР 15 октября 1921 года в семье колхозника-животновода. Там же учился в обыкновенной сельской школе. Если и мечтал, кем стать, так это учителем. Учитель для нас, сельских ребят, был в те годы самым большим авторитетом, мы были уверены, что он знает все на свете, и нет такого вопроса, на который он бы не знал ответа. Учитель воплощал для нас какие-то неизвестные нам новые горизонты, большой, ждущий нас за порогом Уч-Эмчека мир. Доучиться в школе мне не пришлось. Стать учителем тоже.

В 1942 году я ушел на фронт. Война – малопоэтическое занятие и к писанию стихов вроде бы не располагала. От окопов нашего пехотного батальона до того места, где обычно обитают музы, дистанция невероятного размера. Тяжелое ранение и шесть месяцев в тыловом тбилисском госпитале, шесть месяцев между жизнью и смертью, – и это не повод, чтобы начать писать стихи.

В двадцать три года инвалид войны. Три ранения и контузия. Демобилизован по состоянию здоровья. Февраль 44-го года. И вот я снова дома. Нужно было определяться, как быть дальше. Пошел работать в районную газету. Стало получаться, работал ответственным секретарем. Затем, после образования Таласской области, в областной газете «Ленинское знамя», тоже ответственным секретарем, писал очерки, заметки, зарисовки, фельетоны. Семья была большая, младшие братья и сестры были, как говорится, на мне. В общем, все нелегко, но и обычно.

И все же почему-то я стал поэтом. Наверное, во всем, что происходило со мной, была какая-то своя закономерность, и во мне самом происходило и откладывалось нечто, что, вдруг прорвавшись, подтолкнуло к стихам... Теперь вспоминаю: в школе мне очень нравилось читать известных тогда Джомарта Боконбаева и Алыкула Осмонова, и я пытался им подражать. Еще помню – учитель иногда давал нам упражнения на рифмы – нужно было написать какое-нибудь бесхитрое, простенькое стихотворение, – и я писал, мне очень нравилось такое занятие.

А вернувшись после госпиталя в родные места, узнал, что в некотором роде уже прославился среди односельчан как поэт. Получилось это так. Письма родителям с войны я

несколько раз писал в стихах. А друзья взяли и опубликовали их в районной газете. Почему письма были в стихах? Трудно сказать. Много тут наложилось одно на другое. Тоска по дому, любовь к родным – такие чувства всегда будят в душе человеческой песню. Вот и мне, как акыну, захотелось выговориться... И еще. В составе 8-й гвардейской Панфиловской дивизии я шел с боями на запад, шел по древней тверской земле, по тем местам, которые сегодня именуются в туристических справочниках Пушкинским кольцом. Мы шли через разрушенный Торжок, где не раз бывал проездом Пушкин, возле которого захоронена Анна Керн... «И для меня воскреснут вновь и божество, и вдохновенье; и жизнь, и слезы, и...» – всплывали в памяти бредущего через дождь, снег, грязь рядового пехоты волшебные строки поэта. Я тогда еще плохо знал по-русски, но Пушкина... О Пушкине я знал.

Вот и в журналистской текучке первых послевоенных лет нет – нет да и накатывало вдруг желание заговорить стихами. Одно дело острый, деловой фельетон о расхитителях колхозного добра и другое – выговориться душой, а значит – стихами. Но, кстати, это последнее я считал тогда неглавным. Сейчас бы это назвали хобби. А главной для меня была журналистика. С газетой я связывал все свои планы на будущее. Стихи писались, некоторые даже публиковались – в областной, республиканской печати, но скажи мне кто тогда, что поэзия станет делом всей моей жизни, я бы не поверил.

Постепенно стихов набралось на небольшую книжечку, и вот в 1949 году она вышла в республиканском издательстве под названием «Первое звучание». Получилась книжка – теперь-то это видно мне хорошо – довольно слабенькой, ученической, так сказать, проба пера. Позже из тех стихов я включил в «Избранное» одно – два, не больше.

Некоторые мои коллеги в Таласе уже успели к тому времени съездить на республиканские поэтические совещания, с восторгом рассказывали о «настоящих, живых» писателях, акынах, с которыми им довелось встретиться, читали свои стихи, – вот они были для меня поэтами, вознесены были в глазах моих на недостижимую высоту.

И вдруг я узнаю, что «Первое звучание», оказывается, понравилось в Союзе писателей республики и меня по этой первой книге приняли в члены СП СССР. Эту неожиданную весть привез приехавший в Талас писатель Насирдин Байтемиров, он же вручил мне писательский билет. Теперь у нас в Таласе стало 3 члена Союза, и было открыто Таласское отделение СП Киргизии.

Итак, я стал вроде бы профессиональным поэтом, хотя и после выхода книги, и после приема в Союз сам себя в душе поэтом все равно не считал. Но к поэзии стал относиться серьезнее. Больше читать. Тщательнее работать над своими стихами. И вот в 1950 году вышла моя вторая книга стихотворений «Родная земля». Стихи стали лучше: росло мастерство, стало меньше «воды», больше души.

В следующем, 1951 году, я уехал в Москву учиться в Высшую партийную школу на журналистское отделение. И вот здесь-то передо мной по-настоящему и встал выбор: или журналистика, или поэзия. Главным в жизни может быть только один путь. Я выбрал поэзию.

Наверное, в этом выборе не последнее слово было за самой Москвой, во всяком случае, ее влияние я со счетов не сбрасываю. Нам, слушателям партшколы, приходилось довольно часто встречаться с писателями и поэтами, к нам приезжали Г. Николаева, Н. Грибачев, Я. Смеляков и др. Атмосфера этих встреч также подготовила мой выбор.

Итак, поэзия. Но с 1951 по 1959 год я практически ничего не писал. Нужно было учиться, многому учиться. С учителями мне везло.

Вспоминаю, был день, когда умер Николай Заболоцкий, и как раз в тот день я, наконец, решил пойти к Твардовскому в «Новый мир». Редакция была пуста, остался только он

один. Мы сели с ним в кабинете и долго-долго разговаривали. Чем я, начинающий поэт из далекой Киргизии, заинтересовал его – не знаю. Такой уж, наверное, души был этот человек. Когда к нему приходили за советом и помощью – за тысячью дел, не мог отмахнуться. Я ему много рассказывал, потом рассказывал он, потом снова я, а он спрашивал... Я поделился с ним заветным: Александр Трифонович, хочу перевести «Теркина» на киргизский язык. Читал, еще на войне, в окопах читал. Очень нравится. Да и опыт фронтовой есть. Твардовский засомневался: а как же быть с русским народным разговорным языком? Переведется ли это на другой язык? Сумею ли?

Разговор у нас зашел об учебе (ведь у меня и средняя школа-то была не закончена). Я показал Александру Трифоновичу две свои первые книжки. Он полистал их, порасспрашивал меня. К идее «учиться на поэта» отнесся скептически. Помню, сказал: учеба часто портит, вот у нас, на Смоленщине, была одна неплохая поэтесса, а в Литинституте она кончилась...

В заключение Твардовский пригласил меня почаще заходить – в любое время, спрашивать, если будут какие-то неясности с переводом, посоветовал почаще обращаться к словарю. Я чувствовал, что он, конечно же, усомнился в моих возможностях перевести «Теркина», но я видел его желание помочь мне, начинающему.

Учась в партшколе, я перевел поэму Твардовского почти до половины. Работа захватила меня, хотя шла трудно и медленно. Не закончив первого варианта перевода, я взялся за второй, переводил отдельными кусками. Завершился этот мой первый опыт тем, что я сжег, не закончив, оба варианта перевода. Но желание закончить работу меня не оставило.

В 1954 году, закончив учебу в Москве, я вернулся домой и был назначен сначала заведующим отделом республиканской партийной газеты «Советтик Кыргызстан», а затем редактором пионерской газеты. И вновь работа над переводом Твардовского. Работать приходилось в парке Дворца пионеров, – квартиры, отдельного кабинета – тогда ничего этого у меня не было. Но, по правде говоря, я благодарен этому парку – работалось в нем с каким-то большим удовольствием, а может быть, это потому, что сама работа всецело захватила меня. «Теркин» на киргизском языке стал получаться, приобретал форму, жизненность – я это сам чувствовал. Это был, как я считаю, мой первый успех в поэзии. Поэму в моем переводе издали в 1956 году, перевод был одобрен нашими писателями, появились отклики в республиканской прессе и в Москве – в «Литературной газете». Вот с «Теркина» я, наверное, и начался как поэт.

Эта работа научила меня многому. Я и потом занимался переводом, но именно поэма Твардовского сформировала мои переводческие принципы, которые я потом не менял. Переводя, нельзя упираться в букву – все, как ни пытайся, в перевод не воткнешь. Им необходимо научиться управлять. Перевод – это тоже (или точнее – прежде всего) поэзия. И как в поэзии, главное в нем – дух. Читатель не ищет в переводе похожесть или непохожесть, близость или расхождение с оригиналом, он ищет в переводе хорошие стихи. Вот говорят, что следует сохранить ту или иную метафору, рифму, ритмику – согласен. Но с одним условием – если это не становится насилием над поэтической мыслью, поэтическим чувством.

Твардовский стал моим учителем. «Теркин» – моим Литинститутом.

Поставив последнюю точку в переводе, я сразу же взялся за большую собственную тему – хотелось написать поэму о любви, о счастье и жестокости, об истории своего народа, лирическую и одновременно – эпос. Мне с детства запала в душу одна легенда, слышанная от акынов – вечная как мир история любви двух молодых людей – «Ак-Меёр». Так я и назвал поэму. Через маленькую легенду постарался сказать о том, что меня волновало, беспокоило,

что казалось самым важным в жизни. Не знаю, насколько правы те критики, которые считают, что «Ак-Меёр» по теме любви не превзойдена в киргизской поэзии. Для меня более важно другое: в этой поэме я сам для себя открывал тонкие лирические грани стиха, учился придавать чувству, неотчетливому, неясному, отчетливую и ясную форму гармонии.

В 1959 году в Москве проходила Декада киргизской культуры. Буквально перед самой декадой, за удивительно короткий срок, переводчик Вл. Семенов перевел «Ак-Меёр» на русский язык. Она зазвучала в Москве. В конференц-зале Союза писателей ее обсуждали, хвалили, даже называли «киргизским «Евгением Онегиным»».

Ко мне пришло признание... Вот ведь парадокс: похвалили в Москве – после этого стали хвалить и на родине. Даже избрали секретарем правления Союза писателей...

Если я назвал Твардовского первым своим учителем, то не могу не сказать и о другом учителе – о нашем киргизском советском поэте Алыкуле Осмонове. Он был подлинным новатором, прекрасным, тончайшим лириком, образованнейшим человеком, замечательным переводчиком, настоящим подвижником культуры. Он скреживал в киргизском стихе все достижения мировой, в том числе русской и советской поэзии. Правда, его считали за это «врагом национальной традиции». Теперь признали. А вот тогда... Поздно мы все-таки признаем поэтов. Сегодня мы говорим о нем – «гордость киргизской поэзии», «национальное достояние нашей культуры» и т. п. А он ушел из жизни в 41 год, непонятый, покинутый, непризнанный. У меня есть стихотворение «Где вы были тогда...» – оно об Алыкуле.

После «Ак-Меёр», несмотря на успех поэмы, сомнения меня все-таки не покидали. Правильный ли путь в поэзии я избрал? А может быть, это случайная удача? Теперь я понимаю, это всегда очень хорошо, когда есть сомнения. Они подстегивают, дают импульс работе над собой. Я много читал, изучал, пополнял, как говорится, свой багаж. Томики Пушкина, Лермонтова, Некрасова стали моими настольными книгами. Наконец я взял отпуск и уехал на джайлоо. Секретарь правления на время стал табунщиком.

Поэзия и жизнь представляют собой какой-то сложный единый организм. Было бы неверно считать, что связь здесь только односторонняя: поэзия отражает жизнь. Нет, поэзия сама преображает жизнь. Я раньше не замечал особой красоты и чистоты народного языка. Стал замечать. Вглядывался в лица простых своих земляков – пытался угадать душу. Для меня стала живой природа – вода, скалы, звезды, шелест травы. Я учился слушать тишину, ветер, который приносил мне невероятнейшую информацию, собранную со всего света, ручей, бормочущий про себя что-то, словно одинокий путник. Это была Академия поэзии.

Оказывается, звук ветра может быть разным: о камень ударился ветер – один звук, прошелся по кроне дерева – другой, по траве – третий. Музыка воды тоже изменчива: быстрина, водопад, родник – все они звучат по-разному. Человеческая душа тончайшими нитями связана с природой – это одно гармоничное целое, глупо, нелепо и безответственно разрушать это целое, то же самое, что обрубить себе руки или ноги и считать, что так лучше...

Я написал в это время поэму «Белые запахи». Она о природе и о человеческой душе. Хотя это еще ни о чем не говорит. Все поэмы – о человеческой душе и многие – о природе. Наваяло мне тему поэмы и стало ее темпом, мелодией, ритмом, темой «Болеро» Равеля. Как только я вспомню эту музыку – мне представляется вечный караван жизни, людей, поколений... Я лежу в траве, вокруг горы, рядом со мной транзистор – «Болеро» Равеля. Горы – это навьюченные верблюды, с гор спускаются белые нити речек – это поводья верблюдов, они сейчас отпущены, Отдых. Но вот верблюды встанут – пойдут дальше... «Белые запахи» увидела свет в 1967 году, в русском переводе – в 1969-м. Поэма эта дорога мне ученичеством моим у природы. Так что и ее хочу назвать среди своих учителей, Природу.

В начале 60-х годов, после полета Гагарина, я начал писать новую поэму – о Человеке и Космосе. Для нее нужно было найти и форму подходящую, необычную, нетрадиционную. Поэму я назвал «К звездам», а форма вдруг сама стала выливаться в стихи верлибра – незнакомую киргизской поэзии, непривычную ей. Почему верлибр? Эта «неорганизованная» форма стиха связывалась у меня с представлениями о бесконечности мироздания, его необъятности. Интуиция подсказывала: и ритм стиха должен быть нескованным, без каких-либо рамок. Мне пришлось нелегко, я был воспитан на традиционных формах стихосложения – нужно было перестраивать себя, ломать сложившиеся принципы поэтики, мышления, привычный почерк, – это всегда трудно. Два-три года не писал ничего, кроме поэмы: искал, привыкал к необычной для меня форме. А когда поэма появилась... на меня обрушились все. Народные поэты, академики, мои поэтические наставники – все были против. Статьи пестрели уничтожающими формулировками – «измена национальным традициям», «уничтожение киргизского стиха», «формализм», «абстракционизм», «подражание западным образцам» и т. д. и т. п.

Но еще до того, как она вышла в журнальной публикации (1964), было организовано ее обсуждение. Где-то нашли типографские оттиски – раздали выступающим. В Союзе писателей Киргизии нашлось тогда всего несколько человек, которые выступили в защиту поэмы, настаивали на ее публикации (среди них – Ч. Айтматов, С. Джигитов, А. Салиев). Обсуждение перенесли на бюро ЦК Компартии республики – и там критиковали... «Зачем вы так пишете? – спрашивали меня. – Ваш путешественник к звездам гибнет, а ведь Гагарин-то жив, здоров... Что это за пессимизм такой?! Писали б лучше о собаке чабана!» При чем здесь собака – я, откровенно говоря, до сих пор не понимаю... Поддержали меня тогда Чингиз Айтматов и приехавший из Москвы Александр Михайлов. Айтматов сказал: «К звездам» – поэзия мысли, за ней будущее, это – «открытие нового берега». У нас на глазах расширяется диапазон киргизской поэзии, нам самим же потом станет стыдно, если поэма не увидит свет, ее надо поддержать».

На русский язык поэму перевел Б. Слуцкий. И опять недоброжелатели говорили, что это не Эралиев, это Слуцкий сам все выдумал, а в подстрочниках ничего и в помине нет. Подстрочники сверяли. Одно из самых горьких воспоминаний тех лет связано с моим несостоявшимся выступлением перед студентами университета. Меня пригласили. Когда пришел – краем глаза увидел: зал полон. Но тут один из преподавателей отозвал меня в сторону и сказал: «Вы знаете, выступать не стоит. Нам только что позвонили оттуда...» – он выразительно указал большим пальцем руки куда-то неопределенно вверх. Наверное, к звездам горько усмехнулся я про себя.

И снова загадочный парадокс. Ругать, так ругать. Спустили, как говорится, всех собак. В 1967 году я был просто вынужден уехать на Высшие литературные курсы. Через два года вернулся – страсти поутихли. Но к поэзии меня старались особенно не подпускать. Предложили работать литературным консультантом по художественным переводам.

А поэма моя все-таки пошла. Остановить ее было уже нельзя: Москва, Казахстан, Казань, Чехословакия, она вышла отдельной книжкой, была переведена на испанский язык...

Сейчас многие молодые поэты Киргизии пишут белым стихом. Друзья смеются – говорят: «Суюнбай, ты, наверное, весь огонь взял тогда на себя». Что ж, в поэзии бывает и так. Я смотрю, даже кое-кто из моих бывших хулителей пописывает верлибром. Теперь за это не ругают. Поэзия, как и жизнь, не стоит на месте. Закон отрицание отрицания срабатывает и здесь. Без обновления стихов не бывает. А благодарить нужно Айтматова. Написал верлибром я, но пробил ему дорогу в киргизской поэзии он. Это пример нам, наша поддержка – человек, писатель, учитель...

Каждый раз, думая о поэзии, я открываю в ней для себя новые и новые грани. И все же есть что-то самое важное, самое существенное, без чего ее вообще быть не может. По-моему, поэзия обязательно предполагает сердце доброе, чувства мягкие, чистые тонкие – все это объединяется понятием внутренней культуры. Не будет этой человеческой культуры – не будет и доверия людей. Поэт должен быть желанным гостем в доме, умным собеседником и другом – тогда его будут чаще приглашать в дом для беседы, и наслаждение от такой беседы получают оба, и хозяин и гость.

С годами у поэта вырабатывается автоматизм: слова как бы тащат за собой другие слова – образуется канон, стереотип. Хороший поэт каждый раз обязан ломать себя, создавать себя заново. Учиться необходимо всегда, постоянно. Даже у молодых. У них тоже есть чему поучиться, ведь у них свой взгляд на вещи. И, конечно же, учиться нужно у больших мастеров. Замечательная школа в этом отношении – художественный перевод. После работы с ним – как после хорошей парной: выходишь обновленный, смотришь яснее, легче, новыми глазами на мир.

Мы живем сегодня на перекрестке ветров – открываются новые национальные культуры, мы знакомимся с поэзией и поэтами, о которых не могли и подозревать, узнаем бездну нового. На этом ветру очень неуютно поёживаются те, кто живет и думает по сложившимся канонам и не хочет их менять.

Каждый человек несет в себе миллион всяких возможностей, мы за жизнь открываем лишь ничтожную часть их. Надо искать себя, копать глубже и глубже. Как шахтер, который уходит все дальше от поверхности, уходит от поверхностности. Конечно, ленивым быть проще – прожить можно и отговориться можно, посетовать на то, что вот, дескать, не поняли, не оценили. Только поэзия – это труд, неустанный и всегда тяжелый.

Наверное, уже не осталось темы, в какой-то мере не разработанной в поэзии. Обо всем писали. Вот я читаю айтматовскую «Плаху»: вечного масштаба проблемы, писатель заставляет думать о сущности жизни и человека, добра и зла, связей личности и общества. Заставляет! А попробуйте-ка заставить современного избалованного читателя. А у него получается! Роман Айтматова приглашает не бояться думать о самом сложном.

Творчество – это всегда борьба с самим собой, борьба за преодоление взятой темы. И борьба должна быть честной, принципиальной. Иначе литературы нет.

В стихах нужно уметь сказать то, что хорошо знакомо читателю, но что он не может выразить сам. От него скрыты тайны вещей, поэт раскрывает эти тайны. Я назвал свою новую книгу «Жизнь времени», в ней собрана лирика о жизни, времени, себе самом. Человек живет и работает во времени, но и время работает в человеке, делает его, формирует. А у поэта во времени две жизни – его собственная и его произведений. И жизнь 2-я зависит от того, насколько жизнь 1-я отмечена печатью времени, его отметкой – на какой срок. Жизнь поэта – отражение его времени, стихи – движущаяся панорама образов времени, жизни времени.

Творчество поэта можно сравнить с источником, текущим рядом и параллельно с большой рекой. По большой реке плывут пароходы, на ней свершается работа жизни – это магистраль времени. Источник же призван утолять жаждущего, давать ему радость открытия прекрасного, светлого. И тогда путник не забудет родника, вернется к нему вновь.

Когда мне трудно, я обращаюсь к природе – беседую с ней и чувствую за собой опору. Иногда она говорит мне: это не так, подумай еще, переосмысли... Простая река подсказывает упорство, горы как бы говорят: не унывай, тянись вверх, к ним. Они безмолвны, но мне кажется, они заняты своей внутренней работой, своим собственным поиском смысла сущего сравнивают свое прошлое с сегодняшним. Природа ищет себя. Как часто мы, люди,

проходим мимо, снисходительно и жестоко. Мы не стремимся вникнуть в душу природы, и она, конечно же, на нас обижается – наводнения, сели, землетрясения... Мы обкрадываем природу – и она стала сердиться что-то довольно часто.

Недавно я вернулся из Казахстана, где проходили Дни киргизской литературы. Там у нас был широкий обмен мнениями с коллегами из братской республики. Радостно, что они свободно смотрят на мир, стараются не связывать себя шаблонами и стереотипами. В их творческой работе чувствуется обновление, масштабность, вольное дыхание, глубокое понимание современности. Мне приятно было столкнуться с нетрадиционными формами мышления и в романах А. Кекильбаева и в стихах М. Шаханова. Эти же качества привлекают меня в произведениях моих современников Андрея Вознесенского, Валентина Распутина, Василия Белова.

... Как я стал поэтом? Однажды я просто услышал разговор горы и ветра, но его тотчас проглотила и унесла река. И все-таки кое-что я узнал – мне очень захотелось поделиться этой тайной природы с людьми. Тогда я начал искать слова...

## СТРЕМИТЬСЯ К ОТКРЫТИЯМ

Киргизская литература – ровесница Октября, Иными словами, развитие национальной культуры у нас определялось, с одной стороны, мощными традициями широко известного во всем мире киргизского фольклора, с другой – молодостью и естественной восприимчивостью к новому самой литературы, Потому первые наши писатели – Аалы Токомбаев, Касымалы Баялинов, Кубанычбек Маликов, Темиркул Уметалиев и другие – были и первыми переводчиками. Не погрешу против истины, если отмечу, что художественный перевод в становлении собственно литературного творчества является у нас, в истории киргизской литературы, одной из фундаментальных опор, это основная сфера, где осуществлялись и осуществляются ныне многообразные связи киргизской литературы с литературой русской, с другими братскими литературами народов СССР. Это обстоятельство послужило причиной тому, что дело художественного перевода в Киргизии имеет свои давние, соизмеримые с национально-литературными, традиции. (И вместе с тем нельзя не отметить большого количества недоработок в области «переводческого строительства», – о них я скажу ниже.) В силу всего этого влияние переводческого дела на литературное развитие у нас очень велико.

Можно привести ряд примеров того, как литераторы, начинавшие в качестве переводчиков, приходили к собственному творчеству. Например, один из ведущих наших переводчиков прозы, Олжобай Орозбаев, написал повесть «Адов мост»: повесть эта получила широкий резонанс в республике, сейчас ее издает «Советский писатель». Или другой пример: Узакбай Абдукаимов всю жизнь занимался – и весьма плодотворно – переводом русской и зарубежной классики, потом он написал роман «Битва», ставший важной вехой киргизской прозы.

Вот другие примеры, близкие мне как поэту. Именно через перевод пришли к нам такие формы, как белый стих, верлибр и близкие к верлибру формы, перевод стал их стартовой силой, но они (как верно рассуждает один из наших одаренных переводчиков и литературоведов В. Шаповалов), будучи результатом освоения инонациональной поэтики, обрели жизнь потому, что, во-первых, киргизский стих имел достаточные ресурсы, чтобы принять и творчески перевоплотить эти формы, и, во-вторых, интернациональный характер литературного развития показал необходимость обогащения традиционной поэтики. И здесь первоотличком практического освоения нового стал именно перевод.

Наверное, не я первый говорю об этом, но роль перевода в формировании национальной литературы в разное время проявляется по-разному, ибо восприятие творчества великих иноязычных поэтов – процесс расширяющийся, изменяющий свои формы. Этот тезис хорошо иллюстрируется историей перевода у нас в Киргизии поэзии Пушкина. Первые – «ознакомительные» – переводы появились в 20-е годы. Спустя десятилетия Пушкин уже был переведен гораздо более широко. Но в последнее время было решено привлечь весь наш переводческий авангард к новой работе над наследием величайшего русского поэта, потому что прошедший период показал значительный рост идейно-эстетического уровня нашей читательской и собственно литературной аудитории, несоответствие ему переводов, выполненных сорок лет назад. Характерна история перевода «Евгения Онегина». Впервые он был переведен в 40-е годы К. Баялиновым. Затем, десять лет спустя, появился новый перевод, принадлежавший перу замечательного киргизского поэта Алыкула Осмонова. Этот перевод отличали высокие художественные достоинства, лишь структура онегинской строфы была переводчиком изменена. Однако гений Пушкина настолько притягателен, что родился третий перевод романа в стихах (я обращаю внимание на жанр не случайно, ибо если история насчитывает немало примеров неоднократного перевода отдельного лирического стихотворения, то примеров перевода целиком такого большого, сложного и литературно значащего произведения, как «Евгений Онегин», можно отыскать очень немного). Автор третьего перевода – талантливый переводчик Эрнис Турсунов – хорошо решил формальные задачи, но в целом его перевод в художественном отношении уступает осмоновскому. Видимо, будут еще новые попытки перевести «Евгения Онегина».

Что такое перевод для киргизской литературы, особенно на начальных этапах ее развития, говорят, в частности, такие вызывающие у нас добрую улыбку факты: в одно из десятилетий вдруг стали чрезвычайно распространенными у нас имена Автандил, Тинатин и другие – имена сказочных грузинских героев. Оказалось, причиной тому – перевод поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре», созданный Алыкулом Осмоновым. Произведение это стало горячо любимым у нас в народе – и дети наши стали носить имена героев сказания. Периодически проходящие у нас в Киргизии заседания Совета по переводу в Союзе писателей достаточно последовательно нацеливают на повышение качества художественного перевода в республике. Большое внимание уделяется ориентации переводчиков на перспективный план переводной литературы, на коррекцию самого плана в соответствии с динамикой литературного процесса, на подбор лучших переводчиков путем творческих конкурсов. Мы стремимся к высокой требовательности в деле издания переводов (рецензирование, редактирование, многоступенчатый контроль). Особенное внимание уделяется в Киргизии сейчас важнейшей проблеме подготовки переводчиков с национальных языков. Здесь мы активно вовлекаем в дело молодых писателей и поэтов, расширяем всевозможные творческие контакты, организуем проблемно-переводческую работу в научных и педагогических центрах.

Мне кажется, что, как и везде, у нас сейчас с особой остротой встает вопрос – насколько знает переводчик все то, что связано с переводимым материалом: контекст его художественной культуры, стихию языка, жизнь и быт народа, его национальное самосознание, реалии, отражающие национальные особенности.

Выход киргизской поэзии к русскому читателю, сам эффект этого выхода прямо зависит от знания переводчиком Киргизии. И в этом отношении мы стараемся вырастить и воспитать своих переводчиков на русский. Сейчас у нас активно работают молодые переводчики Светлана Токомбаева, Вячеслав Шаповалов, известность обрел выросший в Киргизии Михаил Синельников. Если обратиться к примеру перевода, скажем, русской литературы на

киргизский язык, то поучителен опыт работы Калмака Саякбаева над переводом трилогии Константина Федина «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер»): переводчик глубоко и детально проработал всю очень сложную в стилистическом отношении структуру произведения, изучил все, что связано с отображаемыми событиями, героями, и сумел очень точно, творчески передать киргизскому читателю многомерность этого значительного произведения советской литературы.

В связи с этим нельзя не вспомнить довольно печальный факт: вплоть до прошлого года у нас не было хорошего перевода замечательного романа М. Шолохова «Тихий Дон». Были попытки его перевести, но они все оказались неудачными. Наконец за это большое дело взялся О. Орозбаев, взялся по-настоящему – с «многоступенчатой» предварительной подготовкой, изучением творческой истории романа, всей научной литературы о нем, с подготовкой словаря, с детальными разработками сюжета, эпизодов и т. п. Первая книга вышла в конце прошлого года и пользуется заслуженным успехом.

Да, перевод в Киргизии – явление не только мобильное, но и, естественно, развивающееся диалектически, проходящее на пути совершенствования через отрицание определенных своих этапов развития последующими этапами. Наверное, это отражается в личном опыте каждого переводчика, будь то поэт или прозаик, в его достижениях и просчетах.

В начале 50-х годов я перевел поэму Александра Твардовского «Василий Теркин». Был я молод, опыта и подготовки у меня было явно маловато, за плечами был лишь опыт войны, собственные фронтовые воспоминания и мысли. Коллеги уговорили меня: больше, дескать некому, а перевести необходимо – эта поэма читателю сейчас очень нужна, ты – поэт; где не хватит эрудиции или методики, вывезет твое чутье, и так далее... В общем я согласился. «Василий Теркин» – явление совершенно уникальное, и это я с особой остротой понял в период работы над переводом. Материал сопротивлялся мне с необыкновенным упорством! Сделано было два варианта поэмы, но оба мне не нравились чем-то, и, в конце концов, я сделал третий вариант – фактически заново в третий раз перевел, потратив на работу четыре года. Сейчас этот перевод, сделанный четверть века назад, критики цитируют как образец, но сам я, честно говоря, до сих пор недоволен им. И вот живет во мне одно желание, давнее: хочу, чтобы нашелся у нас молодой поэт, который бы перевел «Василия Теркина» так, как видится мне самому эта замечательная поэма, а скорее всего – по-своему... Помнится, приехал я к Александру Трифоновичу, пожаловался на трудности работы над переводом. Может быть, говорю, пойти мне учиться в Литературный институт? Зачем тебе институт, отвечает мне Твардовский, ты уже состоявшийся поэт, была тут у нас одна поэтесса, писала прекрасные стихи, а как приехала в Литинститут, стала писать плохие...

Но возвращаюсь к нашим общим переводческим проблемам. Подытоживая все, что сказано мною, хотелось бы остановиться на будущем нашего перевода, причем будущем не абстрактном, а вполне обозримом, представимом в конкретных мероприятиях. Сейчас мы заинтересованы (говоря о киргизско-русских переводах) в стабильном отряде переводчиков, талантливых и знающих нашу республику. Конечно, мы часто обращаемся к помощи сильных писательских коллективов, например московского, и всегда были и будем рады творческой дружбе, взаимной работе. Но каждому ясно, что нужно воспитывать и своих переводчиков. Кое-какие шаги в этом направлении имеются, я уже называл имена тех, кто уверенно работает в этой области. Воспитывая же своих переводчиков русской литературы и литератур братских народов СССР (а также и переводчиков зарубежных литератур), мы все силы стараемся положить на алтарь идеи «на язык – с языка». Пытаемся централизовать усилия в нашей Академии, в Киргизском университете, в других педагогических, научных,

методических учреждениях. Разработан ряд конкретных мер, и если Союзу писателей Киргизии помогут, это не замедлит дать самый положительный эффект. Да, переводческое дело необыкновенно сложно, необыкновенно ответственно. И справедливо отмечает М. Новикова («Всесоюзный контекст»): «Реальным фактором взаимного обогащения литератур могут стать лишь переводы – художественные события, переводы-явления. Переводы-однодневки – кривое зеркало литературы». Совершенно верно писала недавно К. Джийдеева, один из ведущих у нас специалистов по переводу, – путь великих поэтов из одного языка в другой (добавлю от себя: из одной национальной культуры в другую) – сложный, неоднородный, медленный, не всегда озаренный счастьем понимания и открытия. И наше общее дело, наша высокая обязанность – сделать этот путь ведущим к настоящим открытиям, подлинному пониманию, сделать достоянием своей культуры все то, что братские литературы нашей страны создали и что еще создадут.

## ÑÈÎ ÂÎ Î Á ÀÀÒÎ ÐÀ

\*\*\*

Можно было бы много сказать о творчестве киргизского поэта Суюнбая Эралиева. Можно было бы на его примере показать, как давняя и древняя киргизская поэзия, уходящая корнями в глубины эпоса «Манас», поднялась к новой своей форме, к современному уровню художественной литературы...

*Чингиз Айтматов*

\*\*\*

Истоки поэзии коренятся в жизни. Эту истину Суюнбай осознал на фронте. Понял разумом, почувствовал сердцем. Не сразу постигалась эта истина, а исподволь. Впитывалась по каплям и наполняла все существо радостью бытия...

*Николай Удалов*

## СОРОНБАЙ ДЖУСУЕВ

### Стихи мои, стихи

Стихи мои, стихи...

Я вас собрал из гула горных рек,  
Настроенных, как комуза струна.  
У рек, с вершин неукротимый бег  
Начавших вдаль, туда, за горизонт,  
С вершин крутых, где встыл в камень снег.  
А из цветов джайлоо вас собрал  
И запахом их влажным напитал.

Стихи мои, стихи...

Я вас собрал из солнечных лучей,  
Из солнца, восходящего вдали.  
На дастарханах, щедростью своей  
Прославленных и полных разных яств,  
Обильем восхищающих гостей,  
Из чаши молодого кумыса,  
Что подавала девушка-краса.

Стихи мои, стихи...

Я вас собрал и в сердце уберег  
В окопе том, что порохом пропах,  
Среди размытых ливнями дорог,  
На улицах сожженных городов,  
Где сердце мне огонь войны ожег;  
Из ярости идущих сквозь пургу  
Моих друзей, несущих смерть врагу.

Стихи мои, стихи...

Я собирал вас в грохоте войны.  
В кровавой битве, ночь смешавшей с днем,  
В глазах у матерей моей страны,  
Чьи сыновья обратно не придут,  
У скорбной обелисков тишины.  
Я взял их из рассказов тех коллег,  
Чьей памяти быть на войне навек.

Стихи мои, стихи...

Я взял вас у вершин, у белых гор,  
У снега Ала-Тоо, у садов,  
У звездной выси, яркой, как ковер.  
Узор его в тот звездный час, когда  
Гагарин взмыл в космический простор.  
Я взял вас у кремлевских вечных звезд  
И через жизнь в душе своей пронес.

Во всем свою отыскивая суть,  
Ища звучанья для своих стихов,  
Сам для себя я трудный выбрал путь,  
Но все же не отрекся от него,  
Хотя мне трудно было, не вздохнуть!  
Доволен тем, что всюду я искал,  
Что ваш напев мою озвучил грудь.  
Стихи мои, вы стали, свет храня,  
И радостью и мукой для меня.

## Москве

Ты мне крылья дала для паренья,  
Чтоб увидел я мир с высоты.  
Ты – исток моего вдохновенья.  
Ясный свет озарения – ты!

Я дышал твоим воздухом вечным,  
Хлеб вкушал твой, отведал питье,  
И сейчас вот я словом сердечным  
Воздаю за доверье твое!

## Две звезды

Нашлась ли пора – той сродни,  
Когда мы гуляли одни  
И нам до рассвета светили  
Двух звезд неразлучных огни?

На них мы равнялись в любви.  
Мечты – и мои, и твои  
Совпали; мы в звездочках этих  
Увидели судьбы свои.

Но мы изменили мечте.  
По-прежнему рядышком те  
Две наших звезды неразлучных;  
А наши свидания – где?..

Весною звенят ручейки,  
Мчат годы – как воды реки...  
Печалюсь поныне, увидев  
Те звезды, что так далеки!

## Золотая чинара

Солнцем и луною залитая,  
Величаво ветками качая.  
Видная с вершины поднебесной,  
Рвется ввысь чинара золотая.  
Принесли давным-давно, жестоки,  
Горе ей с крутых вершин потоки,

Вымыли овраг вблизи чинары,  
Град хлестал,  
Пил ветер ее соки.

Жгла ее июльская зарница,  
Остужала снежная крупица.  
Птица счастья на чинару села –  
Золотом чинара вся лучится.

Для души свеченье неспроста я,  
Как и песни у нее,  
Взял, зная:  
Мой народ – чинара золотая,  
Я же только ветвь ее простая.

Пусть лучами золота литого  
Озарит она край Ала-Тоо.  
«Ветвь хрупка, зато крепка чинара»,  
Повторяю я народа слово.

## Красота

Есть красота – и камня и воды,  
Степного ковыля, осенней кроны.  
Повсюду вижу я ее следы –  
В полете лебедя и в карканье вороны.

Есть красота полынного куста,  
Скалы ребристой, глупого козленка,  
И солнца, и лампы. Красота  
Сосулек, с крыши падающих звонко.

Она в делах и помыслах людских,  
Хотя порой ее глубоко прячем.  
И в лицах, и в глазах, когда мы их  
Раскроем, удивляясь по-ребячьи.

Найдешь ее у каждого внутри,  
Лишь оглянись и сердцем посмотри.



## На Иссык-Куле стая белых лебедей

Мне кажется – с бессмертьем говорю,  
Когда я вижу Иссык-Куль прекрасный.  
И на него я радостно смотрю,  
И с миром всем душа моя согласна.

Спит Иссык-Куль среди сонных камышей,  
Как зеркала предзоревая стылость.  
И стая белых плавных лебедей  
На гладь его спокойно опустилась.

Как будто с неба облаков клубки  
Спустилась  
Лебедей прекрасных стая.  
Поплыли вдруг, стремительны, легки,  
Пленительные перья расправляя.

Стою на берегу. И, как во сне,  
Шепчу мечтам, уплывшим вдали:  
«Где вы?»

Как лебеди,  
Пусть снизойдут во мне  
Неслыханные, белые напевы.

## Седой солдат

На фронт уехал парень молодой.  
Испытанный экзаменом суровым,  
С победой возвратился он домой,  
Черноволокный – стал белоголовым.

Задаст ему вопрос иной старик:  
Видать, мы одного с тобою года?  
Гляди, – пошутят девушки, – парик!  
Вот до чего мужчин доводит мода...

Он только улыбался всем в ответ.  
Он столько повидал в годину бед!  
Не мог же он в подробности вдаваться.  
Что побывал у смерти на краю,  
Что в одночасье, в штыковом бою,  
Он поседел. В свои неполных двадцать.

## Кыз-кумай

Скакуны готовы пуститься вскачь,  
Гривы их гнедые горят – кумач!  
Девушка с джигитом крикнули:  
«Э-эй!» Скакунов пришпорили –  
Кто быстрее!

Заплескалось платье – озера гладь.  
В сердце, у джигита:  
«Как догнать?»  
Зрители сильнее стали шуметь:  
Дай конго разочек!  
Дай ему плеть! –

Кони, как шайтаны, сами несут.  
Вдребезги – полдень!  
Ветер крут!

И кричат мужчины;  
- Нет, не джигит!  
Уступаешь девушке! Стыд нам, стыд! –  
Финиш. Кони тише. Спокойная рысь.  
Девушке достался первый приз.

Едет с призом девушка на скакуне,  
Бьет джигита плеткою  
- По спине.  
Лучше бы не видеть такого вовек.  
- Что ж ты опозорил,  
Подвел нас всех?!

От стыда такого, от тоски  
Опустили головы старики.  
Стыдно им, ох, стыдно в глаза смотреть  
Словно их хлестала  
Эта плеть...

Кони как пламя, ветер горяч.  
Вот другая пара  
Пустилась вскачь.  
Бросил за девушкой  
Джигит скакуна,  
Цокают копыта, звенят стремяна.  
Вот догнал он девушку под смех и гул,

Обнял за шею,  
К себе притянул.

На широкой площади сабантуй:  
Поцелуй же девушку!  
Поцелуй!  
А когда губами к губам присох,  
Площадь с облегчением вздохнула: «Ох!»

Будто б на мгновение впав в забытье,  
Все поцеловали в губы ее.

### **Красота земли**

Я в тумане проснусь... Подо мной облака,  
Надо мною излом леденеющих пиков.  
Круторогий вожак на краю ледника  
Стережет задремавшее стадо кииков.

Я проснусь на джайлоо, я за ночь напьюсь  
Поднебесной прохладой, напитком целебным.  
Плотно в заиндевелый халат завернусь  
И увижу лучи над дымящимся гребнем.

Солнце словно в озерах зеленых плывет,  
В травянистых потоках и волнах искрится,  
Яркоцветье в лугах зажигает восход,  
Возвращает заблудших детей кобылицам.

На боках жеребенка сияет роса,  
После бегства ночного он к матери жметя.  
Засверкала зеркальным осколком коса,  
Значит, скоро со свистом за дело возьметя.

Заалеет покос от нарядов девчат,  
И литовки джигитов взметнутся, как сабли.  
С первой зорькою люди в становье не спят,  
Жизнетворные силы в горах не ослабли.

Вот она красота пробужденной земли!  
Сколько смертных боев, сколько долгой  
разлуки,

Не сумели разрушить сыновней любви,  
Не смогли разомкнуть материнские руки.

Сколько раз я готов был пропасть на войне,  
Лишь мечтал об одном: вновь окинуть бы  
взором,  
На прощанье рассветный туман в вышине  
И отдать свою душу родимым просторам.

### **ВО ИМЯ ЖИЗНИ**

#### *Документальная повесть*

Апрель 1943 года...

Прошло уже немало времени с того часа, как мы, простившись с айльчанами, вышли в путь, но дорога кажется неодолимой. Каждый погружен в свои неотступные думы, от которых даже наши шаги становятся тяжелыми.

Вот и Боз-Тектир. Это колхозная летовка. Улавливается резкий, терпкий запах молодой полыни, он бережит воспоминания о беспечном босоногом детстве. А старые пепелища – следы былых стойбищ живо воскрешают в нашем воображении разбросанные там и сям юрты айла, большую юрту, служившую школой для чабанских детей, галдящую ребятню, которая то подбирает букеты из горных цветов, то тешится борьбой, скачками на телятах и жеребятках, то шумно гоняет мяч. А сколько было веселого шума вечерами, особенно когда начинали играть в «ак чолмёк»: забрасывали в темноту короткую белую палочку и поочередно ее отыскивали.

В каком временном далеке это было!.. И вот мы, уже возмужавшие парни, выступили в другую даль – на схватку с врагом, чтобы защитить отчую землю в тяжкую для нее годину. Мой земляк Осу Беккулуев то и дело оглядывается на Боз-Тектир, словно не в силах с ним расстаться, и тоже погружен в свои думы. Вдоль дороги вытянулись вереницей большие красные камни – молчаливые свидетели многих веков. Я сунул руку в карман и наткнулся на кусочек мела, прихваченного из школы. В голове у меня мелькнула одна мысль, и, тихо окликнув Беккулуева, я сошел с ним на обочину. Торопливо написал на плоской и защищенной от дождя стороне большого красного камня несколько строк:

Среди народа вместе росли  
Мы, двое молодых, с добрыми помыслами.  
На поле брани мы отправились,  
Вернемся ли – судьбе лишь то известно.

Затем мы поставили свои подписи. В самом деле, доведется ли вновь пройти по красному глинозему Боз-Тектира с его медовыми травами?..

Добравшись пешком до Кара-Кульджи, мы двинулись дальше в сопровождении представителя райвоенкомата – на станцию Кара-Суу. Там без раскачки погрузились по отделениям в красные, будто выкрашенные суриком вагоны. Раздался протяжный гудок, и поезд тронулся. После нескольких дней пути приехали в Алма-Ату. Прошли разношерстной колонной по мощным улицам города. Впервые в жизни после своего аила я увидел большой город... Помылись в городской бане, постриглись под нулевку, а затем переоделись в военную форму. В этой одежде все стали как будто одинаковыми, мы узнавали друг друга не сразу, а только взглядевшись, что вызывало дружный смех. У военной формы есть одно особое свойство: надев ее, подпоясавшись ремнем, невольно подтягиваешься, плечи сами собой расправляются, и уже чувствуешь себя воином.

Посадив на трамвай, нас привезли под Алма-Ату, в расквартированный там запасной полк. Месяца три жили мы в полковых казармах, проходили необходимую военную подготовку. Каждый день с утра до вечера занимались на полигоне, заучивали положения уставов, рыли окопы, стреляли по мишеням, бегали с пулеметом, бросались в учебные атаки на «противника». Возвращались поздно вечером, донельзя усталые, и, едва поужинав, ложились спать. Спать... Спать... А чуть свет звучал зычный голос командира: «Подъем!» Он властно вырывал нас из сладкого сна, в котором каждый вновь видел родной аил, сочные травы джайлоо и себя с любимой на этом джайлоо.

Однако мы, воины, взявшие на себя святую обязанность защищать Отчизну от ненавистного врага, выдержали нелегкие испытания, старательно, со всем тщанием изучали солдатскую науку. Наши айлычане Быштак Джаныбеков, Султанбек Корголубаев, Байы Куденов, Сатыбай Мамбеткабылов, Алдыш Мамаев, Масиркул Акматов, Кожомберди Айдаров рвались попасть на передовую как можно раньше. Особенно не терпелось Алдышу, парню подвижному, ловкому. Оказывается, он уже был на фронте, воевал с фашистами, схватывался с ними лицом к лицу, был ранен и после лечения в госпитале приехал в родной аил в отпуск. Теперь он готовился снова попасть на фронт, уже вместе с нами. Он учил товарищей разного рода уловкам, которые могут пригодиться в боях, давал множество самых разных советов и вообще, как мог, старался помочь нам. И мы смотрели на Алдыша, как на человека бывалого, много повидавшего, и старались хорошенько запомнить его наставления.

Однажды бойцов собрали в летнем клубе, где для нас должна была петь гордость казахского народа, знаменитая певица Куляш Байсеитова. Ее чудный голос сразу же овладел нами, и мы сидели завороченные. Куляш была первой известной певицей, которую я слушал. Потом, в дальнейшей своей жизни, мне приходилось слушать не одну известную певицу, но ничье пение не врезалось так в память, как пение Куляш в солдатском клубе, в пригороде Алма-Аты.

В заключение концерта Куляш Байсеитова обратилась к бойцам:

- Дорогие мои, желаю вам, чтобы вы разгромили врага наголову и с победой возвратились домой! – ее слова потонули в громких аплодисментах, так мы выразили ей свою горячую признательность.

Через несколько дней командир полка выстроил нас и сообщил о том, что завтра мы отправляемся на фронт, да еще будем воевать в гвардейской дивизии имени легендарного генерала Панфилова.

Чуть забрезжил рассвет, как мы с песней, в новенькой форме строем шли по улицам Алма-Аты. Кое-где стояли старики, вездесущая детвора, направлявшиеся на работу женщины и провожали нас долгими взглядами.

На железнодорожном вокзале состоялся митинг бойцов, едущих на фронт. Две вплотную поставленные друг к другу грузовые машины с бортами, затянутыми красными полотнищами с лозунгами, превратились в импровизированную трибуну. На нее поднялся один из руководителей республики и сказал теплые слова напутствия воинам, которым предстояло стать пополнением гвардейской дивизии, пожелал доброго пути и счастливого возвращения с победой. Затем выступили бойцы, отличившиеся на учениях запасного полка. Один из них был смуглолицый джигит-киргиз, как я узнал позже – Абсент Абдыбеков, который и поныне трудится учителем в Кеминском районе. Запомнились слова нашего земляка: «Мы, воины-киргизстанцы, обещаем отстоять честь, свободу и независимость советского народа, не щадить в битве с ненавистным врагом ни крови, ни жизни!»

После митинга казахстанцы раздали собранные нам в дорогу хлеб, масло, сахар и табак. Заиграл оркестр. Паровоз с красным флажком на тендере плавно тронулся с места, стал все больше ускорять бег, двигаясь на запад.

Прошло несколько дней пути. Когда наш состав останавливался на иных станциях, нас обгоняли эшелоны с танками, пушками, минометами, идущие в сторону фронта. А навстречу, с запада, шли разбитые составы и санитарные поезда с красными крестами на вагонах.

Смятенно смотрели мы на перебинтованных бойцов, ехавших в госпитали Средней Азии. Спрашивали:

- Браток, как там на фронте? Одни отвечали:

- Приедете, сами все увидите. Другие:

- Воюем. Враг еще силен. Занимайте наши места, бейте врага покрепче.

Наш эшелон тронулся. Пьем кипяток, хрустим сухарями, слушаем бесконечные байки. Редкие остановки. И там, на других станциях, картина все та же: на запад – эшелоны с вооружением, с запада – поезда с ранеными.

Наконец приехали в Москву. Однако пройти по московским улицам не удалось. Наш состав сразу же направили по Октябрьской железной дороге, по которой эшелоны шли уже прямо на фронт. Ночью город погрузился во мрак, и похожие на исполинских китов аэростаты заграждения нависли над Москвой. Зенитные установки ошетинились длинными стволами в темноту, которую прорезали лучи мощных прожекторов, похожие на гигантские ножницы, способные разрезать все, что встретится на пути. Слышался гул барражирующих над Москвой патрульных самолетов.

Удаляемся от Москвы. Эх, пройти бы по улицам столицы, по Красной площади, прокатиться на метро, побывать в Мавзолее... Тешим себя мыслью, что если доведется вернуться живыми с войны, исполнятся все наши желания.

Когда добрались до станции Бологое, наш состав подцепил другой паровоз, и он, деловито пыхтя, потащил нас дальше на запад, в сторону Великих Лук. Все чаще стали встречаться воронки от бомб, вывороченные сосны и березы, тлеющие пожарища с сиротливо торчащими печными трубами. Все это – земля, освобожденная нашими войсками в ожесточенных боях.

После долгого пути среди лесов и болот поезд остановился на неприметной станции, была дана команда выходить, и бойцы, подхватывая вещи, начали выпрыгивать из вагонов. Построив всех повзводно и проведя поверку, офицеры, сопровождавшие нас от самой Алма-Аты, передали пополнение офицерам с фронта, из дивизии, в составе которой нам предстояло воевать. Да еще в какой – Панфиловской, гвардейской...

По дороге среди леса мы шли походной колонной, перед вечером подошли к какой-то деревне. Видим – блиндажи вдоль дороги. Возле них стоят бойцы – русские, казахи, киргизы,

судя поговору. На груди у них – гвардейские значки. Невольно хочется быть похожими на этих храбрых бойцов, так же молодецки носить гвардейский значок.

Добравшись до деревни Княжий Клин, наскоро поужинали и повалились на душистое сено, настланное на полу в длинном сарае. Хоть и устали порядком, уснуть сразу не удалось. Неподалеку гудела артиллерийская канонада, слышался треск пулеметных и автоматных очередей. Только здесь мы начали постигать, сколь далеки были рассказы о войне от наших собственных ощущений. Вот мы и добрались до фронта. Что нам еще предстоит?.. От таких мыслей и не спалось. Рано утром вышли во двор. Веял ласковый августовский ветерок. Снова – в строй. Началась переключка. Нас распределяли по полкам дивизии. Когда зачисленные в другие полки наши земляки из одного аила или района стали уходить, мы, оставшиеся, простились с ними. Нашу группу привели в расположение 27-го артиллерийского полка, где мы вымылись в срубленной солдатами – прямо среди леса – бане. В жизни я не видел такой жаркой бани. Бойцы-фронтовики, заметившие, что мы не выдерживаем жара, стали потешаться над нами, поддавая еще больше пару и приговаривая:

- Раз стал фронтовиком, привыкай, браток, и к фронтовой бане.

Выйдя из бани, мы строем направились к передовой, откуда слышалась стрельба и где разместились 2-й дивизион полка. Машины, обозы двигались по гатям среди болота. В этом дивизионе нам предстояло служить связистами-телефонистами.

Несколько блиндажей на сваях, срубленных из сосновых бревен, оказались штабом дивизиона. Из моих земляков в этот дивизион вместе со мной попал только мой земляк Осу Беккулуев. Мы сами несказанно удивились тому, что попали в один дивизион после стольких перемещений и «делений». Под непрерывный треск близкой стрельбы мы впервые поели фронтовой каши, вдохнули пахнувший порохом воздух и стали укладываться в блиндаже рядом с бывальными бойцами в пропитанных потом гимнастерках.

Когда мы с Беккулуевым принялись снимать гимнастерки и стаскивать ботинки, командир отделения связистов Аширов остановил нас:

- Ребята, вы сюда не на курорт приехали. На фронте раздеваться не положено.

Уложив вещмешки в изголовье, мы прилегли. Вражеские снаряды рвались то с недолетом, то с перелетом. Отчетливо слышалась пулеметная трескотня. Это была первая наша фронтовая ночь – сумбурная и тревожная.

- Подъем! Быстрее! – разбудил нас чей-то голос, и, в испуге вскочив, мы схватили оружие и выбежали наружу.

Там уже стоял командир дивизиона майор Сорокопут. Как только мы выстроились, майор сказал:

- Положение опасное. Немцы захватили первую линию нашей обороны и вынудили пехоту отступить... Приказываю: оружие – к бою, взять побольше гранат и занять оборону вокруг штаба дивизиона. Защищать штаб любой ценой, если понадобится – ценой жизни! Ясно?

- Так точно!

Тревожно оглядываясь, мы заняли позицию вокруг штаба. А перестрелка все усиливалась. Снаряды разрывались неподалеку в лесу, выворачивая с корнем вековые сосны. Картина страшноватая, особенно для нас с Беккулуевым. Угнетала мысль о том, что можем погибнуть, даже не успев повоювать толком.

По гати мимо штаба шли к переднему краю бойцы пехотного полка с минометами, пулеметами «Максим», противотанковыми ружьями. Бой по-настоящему разгорался.

Услышав свист снаряда, который, казалось, вот-вот разорвется прямо над нашими головами, мы, словно сговорившись, бросились на землю. После разрыва снаряда, перелетевшего через нас и угодившего в лес, мы услышали чей-то раскатистый хохот. Оглядевшись, мы увидели, что это был старший сержант Алымкан Мырзаканов.

- Эх, друзья, если вы каждому снаряду будете кланяться, как же воевать? Знайте: где упадет снаряд – с недолетом или с перелетом, можно определить по его звуку. Тот снаряд, что упадет с недолетом, не успеешь услышать – только взрыв. А тот, что упадет с перелетом, свистит над головой.

Мы приободрились от слов этого крепкого воина-телефониста с глубоко посаженными, пронизательными глазами, призванного из Джалал-Абадской области и уже побывавшего не в одной фронтовой переделке.

После полудня – хорошая весть. Наши пехотинцы выбили противника из траншей, которые он занял на рассвете. После того, как угроза развернутой атаки немцев была устранена, дали приказ принять пищу и приступить к обычным занятиям.

В запасном полку в Алма-Ате мы изучали пулемет «Максим», который должен был стать нашим оружием на фронте. Однако нам пришлось неожиданно стать связистами-телефонистами. Как быстрее обучить нас этой специальности? По приказу начальника связи дивизиона ефрейтор Ковальчук повел нас подалее в лес на занятия. Начал он с устройства полевого телефона, показал, как с ним обращаться. Подсоединил к телефонному аппарату кабель, развел нас в разные стороны, поодаль друг от друга, чтобы мы поговорили по телефону. Потом показал, как соединить оборванный провод. Прodelали все несколько раз.

К вечеру стрельба поутихла. Только я задремал, глядя на мерцающий огонек коптилки из снарядной гильзы, и тут же вздрогнул от голоса дежурившего у малого коммутатора Ормонбека Турдалиева:

- Товарищ сержант! Товарищ сержант, связь прервалась! Сержант Аширов приподнялся и окликнул Ковальчука:

- Беги чинить линию! Захвати с собой одного из новобранцев.

- Кого?

- Да хоть кого. Все равно надо обоим учить восстанавливать линию, – сказал Аширов. Ковальчук глянул на меня:

- Ну что ж, пошли. Возьми свой карабин.– Он вышел из блиндажа. Я, присоединился к нему, и мы зашагали по ночному лесу. Темнота – хоть глаз коли. В одном месте я угодил ногой в воронку, до краев наполненную водой, в другом поцарапал лицо, наткнувшись на елку. Ковальчук, на ходу придерживая и водя рукой по проводу, наставлял меня:

- Эта телефонная линия связывает наш дивизион с передовым батальоном нашей пехоты. Очень нужная линия. Мы должны обеспечить ее бесперебойную работу. Видишь, вон лежат линии связи других частей! Вот и нужно держать свою линию все время в руке, чтобы не спутать с другими.

Мы приблизились к позициям нашей пехоты. Совсем рядом ухали орудия, неожиданно яркими вспышками сверлили темноту ракеты и гасли неподалеку. Вдруг все вокруг осветилось нестерпимо ярким светом, и что-то загрохотало. Я встал как вкопанный, ошалело озираясь. Ковальчук повалил меня и прижал к земле. Ничего не понимая, я лежал ослепленный и оглохший. Чуть погодя грохот утих. Ковальчук поднялся, отряхиваясь, сердито выговаривая мне:

- Чего ты рот разеваешь, когда вокруг мины рвутся! Не забудь, что ты сюда не умирать приехал, а воевать!

Пройдя еще немного, он нашел обрыв линии, сунул мне один конец провода, потом нашел другой, соединил концы, затем присоединил к линии висевший на плече телефонный аппарат и проверил, есть ли связь. О том, что связь восстановлена, возвестил бодрый его голос:

- Все в порядке. Пошли домой!

Вернувшись, мы заметили при тусклом свете копилки, что затвор карабина Ковальчука разнесло осколком. Видно, это произошло в тот самый, момент, когда Ковальчук прижал меня к земле. Я похолодел от мысли, что этот осколок попал бы в меня, упавши я чуть позже. И во мне разлилась волна теплоты и благодарности к этому немногословному, простому и храброму человеку. До меня стала доходить суть нашей фронтовой работы – готовность одолеть врага, помноженная на готовность к взаимовыручке.

Ночью линия снова оборвалась, и соединять ее ходили Окулев-младший с Беккулевым. В нашем взводе, как выяснилось, служили братья Окулевы. Младший – высокий, черноволосый, старший – низкорослый, русый, с потрескавшимися губами. Постепенно мы познакомились со всем взводом.

Одним из бойцов нашего взвода был Федор Стукошин, человек отзывчивый, мягкий, художник по своей довоенной профессии (и послевоенной – он стал одним из известных художников Киргизии), служил в дивизионе топографом, потом артиллерийским разведчиком. Наблюдательный пункт дивизиона располагался на очень высокой раскидистой сосне. Как-то поднялся я на наблюдательный пункт проверить телефон, там дежурил Стукошин. В установленную на сосне стереотрубу он наблюдал за позициями противника, сверял с панорамой, начерченной им самим, и наносил на схему огневые точки.

- А-а, проходи, земляк, – сказал он, дружелюбно улыбаясь. – Ты, наверное, еще фашистов не видел. На, погляди.

Я прильнул к стереотрубе и стал всматриваться. Стукошин между тем, пояснял:

- Вон река Ловать. На этом город Холм, занятый немцами.

Я увидел небольшой городишко с деревянными домами, церквушкой, мощеными улицами. Подумал о том, что под крышами этих домов засели фашистские вояки и забрасывают нас минами и снарядами. ...А ближе к нам плавно несет свои воды Ловать. Но спокойствие это обманчиво: через реку днем и ночью летят тысячи снарядов и миллионы пуль. Увидев, как точно набросал Стукошин панораму переднего края противника, я сказал ему об этом, он со вздохом ответил:

- Да, земляк, вот какие картины я сейчас пишу. Есть у меня одна мечта: кончится война, вернусь домой, в родную Киргизию, буду писать пейзажи, портреты мирных людей.

Проверив телефонные аппараты, я спустился по лесенке на землю и, увидев подходившего майора Сорокопута, вытянулся и отдал честь. Майор, статный, чуть рябоватый, с проницательным взглядом, всегда бодрый, остановился и с улыбкой спросил:

- Ну, как дела, киргизский боец? Привыкаешь понемногу к фронту?

- Привыкаю, товарищ майор.

- Надо привыкать, – он шагнул было, но снова остановился и обернулся ко мне. – Ты из тех киргизов, о которых писал Тарас Шевченко?

В это время подошедший к нам лейтенант Куанышпаев, опередив меня, пояснил:

- Товарищ майор, в старину казахов и киргизов называли одинаково – киргизами. А Шевченко в своих «Думах...» и других стихах разумел под киргизами нас, казахов. Но мы уже не те бедняги, о которых с жалостью и сочувствием писал Шевченко.

- Знаю, – ответил майор, улыбаясь. – Казахи и киргизы – родственные народы. Ты, стало быть, киргиз, горец. Видно, по горам соскучился, что на сосну залез. Ладно, воевать надо везде. Ну, хлопцы, как будем воевать? – глянул он на бойцов, подошедших к сосне.

- Жизнь за жизнь! – в один голос потянули мы.

И ранее мы замечали, что этот грозный на вид командир-украинец постоянно вполголоса читал стихи Тараса Шевченко. Вот и сейчас, поднимаясь по лестнице на НП, он что-то нашептывал складное.

Мы пошли по своим делам. Через некоторое время заметили, что пушка нашего дивизиона, стоявшая за лесом, посылает снаряд за снарядом... Вечером Стукошин рассказал нам о тех залпах... Майор Сорокопут, понаблюдав в стереотрубу, позвонил на батарею, откуда одна пушка начала обстреливать позиции противника. Видно, снаряды ложились не туда, куда наметил майор, он пришел в негодование – подавал команды, стиснув зубы. Вот один снаряд перелетел реку и разорвался в городе, майор удовлетворенно улыбнулся. Снаряд, как оказалось, попал прямо в купол церквушки, которую немецкие разведчики превратили в удобное для себя гнездо, корректируя оттуда огонь своей артиллерии.

...Постепенно мы втянулись во фронтовые будни, привычно и четко выполняя свои обязанности, восстанавливая связь не только днем, но и ночью.

Как я узнал, наша дивизия стояла в обороне у Холма уже давно. Наши бойцы еще зимой 1942 года проникали в глубокий тыл к фашистам – неожиданно, через леса и болота, нанося большие потери противнику. Случалось, что подводы, груженные боеприпасами, и пушки вязли в болоте, тогда бойцы вытаскивали их и по труднопроходимым топям несли снаряды на руках по несколько километров. И таким невыносимо тяжким путем подошли к городу Холму.

О тех тяжелых днях нам, новобранцам, много рассказывал опытный связист, таласец Ормонбек Турдалиев, перенесший все эти невероятные тяготы вместе с бойцами дивизии. За мужество и храбрость, проявленные в боях за Крестцы, он получил орден Красной Звезды. Турдалиев советовал нам с Беккулевым много полезного, прививал фронтовые навыки.

- Особенно будьте осторожны, когда идете восстанавливать линию ночью. Оружие всегда держите наготове, заряженным. Бывает так, что немцы переходят наш передний край, обрывают провода и ждут прихода наших связистов. Застают их врасплох, когда те устраняют обрывы, захватывают в плен. Поэтому, пока один соединяет провода, другой должен быть начеку.

Еще он учил, как восстанавливать линию.

- Никогда не выходите на линию без нескольких метров запасной проволоки. Иногда в один кабель попадают два-три снаряда. Когда соединяешь концы, длины кабеля уже не хватает. Иногда линию обрывает танк или подвода, и оборванный конец может оказаться далеко. Случается, все обрывы устранил, а на последний не хватает двух-трех метров проводки. Тогда можно срезать на ближайшем дереве длинную ветку и временно соединить с концами кабеля. Влажное дерево отлично пропускает ток.

Мы были довольны тем, что и на войне встретили много людей отзывчивых, чутких, всегда готовых прийти на помощь. Мы поняли, что советскому солдату присущи чувство локтя, взаимовыручка и самоотверженность, которые и помогают ему побеждать.

Как-то майор Сорокопут построил всех нас и зачитал приказ командования Северо-Западного фронта, в котором сообщалось, что наши войска, после ожесточенных боев прорвали линию фронта близ города Старая Русса и продвинулись на два-три километра вглубь. В приказе выражалась благодарность наиболее отличившимся частям, звучал призыв мно-

жить победы. Из этого приказа мы поняли, что соседние дивизии смогли продвинуться вперед только после кровопролитных боев, по фашистским трупам.

Хотя на нашем участке и не было такой напряженности и таких кровопролитных схваток, зато непрестанно шли бои местного значения. Мы не знали, когда пойдем в большое наступление. Преодолев минные поля в лесу севернее штаба дивизиона, мы начали строить новые блиндажи. Повалив толстые сосны, построили для связистов блиндажи в два наката, засыпав землей пространство между рядами бревен. Наши плечи покрылись ссадинами, когда блиндаж был закончен. Вырубив из сухого ствола балалайку и натянув на нее телефонный провод, Ковальчук дал концерт в честь завершения «строительства». Осталось только переехать в новый блиндаж, тем более что каждый присмотрел себе там местечко. Любуясь снаружи блиндажом, в котором не была бы страшна даже зимняя стужа, мы едва заметили подошедшего майора Сорокопута. Отдали честь.

- Блиндаж закончен? – спросил он, заглянув вовнутрь.

- Закончен, товарищ майор! – разом ответили мы, – Теперь нам ни снаряды не страшны, ни холод. Топчан сделали – это наша общая кровать.

- Кровать-то кроватью, однако не доведется вам на ней поспать, молодцы, – сказал майор с улыбкой.

- Почему? – спросили мы в недоумении.

- Завтра снимаемся отсюда. Готовьтесь в путь! – серьезно сказал майор и направился к соседнему блиндажу.

Мы долго стояли на месте от неожиданности. Но делать нечего, приказ есть приказ, и мы пошли готовиться в путь, оглядываясь на наш новенький блиндаж. Ну что ж, может, добрым словом помянут нас другие бойцы, которым этот блиндаж пригодится.

На следующий день наше расположение заняли бойцы свежей дивизии, а когда стало смеркаться, мы двинулись в путь. О том, куда мы направляемся, знали только командиры. Небо было звездное. Отыскав Полярную звезду, мы прикинули, что идем к югу от Холма.

Десятки тягачей тянули гаубицы, машины – минометы, лошади – пушки поменьше. Пехотинцы шли повзводно. В прохладной осенней ночи ревели моторы, храпели лошади, стучали копыта. Было уже за полночь, когда мы, отдалившись от Холма на значительное расстояние, наконец-то услышали долгожданную команду на привал. Узнав о том, что неподалеку от нас расположились пехотинцы, мы с Беккулуевым решили поискать землячков, с которыми расстались при распределении в деревушке Княжий Клин.

Мы подошли к месту, где отдыхали пехотинцы, раза три выкрикнули имена наших айлычан. Спустя немного времени к нам подошли Султанбек Корголубаев, Садык Чолуков и другие джигиты. Мы крепко обнялись. Не верилось, что все это наяву. Начались расспросы о здоровье, о солдатском житье-бытье, о новостях с родины. За разговорами мы и не заметили, как быстро прошло время привала, раздалась команда выступать в путь. На прощание крепко пожав друг другу руки, мы побежали к своим подразделениям.

И снова тянулась дорога. Казалось, что нет ей конца. Но вот наступил рассвет, такой долгожданный, потому что после многих часов ночного пути можно передохнуть, вытянуть ноги и расслабиться. Расположились на отдых в стороне от дороги, на опушке густого леса. Технику и орудия надежно замаскировали. Погромыхая катушками с кабелем, мы протянули линии связи от штаба дивизии к подразделениям и службам. Потом лишь прилегли поспать. После сна бойцы подкрепились и стали приводить себя в порядок; брились, меняли подворотнички. Многие писали письма домой. Политруки беседовали с бойцами. Крутили кинофильмы.

...Когда линию связи, идущую к батарее, я подвешивал на стволы сосен, увидел, что мимо проезжал на светлом коне смуглый полковник в сопровождении адъютанта.

- Эй, джигит, приподними-ка свой провод повыше! Смотри, за горло нас не зацепи! – крикнул он по-казахски. Я приподнял проводку, и всадники проехали. Навстречу полковнику заспешил пехотный майор:

- Товарищ полковник, в настоящее время батальон отдыхает. Во время движения никаких происшествий не случилось.

Полковника я узнал сразу. Это был прославившийся в боях под Москвой Бауржан Момыш-улы, о котором мы знали, что он не только храбрый военачальник, командир полка, но и поэт. Его стихи часто публиковались в дивизионной газете «За Родину!», выходившей на русском и казахском языках. Долго еще я смотрел вслед сухощавому полковнику в черной бурке, гарцевавшему на горячем коне.

Через несколько дней пришли в Великие Луки. Город лежал в руинах. Проходя по его улицам, мы не заметили ни одного целого здания. Глядя на темные проемы дверей, пустые глазницы окон обрушенных домов, в которых когда-то кипела жизнь, мы впали в томительные думы. Где теперь те люди, жившие некогда в этих домах?

Прошли еще двадцать пять километров и остановились неподалеку от города Новоскольники, который находился еще в руках немцев. В отличие от позиций в лесу близ Холма здесь не за что было зацепиться глазу: кругом равнина, которая лишь местами горбилась холмами. Лошадей, подводы, машины, тягачи, походные кухни, артиллерийские батареи разместили под прикрытием этих холмов. День и ночь мы строили блиндажи, тянули телефонные линии. Так прошло несколько суток. Временами самолеты-корректировщики «Фокке-Вульф», так называемые «рамы», наводили на нас огонь немецкой артиллерии. Нам, связистам, на такой голой местности пришлось туго. Отправлялись устранять обрыв линии ползком, таясь от фашистских снайперов.

Наблюдательный пункт нашей дивизии располагался на пологом холме. Добирались мы до него по ходам сообщений, старательно пригибаясь. Здесь мы и дежурили, готовые устранить неполадки на линии.

Как-то дежурили мы с разведчиком Джумалы Кыдырбаевым на НП: я – у телефона, Джумалы – у стереотрубы. Обо всех передвижениях врага, замеченных огневых точках он докладывал в свою батарею. Помню, как теплели его глаза на холодном НП, когда он рассказывал о любимой девушке Нурие из села Ивановки в Чуйской долине, вынимал из кармана ее фотографию. У Джумалы был маленький, величиной с ладонь томик киргизских народных песен о любви, собранных Аалы Токомбаевым. Сборник назывался «Напевы сердца». Джумалы с тихой грустью и мечтательностью говорил:

- Я эту книжечку у одного бойца еле выпросил, никак не хотел отдавать, да я его задобрил половиной яблок из посылки от родных... Какое святое это чувство – любовь. И какие только чудесные строки посвящали ей киргизские акыны...

Наша высотка содрогнулась от разрыва снаряда. Следом заухали новые разрывы, уже неподалеку от нас. Запахло порохом и гарью. Линия оборвалась. Сколько ни кричал я в трубку, штаб не отвечал. Со всех ног я бросился устранять обрыв, но тут же остановился – оборванный провод змеился метрах в двадцати от НП. Когда я соединял концы провода, над головой; «прошелестел» снаряд. Артналет возобновился с новой силой...

Когда стрельба улеглась, Кыдырбаев снова вынул из кармана фотографию любимой.

- Хорошая она девушка, такие душевные письма пишет. Эх, доведется ли увидеться с ней? – промолвил Джумалы с грустной улыбкой и прильнул к стереотрубе.

Едва забрезжил рассвет, земля содрогнулась от гула канонады. Сотни наших пушек и минометов вели огонь по врагу. От залпов «катюш» стоял невообразимый грохот. После часа такой артподготовки в дело вступили наши танки и пехота. В общую какофонию боя включились теперь залпы танковых пушек, треск пулеметных и автоматных очередей, гулкие разрывы гранат.

Бой стих только к вечеру. За день, пока шел бой, мы уже потеряли счет разрывам линии, устранять которые бегали братья Окулевы, Ковальчук, Турдалиев, Гальченко, Беккулуев и я. Копилась смертельная усталость, свинцовая тяжесть во всем теле, что было еще невыносимей от мысли, что атаки нашей пехоты окончились неудачей. Мы с Беккулуевым ходили помогать пехотинцам хоронить погибших. Многие из них остались лежать на нейтральной полосе. Выждав, когда погаснут немецкие осветительные ракеты, мы ползком пробирались к телам павших и выносили их к нашим позициям. Сдав личные документы командиру, хоронили их в братской могиле. В темноте трудно было разобрать, кого мы хороним. Может быть, среди убитых были и джигиты из нашего аила, с которыми мы совсем недавно так радостно встречались у города Холма. Кто знает... На войне как на войне, и войны без жертв не бывает.

Потом на нашем участке наступило затишье. Но были успехи на других фронтах. В день 26-ой годовщины Великого Октября мы заметили, что у майора Сорокопута настроение особенно приподнятое.

- Наши войска заняли вчера Киев! Киев! – майор не мог сдержать радости по поводу освобождения столицы своей республики, делился этой новостью с другими офицерами, сержантами и бойцами...

Спустя несколько дней к нам на НП, когда дежурили с Кыдырбаевым, поднялся наш майор. Мы вскочили, он жестом велел сидеть. Встав на место Кыдырбаева, начал в стереотрубу рассматривать передний край, весь перепаханный взрывами бомб, снарядов и мин. Майор несколько минут смотрел задумчиво вдаль, потом тихо произнес:

Ой, чого ти почорнило,  
Зеленое поле? –

И, как бы отвечая вместо поля, закончил:

Почорнило я од крови  
За вольную волю.

Командира дивизиона, глядевшего на поле недавней битвы, разыскал по телефону командир какой-то батареи. Он сообщил о том, что от взрыва фашистского снаряда погиб боец, киргизский джигит, давно служивший в батарее наводчиком. Лицо майора омрачилось, на скулах заиграли желваки.

- Отомстим! – отрезал он и снова приник к стереотрубе. Но на той стороне не было видно ни души. Через некоторое время со стороны Новосокольников показался немецкий мотоциклист. Сорокопут позвонил на батарею и приказал дать выстрел из пушки. Снаряд упал с небольшим перелетом. Немец спрыгнул с мотоцикла и бросился бежать.

- Огонь! – отрывисто бросил майор в телефонную трубку. Следующий снаряд упал рядом с немцем, и тот, поднявшись вместе с тучей песка и глины в воздух, со всего маху ничком хлопнулся оземь. Возвращая стереотрубу Кыдырбаеву, а телефон мне, майор со злой радостью в голосе выдохнул: – Вот так их нужно! – и стал спускаться с НП.

После его ухода мы еще долго говорили об этом храбром офицере. Когда уже собирались смениться с дежурства, Кыдырбаев рассказал, что получил письмо от любимой девушки и попросил помочь ответить ей письмом в стихах.

- Я же не поэт, чтобы стихи писать, – стал я отнекиваться.

- Если не поэт, так будешь им. Я же видел, как ты письмо к матери стихами закончил. Даже запомнил те строчки:

Не гляди с надеждой на дорогу  
Ты, в тревоге сына ожидая, –  
Я вернусь тогда лишь, как свободной  
Станет, наконец, земля родная.

- А письмо от Джоомарта Боконбаева? Стал бы он писать тебе, если бы ты был бесталанным?

Действительно, я получил такое письмо, в котором крупным, размашистым почерком знаменитый киргизский поэт сообщал мне о том, что мое стихотворение «Вперед, киргизы!», посланное мной в журнал «Советтик Кыргызстан», будет опубликовано в 12-м номере журнала, пожелал воинам края белоглавых вершин Ала-Тоо храбро сражаться и вернуться с победой.

- Я пообещал Кыдырбаеву помочь, и, схватив котелки, мы направились к походной кухне ужинать.

Лежим в блиндаже, привалившись друг к другу. В траншее снаружи ходит взад-вперед наш часовой. Вот вдаль послышался шум поезда, и разом заговорили наши пушки – по вражескому эшелону, который шел со стороны станции Пустошка.

Как только наступила морозная зимняя ночь, мы снялись с места. Теперь наш путь лежал на север от Новосокольников. Шли всю ночь, остановились и расположились лагерем в густом заснеженном лесу. Привал, конец ли пути – еще ничего не значит для связиста: пришли на новое место – тут-то ему и самая работа – тянуть паутину своих проводов от штаба дивизии к батареям, наблюдательным пунктам.

Только успели обжиться на новом месте, как на рассвете январского дня раздалась оглушительная канонада. Огненными всполохами озарили все вокруг «катюши». В небе – наши бомбардировщики в сопровождении юрких истребителей. Глядя на всю эту мощную технику, нельзя было не проникнуться гордостью к ее создателям, к тем, кто ею управляет.

По укреплениям врага наносился сокрушительный удар. Старались и артиллеристы нашего дивизиона. Все вокруг было окутано дымом, пороховой гарью. А на батарее поступил приказ: установить прицел пушек выше и обстреливать вторую линию позиций противника. Двинулись вперед танки, которые до поры до времени находились в укрытиях. На переднем крае завязалась ожесточенная перестрелка. В бой вступили наши пехотинцы. Их поддерживали своим огнем пушки и минометы. Враг не выдержал натиска, дрогнул и стал в беспорядке отступать, оставляя свои позиции. Мы, связисты, спешно смотали линии связи и пошли следом за нашей пехотой. Позади остались амбразуры огневых точек противника, совсем недавно еще такие грозные и неприступные. Отступая, фашисты в панике бросали технику, оружие, противогазы и каски. В одном из блиндажей, видно, жили немецкие офицеры: пахло духами, стены были обделаны деревом, валялись журналы с цветными иллюстрациями...

Перед станцией Насва были вынуждены остановиться. От станции остались одни руины. Штаб дивизии расположился в редковатом лесу. Некоторых из нас, связистов, направили непосредственно на передний край обеспечивать связь с пехотой. Каждый выкопал себе окоп, в котором, хотя он был открытый и холодный, приходилось дневать и ночевать. Рядом с окопом – мотки запасного кабеля, катушки со старым проводом, телефонные аппараты, погруженные на нашу единственную телегу. Пищу нам приносили в термосах, когда уже опускались сумерки, днем было нельзя: стреляли немецкие снайперы. Приходилось надевать маскхалаты. Однажды, когда я лежал в маскхалате и соединял оборванный провод, вдалеке послышался грохот залпа «катюши», а через мгновение над моей головой пронеслись снаряды. Никогда раньше мне не приходилось видеть, как рвутся реактивные снаряды «катюш». Зрелище ужасающее...

Враг ожесточенно цеплялся за станцию Насва. Через несколько дней земля здесь была перепажана взрывами, вся почернела. Скинув порядком надоевшие маскхалаты, мы вновь ходили в шинелях.

Здесь, на переднем крае, я часто виделся с Сатыбаем Мамбеткабыловым, с которым мы вместе пришли в дивизию. (Ныне он живет в Кара-Кульдже, и мы с ним переписываемся.) Раньше он был артиллеристом, а теперь в его обязанности входило доставлять пищу в термосе разведчикам, телефонистам, радистам. Я думал, что его посылали на передний край из-за маленького роста. При встречах я спрашивал его:

- Сатыке, как жизнь?

Он по обыкновению с улыбкой отвечал:

- Сам видишь, как... Несу еду на передний край.

Столкнувшись с ним в узкой траншее, я заметил, что из висевшего на его плече термоса льется варево.

- Эй, Сатыке, что, твой термос прохудился?

- Нет... Это, видно, снайперская пуля. Две-три просвистели возле уха, когда шел. А эта попала.

Заткнув пробоину в термосе кусочком хлеба, проводил его до передней траншеи... Когда противник проводил артналет, мы, группа бойцов, заскочили в ближайший блиндаж. Вдруг мы услышали вскрик снаружи. В блиндаж вошел побледневший боец с сухими пайками. Осколком снаряда ему перебило кисть руки, и она висела лишь на жилах. Мы перетянули ему руку повыше, чтобы остановить кровь. И только тогда, когда боец раздал консервы и колбасу, направился в медсанбат. Мы были поражены его выдержкой.

Начальник связи дивизиона старший лейтенант Гончаров вызвал нас с Беккулевым и приказал срочно соединить оборванную линию связи, шедшую к наблюдательному пункту. Мы отправились, обвешанные оружием, телефонными аппаратами. Перейдя железнодорожное полотно, попробовали потянуть провод, но сделать этого не удалось, будто провод чем-то придавили. Прошли дальше и увидели нашего убитого бойца, лежавшего скорченным поперек нескольких наших линий. Видно, настигла его снайперская пуля. Над нами тоже засвистели пули, мы бросились на землю и поползли. Достигнув траншеи, едва перевели дух, как совсем рядом оглушительно грохнуло и на нас посыпались комья мерзлой земли и снег, перемешанный с пылью. То взорвалась мина, и мы чудом остались живы. С трудом разыскали разрыв провода. Починив линию, поползли назад. Выслушав то, что мы доложили, старший лейтенант Гончаров покачал головой, глядя почему-то на меня:

- Мы тоже здесь только богом уцелели. Снаряд попал прямо в твой окоп. Осколок попал в плечо Гальченко, его отправили в санчасть. Да ты сходи, посмотри окоп-то...

В окопе у меня лежал вещмешок с парой «лимонок», с автоматным диском, хлебом, флягой, полотенцем, мылом и другим нехитрым солдатским скарбом. Взрывом разнесло вещмешок в клочья. Особенно жаль было писем из дому и от Джоомарта Боконбаева. Я не мог не сокрушаться, а Беккулеуев заговорил:

- Будь доволен, что жив остался. А если б ты был в окопе?.. Кто-то добавил, пытаясь пошутить:

- Может быть, Гальченко ранило не осколком немецкого снаряда, а твоей гранатой.

- Да что ты несешь? – рассердился Гончаров. – Что ж, по-твоему, Джусуев нарочно оставил эти гранаты? Кто мог знать, что так получится?

А меня подбодрил:

- Ты окопчик-то свой поправь и залезай в него, ничего не боясь. Теперь сюда больше ни один снаряд не попадет. Закон...

Между тем снова сообщили о разрыве линии. И снова отправились мы с Беккулевым. По пути он хитровато поглядывал на меня:

- Сооронбай, сегодня тебя два раза смерть миновала. Надо бы твоему духу-хранителю жертву принести.

- Я и сам хотел, да ты разве не видел, во что моя фляжка превратилась?

Дойдя до того места, где лежал скорченный боец, мы вмиг утихли. Одна перемена нас ошеломила: когда мы видели бойца в первый раз, его тело было цело, теперь же одна его нога лежала в стороне. Видно, в него, уже мертвого, попала мина. Мы перенесли бойца в воронку, чтобы его после похоронили те, кому это было положено. Соединили линию и поспешили назад, к своим окопам.

Бои за Насву шли днем и ночью. Все же наши войска прорвали глубоко эшелонированную оборону, и мы двинулись вместе со всеми вперед. Позади осталась Насва, вся разрушенная, разбитые немецкие танки, пушки, брошенное снаряжение и боеприпасы. Мы своими глазами увидели сожженные фашистами деревни. Раньше мы видели такое только в кинохронике. Враг не оставил нетронутой ни одну деревню. Случалось, что одно подразделение выбивает фашистов из деревни, а другое – тушит подожженные дома. При одном тушении пожара мы неожиданно встретились с нашим айлычанином Алдышем Мамаевым. Он рассказал, что совсем недавно награжден медалью «За отвагу», командует отделением, часто получает письма из дома. Он торопился, но наша походная кухня не подкачала. Еда поспела, и мы посидели с полными котелками.

- Немцы, отступая, все больше зверствуют, – говорил Мамаев, сумрачно глядя на дымящиеся пепелища. – Вчера заняли мы одну деревню, а там в некоторых избах разбросаны красивые игрушки. Наши бойцы, особенно те, у кого дома есть дети, начали подбирать игрушки, а они взрываются. Кого сразу убило наповал, кого ранило. Так что будьте осторожны. Фашисты на всякую подлость мастера... Ну, мне пора в свою роту. Доживем до победы – вернемся в родной аил, сядем все вместе за достарханом. Обязательно. До встречи! – Алдыш крепко пожал нам руки и, повесив автомат на шею, твердо зашагал к своим. Вдруг остановился на миг, обернулся в нашу сторону и с широкой улыбкой помахал рукой.

Одним горячим фронтным днем, когда прошло полгода с начала нашей службы, нам с Беккулевым вручили значки «Гвардия». Теперь мы чувствовали себя настоящими гвардейцами.

Враг отступал с ожесточенными боями. Наша дивизия шла часто по бездорожью, по лесам и топям, освобождая немало деревень. Через город Новоржев проходили ночью. Фашистские снаряды рвались на улицах, так что наш ездовой Кардополов гнал во весь



опор лошадей, запряженных в повозку со снаряжением связистов. Двигались всю ночь. Достигнув реки Великой недалеко от Пушкинских Гор, стали разворачиваться на ее холмистом, заросшем густым лесом берегу. Берег, занятый нашими войсками, был более высок и крут, чем противоположный, занятый немцами. Перестрелка не смолкала ни днем, ни ночью. В ночной темноте с обеих сторон летели трассирующие пули, и жутко становилось от страшного сияния очередей.

Наши пехотинцы в белых маскхалатах скрытно спустились к реке, перешли ее по льду и залегли. Раздались залпы «катюш», с которыми перекликались ухающие взрывы снарядов, перелетавших через нас. После такой мощной артподготовки пехота бросилась в атаку.

Там, где стояли наши гвардейцы, возвышался лобастый холм. С него хорошо просматривались позиции немцев, и поэтому на холме разместились наблюдательные пункты пехотинцев, танкистов, артиллеристов. Хорошо понимали значение этой высоты и немцы: обстреливали ее из пушек и минометов, бомбили с самолетов. Много наших людей полегло на этом холме, и прежде безымянный холм стал называться высотой Смерти.

На этой высоте был НП и нашего дивизиона. От штаба до НП было довольно далеко (штаб находился за излучиной, на берегу Великой), поэтому между штабом и высотой Смерти установили еще один, промежуточный наблюдательный пункт, линию до которого (от штаба) обслуживал я, а линию от промежуточного НП до НИ на высоте Смерти – Беккулуев.

Лед на Великой вскрылся, и саперы навели понтонную переправу. Бойцы охранения поторапливали водителей проходивших по мосту машин, следили, чтобы у моста не скапливалось много войск. Несмотря на заградительный огонь наших зениток, немецкие самолеты все же прорывались к переправе и бомбили ее.

Наша линия связи проходила у моста. Я шел соединять оборванную линию, и в это время, возвещая о подходе к переправе немецких стервятников, открыли огонь зенитки. Я заметил пустой окоп и быстро прыгнул в него. Глянув в небо, увидел самолет с крестами и отделившиеся от него бомбы. Казалось, что они падают прямо на меня. Внезапно в окоп свалилось что-то тяжелое, придавило меня. Что именно, разобрать сразу не мог. Немного приподнявшись, увидел, что этим «что-то» был боец, тоже спасавшийся от бомб. Мне стало уже не так страшно оттого, что я не один.

Самолеты улетели, смолкли зенитки. Я пошевелился, пытаюсь сбросить с себя живой «груз».

- Эй, Друг, вставай, чего разлежся? Нашел себе удобное место...

Он поднялся, выбрался из окопа. Отряхнулся и сказал с кавказским акцентом:

- Ты не ругай меня, друг, а благодари. Я горец, а упал в яму. Тебя закрыл... Выяснилось, что он – азербайджанец. Попросил у меня закурить. Я ответил, что не курю.

Побежали к переправе. Все сброшенные бомбы упали в воду или в стороне на берегу. Переправа осталась невредимой. Мы перебрались на другой берег, и азербайджанец последовал своей дорогой. Признательно махнув рукой, попрощался:

- Гардаш, саг бол!..<sup>1</sup>

В небе разгорался воздушный бой нашего истребителя с немецким, которые беспрерывно атаковали друг друга. Моторы то пронзительно взывали, то затихали, летели пулеметные очереди. Наконец немецкий самолет вспыхнул, от него повалил густой черный дым. Окутанный этим дымом, он, падая, скрылся за лесом.

<sup>1</sup> Браток, будь здоров!..

На промежуточном пункте я увидел, что Осу Беккулуев ранен. Осколок снаряда попал ему в колено. Вызвали с берега повозку. Положили на нее раненого, у которого колено сильно распухло. Я, высказав своему давнему боевому товарищу теплое напутствие и пожелав скорого выздоровления, остался на НП. Войдя в блиндаж, тут же получил приказ обслуживать линию связи до высоты Смерти, за которой следил Беккулуев. Беспрестанно шли бои и перестрелка с обеих сторон, и не было нам ни сна, ни покоя: вместе с боями не прекращались и обрывы линии связи. Приходилось соединять линию под шквальным огнем, чтобы минут через пятнадцать-двадцать бежать к обрыву на другом участке. Но задачу свою выполнял: помогать корректировке точного и своевременного огня орудий нашего дивизиона.

Бежал я вдоль линии связи, придерживая провод рукой. Неожиданно прямо передо мной стремительно, со свистом пронесся снаряд, вспорол и взвихрил плотный снег. У меня, что называется, душа ушла в пятки. Но снаряд не взорвался. Неподалеку упал еще один снаряд и закрутился на снегу. Тоже не взорвался. На бегу я так и не понял, что это за снаряды. Подумал, что немцы, возможно, изобрели снаряды замедленного действия. Соединив у высоты Смерти оборванный провод и возвращаясь назад, заметил, что повсюду валяются невзорвавшиеся снаряды. Вот тогда-то я убедился, что были на немецких заводах люди, не желавшие смерти советским бойцам, и, рискуя своей жизнью, не начинали снаряды взрывчаткой.

Бои продолжались. Вступала в свои права весна. Зазеленела молодая травка. Меня сменил другой связист, чтобы я помылся в бане, а потом с неделю побыл при штабе.

Обойдя холм напротив моста, я видел у его подножия четыре «катюши». Шоферы заспешили в кабины, и я, решив, что расчеты готовятся дать залп, встал поодаль с нетерпением и любопытством ожидая начала. И вот он – залп! Гигантские огненные стрелы сорвались с рельсовых рам, а машины вздрогнули словно от облегчения. Быстро закончив свое огневое дело, расчеты «катюш» заняли свои места, и машины заспешили на другую позицию. Вдруг на то место, где только что стояли «катюши», обрушились вражеские снаряды. Фашисты засекли «катюши», запеленговали их по звуку и, уточнив координаты, открыли огонь. Но было поздно...

В штабе я нашел дежурившего у коммутатора Ормонбека Турдалиева. Он вручил мне пришедшие письма и цилиндрической формы бандероль. Вскрыв бандероль, увидел 12-й номер литературного журнала «Советтик Кыргызстан» за 1943 год с моим стихотворением, о чем мне писал Джоомарт Боконбаев. На сорок четвертой странице было напечатано мое стихотворение «Вперед, киргизы!», в котором я призывал киргизских воинов к беспощадной борьбе с врагом. Снова и снова я пробежал глазами стихотворение, чувствуя себя от радости на седьмом небе.

- О-о, да ты, оказывается, поэт! Поздравляю от всей души! – Турдалиев крепко пожал мою руку. – Теперь остается только «обмыть» этот стих.

- Не смейся надо мной: «поэт!» – ответил я ему. – Но первое стихотворение почему бы и не «обмыть»? Вот только в баню схожу...

После ужина мы с Ормонбеком уселись возле блиндажа под соснами, окрашенными в пурпурный цвет заходящим солнцем и, любуясь красками заката, завели неспешный разговор. Ормонбек рассказал мне о родном Таласе, о проведенных там детских годах, об учебе в средней школе, о том, как полюбил одну девушку и, в конце концов, женился на ней.

- Это ж чудо, какие в Таласе леса! Эх, если б я мог тебе рассказать, какая это красота. Посреди леса течет река с прозрачной, студеной водой. К ней наклоняются деревья, а в густых ветвях, невидимый, поет соловей. После войны обязательно приезжай ко мне в гости.

Расстелем шырдак на густой траве в лесу, попьем свежего кумыса, послушаем, как девушки с джигитами поют. Комуз послушаем!

Ормонбека прервал взрыв шрапнельного снаряда, взорвавшегося высоко, где-то в кронах сосен. Мы опрометью бросились в блиндаж. В ту ночь долго не смыкали глаз, тихо беседовали и не заметили, как уснули. Поднявшись утром, я сразу же взял журнал, лежавший в изголовье, вышел из блиндажа и еще раз перечитал стихотворение. Кругом благоухала весна, пахло хвоей. Не будь войны, здесь бы сейчас заливались на разные голоса всякие пичуги. Странно видеть среди весеннего великолепия развороченные деревья, обуглившиеся пни.

В такой весенний день собрали более ста бойцов из разных дивизионов артиллерийского полка и объявили, что все будут направлены в пехотный полк (в один из трех нашей дивизии). Был среди них и я. Заметил я и Сатыбая Мамбеткабылова.

- Э-э, Сатыке, стало быть, мы теперь пехота? – сказал я ему.

- Пехота, так пехота. Какая разница? Мы ведь и так постоянно с пехотой. Придем в полк, я стану артиллеристом полковой батареи, а ты пулеметчиком, как учили в Алма-Ате. Однако жаль расставаться со своим дивизионом.

По молодой весенней траве мы зашагали в пехотный полк, находившийся на кратковременном отдыхе и укомплектовании. Но пополнение запаздывало, потому-то нас сюда и направили. Распределили по отделениям, вручили оружие, мы познакомились с новыми сослуживцами. А назавтра ко мне пришел Мамбеткабылов:

- Мы возвращаемся в свой полк! Прибыло пополнение. Эх, даст бог, до конца войны довоюю в своей батарее. Ну, собирайся!

Вернувшись в свой дивизион, я получил приказ обслуживать линию на переднем крае. С новой силой возобновлялись бои... Я спешил соединять линию, и здесь очередь из пулемета меня ранило в левую ногу. Молоденькая санитарка перевязала мне рану, а потом отправила на повозке в тыл. И сама села в повозку. Когда мы уже отъехали на порядочное расстояние, позади раздался взрыв снаряда, и тут же, как раненая птица, вскрикнула девушка. Видно, теперь ранило и ее. Ездовой, несмотря на все наши стенания, гнал во весь опор. Даже на совершенно ровной дороге нам казалось, что вся она покрыта ухабами.

Мы ехали мимо Михайловского, где ссыльный Пушкин создал многие свои замечательные произведения. Здесь поэт второй раз встретился с Анной Петровной Керн, после чего создал волнующие стихи:

Я помню чудное мгновенье:  
Передо мной явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.

На этой земле находилась и священная могила великого поэта. Фашисты заминировали ее. Бой за Михайловское и Святогорский монастырь был особенно ожесточенным. Бойцы сходились с фашистами в рукопашных, чтобы не повредить стрельбой и артиллерийскими залпами зданий, помнящих облик, голос поэта, его бессмертную лиру. Вот каким мыслям преданся я, проделавший путь от гор Ала-Тоо до Пушкинских Гор.

Добрались до медсанбата нашей дивизии. Медсанбат располагался в густом лесу, в большой брезентовой палатке. Внутри был отгорожен небольшой угол с надписью «Сортировочная». На видном месте висел портрет генерала Панфилова. Оказалось, что в сортировочной работала дочь генерала Валентина Панфилова. Она велела перевязать нас и положить рядом

с другими ранеными. На другой день за нами приехала закрытая санитарная машина. Она отвезла нас к поезду, который довез до города Осташкова. Мы вышли из вагона и добрались до пристани на озере Селигер. Потом сели на пароход. Плыли на пароход среди поразительной озерной тишины и покоя. И все вокруг после тяжелых боев, смерти друзей казалось сказочным. В госпитале – бывшем монастыре на озерном полуострове – нас встретили как подобает, – сразу распределили по палатам. Мою левую ногу всю «заковали» в гипс.

Раненых было много в каждой палате. Всюду слышались стоны. Тяжело приходилось врачам, медсестрам, санитаркам. Многие раненые не в состоянии были двигаться. Санитарки ухаживали за ними, как за детьми. И порой бывало обидно за них: не обходилось без того, чтобы какой-нибудь тяжело раненый не нагрубил помимо своей воли, но даже и тогда санитарки занимались своим делом, словно и не слышали ничего.

Я две-три ночи стонал, особенно после того, когда мою сквозную рану чистили марлей, намотанной на проволоку. Но потом дело пошло на поправку. Через месяц лечения гипс мне наложили уже только до колена, и я мог ходить на костылях. Однажды, ковляя по коридору, я чуть не упал: один костыль поскользнулся.

– Осторожно, молодой человек! – воскликнул подскочивший ко мне смуглолицый парень. Лицо его показалось знакомым. Канторо Джаныбаев... Он был ранен в руку, теперь выздоровел и скоро должен был отбыть на фронт. Родом он был из аила Капка-Таш, до войны работал в колхозе. Мы охотно беседовали, прогуливаясь во дворе госпиталя.

После его отъезда я тоже пошел на поправку, ходил теперь с тростью. Подолгу любовался красотой Селигера. Когда совсем выздоровел, меня направили в батальон бывших раненых, находившийся на восточном берегу Селигера. Мы грузили на баржи сосновые бревна. Работать было нелегко, давали знать раны, но врачи говорили, что сильная физическая работа способствует выздоровлению, и мы всю старались.

Войска нашего Второго Прибалтийского фронта прорвали линию обороны противника на очень большом расстоянии, освободили всю Великолукскую область и громили врага в Латвии. Наша гвардейская дивизия освободила город Лудза и вела бои за большой железнодорожный узел Резекне. В эти дни я и прибыл в родной артполк. В полку мне рассказали обо всех изменениях и – увя! – о потерях. О гибели майора Сорокопута... Снова потекли фронтовые будни.

Бои за Резекне были предельно ожесточенными. Помкомвзвода старшина Гришин приказал мне:

- Джусуев, связь прервалась, быстрее отправляйся! Ты ведь, отдохнул на Селигере! – старшина обратил конец приказа в шутку.

После освобождения Резекне приказом Верховного Главнокомандующего гвардейской дивизии имени Панфилова было присвоено наименование Режицкая. Полк наш успешно наступал, и поэтому мы, связисты, не знали ни дня передышки. Продвигались все дальше на запад. Ненадолго остановились в пустой деревне. Помог я одному бойцу набрать воды из водопровода, он поблагодарил меня и пошел, но, пройдя немного, обернулся:

- Э, да не Сооронбай ли ты?

Теперь и я его узнал. Это был Байы Куденов, парень из аила Кегерт. Хоть и не было лишнего времени, как не поговорить... Такие встречи с земляками на фронте придавали новые силы.

...Жарко. Лес. Болото. По колено в болотной жиже протягиваем провод. Гимнастерки просолились от пота. Мы с Ормонбеком Турдалиевым крайне устали, невыносимо хочется пить.

- Э-э, Ормонбек, – говорю я, – вышел бы сейчас кто из леса да подал по чашке кумыса...  
- Не спеши, дружок, не спеши! Я же говорил, кумыс будешь пить в Таласе. Обязательно. Понадобилось проложить линию через открытое поле, в которое то и дело – через равные промежутки времени – вонзались снаряды. Мы остановились в растерянности. Турдалиев постоял в задумчивости и сказал:

- Я все понял, Сооронбай. Немцы стреляют методично, они ведь педанты. Видишь, снаряды взрываются через каждые три минуты. Успеем добежать и залечь. Натянем провод и подождем. Как взорвутся снаряды, снова назад.

Смекалка на фронте спасала жизнь...

Наступила осень. Много раз переходил из рук в руки плацдарм на реке Огре, притоке Даугавы, пока мы не выбили врага из города Огре, на подступах к Риге.

В октябре была освобождена Рига. Наш дивизион наградили орденом Суворова. Затем врага выбили из городов Елгава, Добеле, Ауце. В результате фашистские войска на полуострове Курляндия на западе Латвии были отрезаны от суши. Немцы могли связываться с Германией только по морю и воздуху.

Теперь уже не было продвижения: враг дрался с остервенением. Обстановка осложнялась еще и тем, что на полуострове нельзя было применять тяжелое вооружение: места были топкие. Шли затяжные бои местного значения. Наступил 1945 год... Войска западного направления достигли берегов Одера.

Особенно помнится день, когда нам вручили подарки из родной Киргизии. Кому достались рукавицы, кому – кисет, кому – вышитый платочек. Раздали нам и дары юга: орехи, урюк, изюм. В посылках были и книги: «Вперед!» Аалы Токомбаева, «Великий марш» Мукай Элебаева, «Кровь за кровь» Кубанычбека Маликова, «Песнь победы» Темиркула Уметалиева, «Песня сокола» и «Смерть и честь» Джоомарта Боконбаева. Книги быстро были разобраны бойцами. Поэма «Смерть и честь» досталась радисту Алымкану Мырзаканову. Я попросил ее на время.

- О-о, джигит! Эта книга – замечательная. Вернусь через два дня, отдашь ее лично мне!

- Слушаюсь, товарищ старшина! – козырнул я ему, и он, улыбнувшись, зашагал на передний край со своей рацией. Поэму Джоомарта я читал запоем при свете коптилки... Прошло два дня. Мырзаканов все не появлялся. А потом пришла печальная весть: когда он говорил по рации на передовой, рядом взорвался снаряд... Эх, какой был джигит!.. Опечаленный, я написал письмо его младшему брату...

А фронтовые будни шли своим чередом. Мы продвинулись всего километра на два. Наш НП разместился на пологой высотке. Мы поселились в двух блиндажах, брошенных немцами. Пора обедать, а кухни все нет. Начальник связи сунул мне два котелка:

- Джусуев, беги на хутор – вот, за высоткой, вскипяти там чаю!

Я поспешил к хутору, развел огонь, стараясь не дымить, вскипятил два полных котелка и принес в блиндаж. Все оживленно зашумели: есть чаёк! Стали вынимать из вещмешков хлеб, сухари, сахар. В блиндаже все не могли уместиться, и я сел у входа, рядом с разведчиком – сержантом. Вдруг что-то врезалось в блиндаж, сильно ударило меня справа. Опомился: шинель – в крови, в правом глазу – темно. Я похолодел от мысли, что остался без глаза. Отвели в санчасть, там сделали перевязку – голову задело, а глаз, к счастью, остался цел. Вернулся в блиндаж. Оказывается, в него влетел бронебойный снаряд, который убил сержанта. Будь снаряд обычным, в живых не осталось бы никого. В который раз судьба меня миловала...

В леса Латвии пришла весна. Снег тает. Распутица. Наш блиндаж – среди редкого лесочка. В окопах хлюпает вода, и мы без конца вычерпываем ее. Немцы засели в березовой роще напротив, рукой подать. Оттуда, прямо на нас, вышла самоходка. Мы быстро укрылись в блиндаже. Начали рваться снаряды. Наша «сорокопятка» ответила частыми залпами. Самоходка попятилась в лес, и стрельба прекратилась.

В штабе ужинали. На пеньке сидел усатый телефонист, казах Тугельбаев хлебал из котелка. Спросил его о житье-бытье.

- Да ничего. Один снаряд попал в сосну, а меня не задело. Таковым было наше «житье-бытье».

Взяв на кухне еду для дежурившего напарника, я шел к нему, когда из рощи ударил пулемет. Вдруг левую руку обожгло, и котелок полетел на землю. Снова – в санчасть... Усатый хирург осмотрел мою рану и отправил в госпиталь. Снова лечение, разлука с боевыми товарищами и возвращение в родной полк. Ормонбек Турдалиев рассказал о том, что произошло, когда я был в госпитале. Пехотный полк, которым командовал подполковник Шапшаев, попал в окружение. Были там и наши радисты и телефонисты. Полк двенадцать дней выходил с боями из окружения. Осколком снаряда Шапшаеву перебило руку, но он продолжал командовать, лежа на носилках. Полк вырвался из окружения да еще и сам нанес врагу мощный удар. За мужество и выдержку в сложной обстановке, умелое командование полком подполковнику Шапшаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Меня ожидало письмо от Осу Беккулуева. Из родимого края... Он писал, что два раза был ранен и недавно вернулся в свой аил. Написал и о том, как был рад, когда увидел в целостности и сохранности надпись на камне, сделанную мною.

1 мая 1945 года. На лесной лужайке выстроились ровными рядами бойцы. Лица у всех просветленные. Самое радостное сообщение: наши воины водрузили Красное Знамя над рейхстагом. Неужели войне конец? Нет, для нас еще нет. Мы вновь отправились на передний край. Враг от нас – всего в ста пятидесяти метрах. Седьмого мая немцы открыли по нашим укреплениям шквальный огонь. Вновь – настоящая война. В ясные майские дни рвались снаряды и мины, лилась кровь, обрывались жизни. В схватку вступали бойцы в новенькой форме, с новыми автоматами, на новых танках. Восьмого мая бои усилились. Обрываю линий связи не было числа... В полдень стрельба стихла.

- Прекратить огонь! Враг сдался, выбросил белый флаг! – раздалась команда. Артиллеристы выпустили оставшиеся снаряды, установив прицел повыше. Немцы начали сдаваться. Они шли ровными рядами, по сторонам – наши автоматчики. Чувствуя нашу ненависть, гитлеровцы шли с опущенными головами. Кто-то из наших крикнул:

- Эй, чего молчите? Как дела?

- Гитлер капут! Война капут! – ответил дрожащим голосом один немец.

Ночью никто не сомкнул глаз. Кругом – радость, веселье. Заливисто, звучала гармонь, Мы с Турдалиевым написали письма домой. Перед рассветом выступили в новый путь... Вдали показались огни города. Это был город Салдус. В городе – вспышки ракет, залпы из автоматов, пистолетов и даже противотанковых ружей. При свете нарождавшегося дня городские улицы, выглядели особенно веселыми и гостеприимными. Мы пересекли город и разбили лагерь у дороги на Лиепая – город у моря. Конец пути...

Над землей вставал ясный весенний день. Этим днем было 9 мая 1945, года. Первый день настоящего мира после долгих 1418 дней войны. Лица бойцов сияли от горячего волнения и безмерной радости. Среди них был и я, двадцатилетний боец со значком «Гвардия» И медалью «За отвагу».

Оглядываясь на свое солдатское бытие, вижу путь через леса, реки, топи – путь, отмеченный кровью моих фронтowych товарищей – русских, украинцев, казахов, киргизов, азербайджанцев, латышей... Всех, чье имя – мы, советские люди. Это был путь к Победе. Кровь во имя жизни...

С тех пор прошло сорок лет. Сорок раз мы отмечали день великой Победы. Мне близок и дорог этот праздник. И я возвышенно горд, что был одним из тех, кто ратной отвагой, кровной любовью к родной земле вершил в боях нашу мирную жизнь. И твердо надеюсь, навечно...

## ÑĖĬ ÂĬ Î Á ÀÂÒĬ ÐÂ

\*\*\*

Сооронбай Джусуев – поэт, владеющий тонкими секретами лирики. Он показал себя как вдумчивый, с широким творческим диапазоном, художник, умеющий создавать крупные полотна, о чем свидетельствует поэма «Красная тетрадь».

Поэт искренне предан отчей земле и прекрасно понимает, что все хорошее, доброе в своей поэзии, ее краски, ее звучность взял он у родной земли, которая служит источником его вдохновения. Пейзажная и любовная лирика его сердечна и задушевна, она проникнута стремлением постичь прекрасное в природе и людях.

*Чингиз Айтматов*

\*\*\*

...В годы учебы в стихах Джусуева появилась зрелость, широкое раздумье, умение найти и передать деталь. Он стал разрабатывать не только прямые ходы, но овладел искусством показа темы или лирического героя несколько со стороны, через якобы незначительные, но на самом деле очень важные подробности. В киргизской поэзии он нашел новое слово, свежее и молодое.

*Владимир Луговской*

\*\*\*

...Поэзии Сооронбая Джусуева присущи широта и задушевность и глубина раздумий, в ней сочетаются гражданственность и искренность, содержательность и выразительность, хорошее знание языка, своеобразие образности и лиричность...

Поэзия Джусуева – поэзия любви к жизни, веры в людей, в созидательную силу и творческий разум человека, в светлый смысл бытия.

*Кайсын Кулиев*

## ШУКУРБЕК БЕЙШЕНАЛИЕВ

### БЕЛЫЙ ВЕРБЛЮЖОНОК

#### Осмон и его дедушка

Осмон – не мал и не велик. Ему пять лет. Он живет в большом городе и ходит в детский сад.

Из города Осмон еще никуда не выезжал. Даже в гостях у дедушки не был. Дедушка и бабушка живут в далеком колхозном аиле, расположенном среди высоких гор Тянь-Шаня. А летом они переезжают на летнее пастбище – джайлоо, где дедушка пасет колхозных верблюдов. Дедушка Осмона – табунщик.

Иногда дедушка и бабушка приезжают в город навестить внука. Они привозят Осмону полную сумку гостинцев. Гостинцы не покупные, а свои, домашние: кусочки поджаренного мяса и сыр, шарики засушенного творога и другие лакомства. Их готовит сама бабушка.

Осмону нравится получать гостинцы. И еще он любит играть с дедушкой. Дедушка катает Осмона по квартире на закорках, а потом усаживается с внуком на ковер и рассказывает ему всякие истории.

Осмон уже знает, что где-то там, за городом, поднимаются в небо горные вершины, а над ними парят, распластав крылья, могучие орлы. Там есть глубокие ущелья и непроходимые хвойные чащи, по которым бродят разные звери. Там есть холодные озера и прозрачные родники, а на зеленых лугах пасутся стада овец и коз, табуны лошадей и верблюдов. И все это кажется Осмону какой-то волшебной сказкой, все это сливается у него в одно слово – джайлоо. Там живет дедушка, там куда интересней, чем здесь, в городе.

- Чон ата, возьми меня с собой в горы, – просит Осмон дедушку. – Я хочу поиграть с козлятами и ягнятами.

Дедушка обещает взять, но не сейчас.

- Теперь зима, холодно, – говорит он внуку. – Настанет лето – другое дело. Обязательно возьму. У меня и подарок для тебя есть.

- Какой подарок? – не терпится узнать Осмону. – Скажи, чон ата, скажи скорей!

И дедушка рассказывает Осмону про белого верблюжонка, у которого шерсть, как лебяжий пух.

Верблюжонок родился полгода назад, и, как водится в Киргизии, старый табунщик заранее определил ему хозяина – своего маленького внука Осмона.

- Без хозяина животное не может жить, – говорит дедушка. – Ты будешь хозяином верблюжонка, мой малыш, ты будешь играть с ним, растить его.

На следующий день дедушка и бабушка уезжают из города к себе в аил. Чтобы не огорчать Осмона, они уезжают днем, пока внука нет дома.

Вечером Осмон возвращается из детского сада и начинает реветь.

- Я хочу к дедушке! – кричит он. – Я хочу в горы!

- Что с ним поделаешь! – говорит мать. – Такой наш Осмон капризный ребенок.

- И верно, надо его летом отправить на джайлоо, – говорит отец. – Пусть он окрепнет там, закалится.

Проходит зима, весна сменяется долгожданным летом. В городе душно и жарко. А дедушки все нет.

Теперь Осмон все чаще капризничает и вспоминает про джайлоо.

«И почему чон ата не едет за мной? – размышлял он. – Ведь не может верблюжонок жить без хозяина».

- Давай напишем дедушке письмо, – предлагает отец.

Отец достает лист бумаги, ручку, чернила, и они пишут письмо. Отец выводит на бумаге буквы, а Осмон сидит рядом и смотрит. Он еще не умеет писать.

Зато подпись Осмон ставит сам. Он кладет на лист бумаги свою руку, а отец обводит карандашом все пять пальцев Осмона – получается вроде как подпись.

Потом отец с сыном выходят на улицу и бросают письмо в почтовый ящик. Через час Осмон спрашивает:

- Ну почему он не едет? Почему не едет? Ведь мы написали ему письмо! Прошел вечер и следующий день, и еще три дня прошло, а дедушки все не было.

И вот однажды на рассвете, когда Осмон крепко спал в своей деревянной кровати, ему показалось, что кто-то нагнулся над ним и зашекетал ему щеку.

Осмон решил, что это сон. Ему как раз снились джайлоо и белый верблюжонок, который прижимался к щеке пушистой шерстью.

Осмону захотелось получше разглядеть верблюжонок, и, наверно, потому он приоткрыл глаза.

- Ау, мой малыш! Проснулся? – сказал дедушка. – Вот я и приехал за тобой.

Осмон перешагнул из кровати на колени дедушки и прижался к его редкой серебристой бороде.

- Ай-ий! Чон ата, это ты? – радостно закричал он.

- Смотрите, смотрите, как он соскучился по мне! – заволновался дедушка. – Ну, конечно, это я, мой малыш, это я. Осмон повис на дедушкиной шее:

- А мне казалось, что это верблюжонок меня щекочет!

- Твой верблюжонок уже подрос и ждет своего хозяина Осмона, – сказал дедушка. – Ты сможешь даже сесть теперь на него верхом.

- Ай-ий! – удивился Осмон. – Как же сесть, когда он моложе меня?

- На то он и верблюжонок, мой малыш, чтобы быть больше тебя ростом. Он уже большой, второй год ему пошел, объяснил дедушка.

- А мы сейчас поедим? – не унимается Осмон.

Теперь он окончательно проснулся. Он прыгает на коленях дедушки, а потом забирается к нему на плечи.

- Завтра поедим, мой малыш! Подожди до завтра! – говорит дедушка. – А сейчас пойдём-ка развяжем сумку, посмотрим, что там бабушка тебе прислала.

## По пути на Джайлоо

Путь на джайлоо оказался не таким простым, как думал Осмон. Сначала они сели с дедушкой в автобус и несколько часов тряслись по открытой дороге к колхозному аилу. Дорога была неровной, извилистой, всюду пекло солнце, в автобусе было жарко.

- Чон ата! Скоро мы приедем? – начал хныкать Осмон. Все, что он видел из окна тряско-го и душного автобуса, не походило на волшебную сказку.

Наконец они приехали в аил. Но Осмон узнал здесь, что путь еще не окончен. Предстояло проехать почти пятьдесят километров верхом на лошади. Это было куда интересней.

Дедушка посадил Осмона на седло небольшого коренастого коня с мохнатой гривой и большим, почти до земли, хвостом, затем взгромоздился позади внука, обхватил его крепче, и они поехали.

Осмон раньше никогда не подходил к лошади. А сейчас он важно сидел на настоящем коне, уцепившись руками за седло, и чувствовал себя настоящим всадником.

По сторонам лежали золотистые хлебные поля, впереди вздымались причудливые громады гор. Вот дорога стала каменистой. По краям ее и на склонах гор стали чаще попадаться ели, низкорослые, с кривыми стволами березы и заросли кустарника.

- Ну как, мой малыш, доволен? – спросил дедушка, когда они свернули в узкое горное ущелье.

Осмон ничего не ответил, но по его лицу нетрудно было догадаться, что он доволен.

Здесь было тенисто и прохладно. Приятный ветерок освежал покрасневшее лицо Осмона. Конь цокал подковами по каменистой дороге, осторожно перешагивал через валуны и валежник.

- Ну и хорошо! – сказал дедушка, крепче прижимая внука к себе.

Вокруг пели какие-то малые и большие птицы. Временами слышались соловьиные трели, и бесконечные горные ручьи подпевали им то слева, то справа, то спереди, то сзади.

Осмон посмотрел вверх, где среди скал и ветвей деревьев проглядывало бледно-голубое, почти белое небо. Он увидел двух огромных птиц, которые словно замерли в воздухе. Вот одна из них сложила крылья и камнем слетела куда-то за скалы.

- Это орлы, мой малыш, – пояснил дедушка. – Добычу высматривают.

И вдруг дедушка запел, сначала тихо, а затем громче. Его дребезжащий голос разнесся по всему ущелью:

Вершины Тянь-Шаня уходят ввысь,  
Реки бегут в поля.  
Счастлив киргиз, доволен киргиз,  
Красива его земля.

- Что это, чон ата? – спросил Осмон, услышав, как горы тоже поют дедушкину песню.

- Это эхо, мой малыш, – объяснил дедушка. – Оно поет вместе с нами.

- Ау-у-у! – что было силы закричал Осмон.

- Ау-у-ууу! – словно передразнивая его, зазвенело ущелье.

Впереди показались кусты шиповника и барбариса. Гроздь рябины свисали почти над самой головой Осмона. Он вытянул руку, чтобы сорвать красные, как бусины, ягоды, но не дотянулся до них.

- Осторожней, а то упадешь, – сказал дедушка, прервав песню. – Скоро устроим с тобой привал, тогда и нарвешь.

Миновав высокие скалы, они стали подниматься извилистой тропой вверх по зеленому склону горы. Здесь было светлей и жарче. Кусты рябины попадались все чаще, и теперь Осмон уже только одной рукой держался за поводок, второй он пытался сорвать ягоды.

- Наверно, мой малыш, ты пить хочешь? – спросил дедушка и, не дожидаясь ответа, остановил коня.

Он бодро соскочил на землю, потом снял Осмона, а затем и переметную сумку. Путаясь в высокой траве, Осмон сразу же побежал к высокому кусту рябины. Он притянул к себе самую нижнюю ветку и стал срывать крупные, сочные ягоды.

Тем временем дедушка разнуздal коня и пустил его пастись.

- Отдохни и ты, – сказал он, тронув рукой горячий, потный лошадиный загривок. Довольно тряхнув головой, конь принялся срывать нежную, не успевшую пожелтеть на жарком солнце траву.

Дедушка развязал сумку и позвал внука.

- Поиграй пока здесь да за конем присмотри, – сказал он, протягивая Осмону яблоко и конфету. – А я пойду наберу ремень. Хорошо?

- Хорошо, – согласился Осмон, но тут же добавил: – Я пить хочу. Ему просто не хотелось оставаться одному.

- Вот я и хочу принести тебе ремень. Он утоляет жажду, – объяснил дедушка. – А может, ты просто боишься остаться один?

- Ай-ий! Не-ет! – закричал Осмон. – Я ничего не боюсь!

- Ну и хорошо!

Дедушка поднял полы длинного ватного стеганого халата, подоткнул их за пояс и легко зашагал к противоположному, теневому склону горы. Не успел Осмон доестъ яблоко, как дедушки уже не стало видно. Он скрылся где-то наверху, в зарослях кустарника.

Осмон огляделся по сторонам. Конь спокойно пасся в густой траве, изредка помахивая длинным хвостом. Вокруг никого не было. Осмону стало не по себе. Он бросил конфету и захныкал:

- Чон ата! Где ты, чон ата? Дедушка не откликнулся.

Тогда Осмон стал карабкаться вверх по склону горы. Он бежал, падал, вставал и снова бежал в сторону кустарника, где только что скрылся дедушка.

- Чон ата!

Вдруг Осмон замолчал и остановился. Прямо перед ним возле небольшого холмика сидел на задних лапах какой-то толстый зверек, похожий на рыжего котенка. Осмону он показался куда больше и страшнее, чем был на самом деле.

Увидев перед собой мальчишку, зверек забеспокоился и запищал.

В тот же миг Осмон сорвался с места и с ревом бросился обратно.

- Чон ата! Чон ата! – кричал он, захлебываясь от слез и спотыкаясь на бегу. – Я боюсь, боюсь! Иди сюда! Где ты?

На крик прибежал дедушка.

- Что с тобой, мой малыш? Может, змея ужалила? Или конь лягнул? Скажи мне скорей! Дедушка перепугался не меньше внука.

- Там зверь... зверь... Страшный очень! – объяснил Осмон, продолжая реветь. – Волк... Медведь... Я боюсь его...

Дедушка взял Осмона на руки:

- Ну, успокойся, успокойся. Я здесь, с тобой. Покажи-ка мне лучше, где ты видел этого зверя.

Осмон протянул руку в сторону холмика. Там уже никого не было. Дедушка улыбнулся.

- Ох, и трусишка ты! Какой же это медведь? Это, наверно, сурок был, совсем маленький сурок. Смотри, он сам тебя испугался и скрылся в норке. Ну-ка лучше возьми, – сказал он, протягивая внуку кусочек ременя.

Дедушка с Осмоном на руках подошел к холмику, под которым была норка сурка.

- Этот безобразник медведь отсюда, что ли, выходил?

- Да, да, – протянул Осмон, тяжело вздохнув.

- Ай-я-яй! Ай-я-яй! – сказал дедушка и погрозил пальцем Осмону. – Вижу я, вы одинаковые храбрецы с этим сурком! Друг друга испугались.

А через несколько минут дедушка и Осмон возвратились к коню.

Теперь их путь лежал через бесконечно длинный горный перевал. Здесь уже не было ни кустов рябины, ни зарослей ельника, ни одинаковых деревьев. Всюду зеленые холмы и ложбины, и опять холмы и ложбины, поросшие мягким травяным ковром. Ковыль, дикий чеснок, ярко-желтые цветы, которыми так любят лакомиться горные индейки, – каких только трав и растений ни встретишь в этих краях!

Конь бесшумно ступает по чуть заметной тропке и несет седоков мелкой рысью.

- Чон ата! Скоро мы приедем? – без конца спрашивает Осмон.

- Скоро, скоро, мой малыш, – утешает его дедушка, чувствуя, что внук устал от непривычно долгой дороги.

Осмона качивает, и голова его клонится набок.

Дедушка пересаживает внука поудобнее и пришпоривает коня – надо торопиться, вечер уже не за горами.

Осмон дремлет, прижавшись к дедушкиной груди.

Тропка резко спускается вниз, петляя между большими и малыми холмами. В долине нет ветра, но воздух прохладнее. Легче становится дышать и коню и седокам. Впрочем, один из седоков, Осмон, уже окончательно спит. Он не видит ни табунов лошадей, ни верблюдов, что пасутся вдоль дороги, ни отар овец, усеявших ближние и дальние холмы, ни коров и телят возле небольшой речушки.

Вдали, у подножия одного из холмов, стоит несколько войлочных юрт. Они белеют, как грибы шампиньоны на зеленой лужайке. Конь помчался напрямик к крайней правой юрте.

- Ну, вот и джайлоо! – сказал дедушка сам себе и тихо, чтобы не разбудить внука, запел давно прерванную песню.

Только теперь в ней не было слов, одна мелодия. Протяжная, как дальняя дорога, и чистая, как горная речка.

Бабушка ждала их. Она стояла возле юрты, скрестив руки на груди, и всматривалась вдаль.

- Ах ты, карапузик мой! Ах, ты, мой бедненький! – забеспокоилась она, как только заметила спящего в седле Осмона. – Какой ты бледненький, какой худенький! Устал, бедняжка, измаялся. Ну, ничего! Поправишься у нас, порозовеешь!

- Ну ладно, ладно! – недовольно заворчал дедушка, остановив коня. – На-ка лучше прими внука. Да не разбуди его. Бабушка взяла сонного Осмона на руки.

- И кто тебя так одел? И духами какими-то полил! Совсем городской, чужой! – причитала она, пронося внука в юрту.

- Ну, спи спокойно, мой маленький карапузик. Отдыхай. А уж с утра примешься за свои игры.

Уложив Осмона в мягкую постель, разостланную на полу юрты, бабушка вышла к мужу.

- Старуха, ты привязала бы верблюжонка нашего Осмона, – сказал дедушка. Он уже расседлал коня и направился в юрту. – Пусть верблюжонок знает, что приехал его хозяин!

## Первое утро

Юрта – не квартира, а джайлоо – не город. В юрте, которую разбирают и выючат на верблюда, когда кочуют с места на место, нет ни кроватей, ни стола, ни стульев, ни электричества, ни радио. А на джайлоо нет ни детского сада, ни кино, ни театра. Даже магазина здесь нет. Чтобы купить конфет или печенье, надо ехать несколько десятков километров в районный центр.

Правда, в юрте стоит красный чемодан – дедушкин патефон с пластинками, но разве им можно заменить все городские удобства!

– Не заскучает ли наш Осмон? Может быть, дорогому гостю не понравится наша пища? – беспокоились бабушка и бабушка.

Они души не чаяли в своем внуке.

После вчерашней утомительной дороги Осмон проспал почти до обеда. В городе он еще никогда не спал с таким удовольствием. Там было душно, и по ночам Осмон даже простыню с себя сбрасывал. А здесь, в юрте, он лежал под стеганым ватным одеялом, и ему не было жарко.

Проснувшись, Осмон лежал с широко раскрытыми глазами. Он с любопытством разглядывал юрту, которую вчера так и не видел. Остов юрты деревянный. На него, как на решетку, натянуты войлочные стены и такой же потолок. Вверх тянутся бесчисленные жерди. Они сходятся на потолке возле отверстия, похожего на окошко. Сейчас это окошко открыто, и через него Осмон видит круг чистого голубого неба.

Посреди юрты, в костре, что разожжен прямо на земле, тлеет кизяк. Над костром – тренога, а на ней висит небольшой котелок, из которого доносится вкусный запах жирного мяса.

«Бешбармак», – догадался Осмон, вспомнив свое самое любимое блюдо. Да и какой киргиз не любит бешбармака!

Осмон вылез из-под одеяла и как был, в майке и трусиках, прошелся по юрте. Оказалось, что она довольно просторна.

Справа от входа на стенах юрты висела посуда. Видно, в этой половине юрты хозяйничала бабушка.

Осмон потянулся к большому красному кувшину. Он был сделан из верблюжьей кожи и украшен красивыми узорами. По бокам кувшина торчали два бараньих рога.

Осмон дотронулся до кувшина. В нем что-то забулькало. «Что же туда налили?» – заинтересовался Осмон.

Но достать кувшин было не так-то просто. Тогда Осмон поднялся по решетке юрты, как по ступеням, и заглянул в кувшин.

В этот момент в юрту вошла бабушка. В руках она держала веретено и пучок верблюжьей шерсти, из которой только что пряла пряжу.

- Милый мой малыш! Ты, наверно, проголодался и пить захотел? Ведь с вечера так и не поел ничего! – захопотала она вокруг Осмона.

Бабушка сняла со стены кувшин и поставила его на пол.

- А теперь расскажи мне, как чувствуют себя в городе папа и мама. Наверно, просили тебя скорей возвращаться?

- Нет-нет, не просили! – Осмон хитро улыбнулся. – Они даже не говорили мне ничего! А что это? – спросил он, тронув рукой красный кувшин.

Бабушка поцеловала Осмона в лоб и, усмехнувшись, сказала:

- Ну что делать мне с тобой, мой маленький горожанин! И ничего-то ты не знаешь! Эта посуда называется «коокор». А в нем кумыс. Дедушка привез его утром с конефермы специально для тебя. А я насыпала в коокор сахару, чтобы кумыс был послаще и повкуснее. Твой папа, когда был маленький, тоже пил кумыс и вырос сильным и здоровым. И бабушка тоже.

- И я буду пить кумыс! – заявил Осмон. – Я хочу вырасти, как папа и бабушка! Бабушка достала из ящика пять чашек, наполнила их кумысом и поставила в ряд.

- Вот, мой малыш. Эти три чашки – за твоего папу, за маму и за себя – выпью я, а остальные две – за бабушку и за себя – выпьешь ты. Хорошо?

- Хорошо! Хорошо! – Осмон даже запрыгал от радости. – И за верблюжонка выпью. А где он, мой верблюжонок?

- Он в табуне, – сказала бабушка. – Скоро ты его увидишь. Она взяла чашку с другого края и протянула внуку.

Но Осмон покачал головой.

- А почему я до сих пор не умывался? – спросил он. – Где мое мыло и щетка с пастой? Бабушка искренне удивилась:

- Зачем тебе мыло? Разве ты не знаешь, мой маленький, что лицо ребенка освежает Умай, когда мать его еще спит? Поэтому все ребята встают с постели чистыми. Выпей-ка лучше кумыса. И какие вы, право, странные, горожане! Ничего-то не знаете!

Осмон молча выслушал бабушку, а когда она замолчала, вспомнил:

- Мыло, щетка и паста – в бабушкиной сумке. Мы их туда положили.

По правде говоря, Осмон ничего не понял из бабушкиных слов. Он никогда не слышал об Умае, сказочной женщине, которая будто бы охраняет детей и освежает их лица.

Он достал из сумки мыльницу, зубную щетку в зеленом футляре, пасту и пошел к выходу.

Бабушка сама выпила кумыс, взяла полотенце и медный рукомойник и поспешила вслед за внуком.

Но стоило Осмону выйти из юрты, как он забыл про все на свете. Перед ним лежали зеленые просторы джайлоо, вдаль высились горы. У подножия небольшого холма, покрытого какими-то яркими желтыми и голубыми цветами, журча и пенясь, бежала речка. Даже издали было видно, как чиста и прозрачна ее вода – на дне реки блестели камушки.

- Я туда! – закричал Осмон и бросился вниз к реке. Разложив мыло, щетку и пасту на гладком прибрежном камне, он нагнулся над водой и стал умываться, чистить зубы.

Пока бабушка с полотенцем и рукомойником добежала до реки, Осмон уже успел не только умыться, но и порядком забрызгаться. Его майка и трусы были мокры так, словно он только что вылез из воды.

- Ах ты, мой непослушный чистюля! Что же ты наделал! – заохала бабушка, вытирая внука, – Ну, пойдем скорей, пойдем! Скоро дедушка приведет тебе белого верблюжонка!

Вскрикнув от радости, Осмон побежал назад, к юрте. В юрте было пусто. Видно, бабушка еще не возвращалась.

«Налью-ка я себе кумыса, – решил Осмон. – Вот бабушка обрадуется!»

Он взял коокор, который бабушка так и не успела повесить обратно на стену юрты, и уже поднес его к чашке, как вдруг коокор выскользнул из рук Осмона и упал на пол. Чашка отлетела в сторону, а кумыс залил меховую подстилку.

Осмон так растерялся, что даже не догадался поднять коокор и спасти хоть остатки кумыса.

- Аи, да что же это! – воскликнула бабушка, войдя в юрту. – Но не бойся, мой маленький, не бойся. Пусть моя рука отсохнет, если я хоть пальцем тебя трону.

Она схватила чашку и кое-как собрала разлитый по полу кумыс в кастрюлю. Подстилку пришлось вынести сушить на солнце.

- Бабушка, прости меня, я больше не буду! – наконец сказал Осмон, и в глазах его заблестели слезы.

Бабушкино сердце не выдержало.

- Ох ты, мой маленький! Ну, конечно, прощу. Кого же мне еще прощать, кроме, тебя! Давай-ка лучше поедим!

Они уселись на сшитый из разноцветных лоскутков тюфяк и принялись за еду. Осман очень проголодался и сейчас с удовольствием ел горячее мясо с хлебом. Потом бабушка налила ему из коокора остатки кумыса.

- Ну как, вкусно?

- Вкусно! – признался Осмон, глотая сладкую жидкость. – А я и не знал, что кумыс это лошадиное молоко.

## Неожиданная беда

Откуда-то издали послышался знакомый голос:

- Оу-у, старуха! Бери малыша и выходи встречать нас!

Не успела бабушка подняться с места, как Осмон, узнав голос дедушки, вскочил на ноги и выбежал из юрты.

- Верблюжонок! Верблюжонок! – кричал он. – Мой белый верблюжонок!

Табун верблюдов спускался по склону горы. Вытянув длинные шеи, отбрасывая задние ноги, верблюды шли рысью. Их оказалось так много, что разглядеть среди этой бесконечной темно-серой массы маленького белого верблюжонка было невозможно.

Осмон помчался навстречу табуну.

- Оо-уу! Мой малыш! Вернись назад! – увидев внука, закричал дедушка. Он ехал верхом на лошади позади табуна. – Сейчас я пригоню твоего верблюжонка! Вернись в юрту!

Вслед за дедушкой шла на поводу большая белая верблюдница. Ну, конечно, это она, мать верблюжонка! А вот и он сам – маленький, длинноногий, пушистый – скачет возле матери, то забегая вперед, то чуть отставая от нее.

Казалось, что Осмон ничего не слышал – ни слов дедушки, ни крика насмерть перепуганной бабушки, выбежавшей вслед за ним из юрты. Он врзался в гущу верблюдов и, чудом промчавшись мимо нескольких ревущих животных, продолжал бежать навстречу верблюжонку.

- Стой, мой малыш! Стой! – кричал дедушка. Но Осмон не останавливался.

Вдруг он увидел огромного черно-бурого верблюда, мчавшегося ему навстречу. Осмон схватил камень, чтобы отпугнуть верблюда, но тот не остановился и не свернул в сторону. Низко нагнув голову, разинув страшную зубастую пасть, верблюд заревел и плюнул прямо в лицо мальчику.

Осмон закричал и свалился на землю. Он почувствовал жгучую боль в глазах. Лицо его зашипало.

Подлетел на своей лошади дедушка.

- Ах ты, негодный! Убил нашего мальчика! – закричал он, чуть не плача.

Привстав на стременах, дедушка что было силы хлестнул разбушевавшегося верблюда укуруком – длинной жердью с арканом на конце, которым ловят пасущихся лошадей. Осмон попытался подняться, но верблюд снова свалил его с ног. Дедушка соскочил с седла и нагнулся над внуком:

- Что с тобой, мой малыш? Ты жив? Ну, скажи хоть что-нибудь мне! Скажи! – умолял он сквозь слезы.

Подоспела бабушка. Увидев внука, она заголосила и, всплеснув руками, упала без чувств...

\*\*\*

Сегодня третий день, как Осмон лежит в юрте. Пока он не открывает глаз. У него высокая температура.

- Ничего! Дело идет на поправку! – сказал врач. – Ушибов и переломов нет. Просто мальчик сильно испугался.

Врач приехал вечером. Это дедушка ездил за ним в районный центр.

Дедушка и бабушка даже похудели за эти дни. Еще бы, такое несчастье! Выходит, не уберегли они внука.

Осмон бредит. Он бормочет что-то про страшного верблюда, вскакивает, кричит и опять засыпает.

Возле юрты толпятся табунщики, их жены и дети.

- Ему нужен воздух, – советует врач.

Дедушка заворачивает Осмона в одеяло и выносит из юрты. Он несет его на руках к берегу реки, садится на камень и долго вздыхает.

Бабушка, не доверяя врачу, старается хоть чем-нибудь помочь внуку. Она растапливает в горячем сале кусочек свинца, потом выплескивает его на землю. Свинец застывает. Бабушка привязывает его к шее Осмона.

- Это на счастье нашему маленькому карапузику, – говорит она.

Бабушка верит в амулеты. Такой же кусочек свинца она привязала к хвосту белого верблюжонка. «Чтобы его не сглазили».

- А-а, старуха, зачем это? – не выдерживает дедушка. – Врач сказал, что наш Осмон скоро поправится. Врач больше нас понимает.

И верно, на следующий день температура у Осмона спала. Он перестал бредить и открыл глаза.

- Ну вот, что я тебе говорил! – обрадовался дедушка. – Врач прав! Наш малыш поправляется.

Бабушка была тоже очень довольна и не стала спорить с мужем. Но в душе она считала, что это ее амулет – кусочек свинца – спас внука. Ничего не поделаешь, на то она и бабушка...

## Маленькие друзья

- Бу-у-у-буу, – раздалось где-то по соседству. – Бу-у-у! Осмон открыл глаза и приподнял голову с подушки.



Что это? Чей это голос, который так похож на хныканье ребенка?  
Осмон прислушался.  
И опять:  
-Бу-у-у-буу...  
Где-то вдали послышался другой голос, бас:  
- Ба-ааа... ба-ааа...  
Потом оба голоса слились вместе.  
- Бу-у-ба... ба-ааа-бу-уу...  
Осмон вскочил с постели. В юрте было пусто. Впервые за эти дни дедушка снова уехал на рассвете в табун. Бабушка, как обычно, сидела возле юрты с веретеном – пряла пряжу. Осмон босиком направился к выходу и выглянул в дверь.  
- Это ты, мой маленький! – воскликнула бабушка, отложив веретено.  
- Кто это, бабушка, там кричит?  
  
- Ну, конечно, это твой верблюжонок, – сказала бабушка. – Он говорит своей маме, что хочет есть. А верблюдица ему отвечает: «Подожди, подожди, я еще не приготовила тебе молочка...»  
- Ай-ий! – засмеялся Осмон. – Я хочу увидеть его, бабушка! Покажи мне, где он. Я уже соскучился по нему.  
- И верблюжонок соскучился по тебе, – сказала бабушка.  
- Смотри, мой маленький, сюда смотри! – сказала она, раздвинув войлок.  
Осмон заглянул в щель и увидел верблюжонка. Он стоял почти рядом, привязанный к столбику возле юрты. Верблюжонок был действительно еще совсем мал. Тоненькие ноги, два остро торчащих горбика, небольшая голова, короткий хвост – все было покрыто пушистым белым пухом.  
Нетерпеливо перебирая ногами, верблюжонок косил глаза в сторону матери и хныкал:  
- Бу-у-у-буу...  
Осмону показалось, что верблюжонок просит: «Есть хо-очу-у!»  
Чуть поодаль, медленно и важно двигаясь по склону горы, паслась мать верблюжонка – большая белая верблюдица.  
Временами она поднимала голову и, поворачивая ее в сторону сына, утешала его:  
- Ба-ааа!... ба-ааа!...  
«Подожди, мол, подожди немного. Вот наполню вымя молоком, тогда подойду к тебе. накормлю, а пока потерпи».  
Осмону стало жаль верблюжонка.  
- Бабушка, а ты отвяжи его! – попросил Осмон. – Пусть он догонит свою маму и поест. Можно, я к нему подойду?  
- А ты не испугаешься? Как бы сердечко твое не выскочило с испугу, – забеспокоилась бабушка, опуская внука на землю. – Ну, иди, обуйся!  
Осмон достал ботинки и стал быстро натягивать их на ноги.  
- Теперь я больше не боюсь, бабушка! Правда, не боюсь! Ведь белый верблюжонок – мой друг. Пусть он даже прыгает через меня, я не испугаюсь, – уверял Осмон.  
А через минуту он уже стоял рядом с верблюжонком. Одного не знал Осмон: как ему говорить со своим новым другом. Ведь не понимает верблюжонок человеческой речи!  
А может, понимает? Вот он опустился на колени, сел, по-заячьи поджав под себя ноги, и стал обнюхивать Осмона. Шея у верблюжонка вытянута, губы раздвоены, как у зайца.

Осмон погладил рукой верблюжонка и прижался щекой к его голове. Тот не противился. Видно, человеческая ласка ему была приятна. Или он просто признал в Осмоне хозяина и не захотел ему перечить?

Но стоило Осмону обнять верблюжонка обеими руками за шею, как тот затряс головой и вспомнил свою маму.

- Бу-ууу-буу! – закричал он прямо в лицо Осмону, обдав его своим теплым дыханием. От верблюжонка пахло молоком и едким запахом дикого чеснока.

- Сейчас я нарву тебе чеснока. Хочешь? – обрадовался Осмон. Ему показалось, что он понял, чего хочет верблюжонок. Но тот неожиданно вскочил на ноги, и Осмон повис на его шее.

Да вот беда: не рассчитал верблюжонок свои силы. Хоть Осмон и меньше его ростом, да тяжелый. Качнувшись на своих длинных худеньких ножках, верблюжонок шлепнулся на землю вместе с хозяином.

Бабушка подняла внука на ноги и погрозила ему:

- Смотри, будь осторожней, мой маленький. Ведь все же это животное. Оно может и не понять твоих шуток.

- Что ты, бабушка! – закричал Осмон. – Верблюжонок слушается меня и все понимает. Я его хозяин – как же он может меня обидеть?

\* \* \*

Так началась дружба Осмона с белым верблюжонком. Осмону пять лет, а верблюжонку только год, но это не мешает им весело играть и даже баловаться вместе. И когда они играют, право неизвестно, кто из них младше, кто старше.

Мать верблюжонка вполне доверяет своего сынишку Осмону. С утра до вечера она спокойно пасется неподалеку от юрты, не обращая внимания ни на верблюжонка, ни на Осмона.

И только когда верблюжонок тянет свое привычное «бу-ууу-буу...», мать поворачивает голову в его сторону.

- Ба-ааа! – отвечает она. «Подожди! Я еще не набрала молока!»

Попробовал Осмон приучить верблюжонка к другой пище, но из этого ничего не вышло. Ни сахара, ни хлеба, ни кумыса четвероногий малыш не ел.

- А, знаю, хитрец! – засмеялся Осмон. – Знаю, что ты любишь!

Он нарвал пучок горького дикого чеснока и поднес его верблюжонку:

- На, ешь! Это тебе нравится?

Верблюжонок наклонил голову и осторожно взял губами веточку чеснока с ладони Осмона.

- Ну как, вкусно?

Верблюжонок пожевал-пожевал чеснок и потянулся за следующей веткой. Съев весь чеснок и облизав ладонь Осмона своим шершавым языком, верблюжонок довольно затряс головой.

- Бу-ууу-уу! – попросил он. «Еще хочу!»

- Какой ты смешной! – удивился Осмон. – Маленький, а любишь не сладкое, а горькое! Пришлось Осмону нарвать еще целую охапку чеснока. Но прежде чем отдать ее верблюжонку, Осмон отвязал его и поманил за собой:

- А ну-ка, иди, иди!

Завидев в руке Осмона чеснок, верблюжонок широко расставил ноги и пошел вслед за хозяином. Осмон пустился бежать. Верблюжонок – за ним. Осмон стал взбираться на холм, поросший чесноком. Верблюжонок – за ним. Теперь уже и он пытался бежать. Нельзя же отставать от хозяина, когда в руках у него такое вкусное лакомство.

В это время бабушка сидела с веретеном возле юрты. Но она не столько пряла, сколько наблюдала за игрой двух малышек.

- Ну что, старуха, – сказал дедушка, подъехав к юрте верхом на лошади, – играют наши ребятки? Подружились?

- О, еще как подружились! – ответила бабушка.

- А ведь наш Осмон давно не плакал! – сказал дедушка. И, слезая с лошади, он весело улыбнулся.

## НЕОЦЕНИМОЕ ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО

### Статья

Первое соприкосновение с русским народом, как это ни покажется парадоксальным, произошло у меня... в самый момент моего рождения! Когда я родился (1928 г.), в доме моих родителей оказалась семья русских людей – единственная русская семья, проживавшая в то время в нашем кыштаке Куртка (Ак-Талинского района, на Тянь-Шане). То были плотник Гриша и его жена. Вот она-то первая прикоснулась к моему тельцу, оказав первую необходимую помощь новорожденному...

Ну, а если говорить всерьез, то первые памятные мне встречи с русскими людьми, с их языком и бытом произошли уже в дни самого раннего моего детства – с тех пор, как я стал ходить и понимать то, о чем вокруг меня говорили.

Дело в том, что русские были частыми гостями у наших ближайших родственников, которые всегда жили рядом (зимой наши дома были рядом, а летом рядом стояли наши юрты на джайлоо – выезжали мы вместе, одним аилом). Сдружил нас больше всего с русскими людьми брат деда Джаркымбай. Для нас, малышек, он, разумеется, тоже был любимым дедом. К нему и зимой, и летом приезжали его старые друзья русские, с детьми и внуками. Вместе, с нами проводили они вечеринки, с песнями и танцами под гармошку. В горах совместно заготавливали лес, фотографировались. Особенно нам, детворе, интересно было слушать тогда еще малопонятный и потому таинственный говор, песни, музыку; интересно было и общаться на новом языке с представителями уважаемого нашим дедом народа.

Наш дед Джаркымбай еще задолго до Великого Октября, в молодые годы, батрачил у русских купцов в Чуйской долине. Тогда он перенял у русских одежду, многие привычки, знания и навыки. Вернувшись в родной кыштак, дед построил там первый современный дом вместо юрты, соорудил баню, стал сажать картошку. В народе стали звать его Чокундук, что значит Крещеный. На самом же деле Джаркымбай был атеистом.

С живым русским языком и с богатой художественной литературой России с большим увлечением знакомила нас уже в начальных классах молодая учительница Усенко.

К тому времени, когда я пошел в школу, т. е. к середине 30-х годов, наши буквари и учебные хрестоматии для чтения содержали уже не только шедевры национального народного эпоса и лирики, а также произведения киргизской советской литературы, но и переведенные на родной язык учеников лучшие произведения русских и зарубежных писателей.

С образцами, русской классической литературы я впервые по-настоящему ознакомился уже примерно в третьем классе – в отличном переводе киргизских писателей. Такие произведения А.С. Пушкина, как «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде», а также сказку «Премудрый пескарь» М.Е. Салтыкова-Щедрина я и мои товарищи буквально знали наизусть – наряду с киргизскими дастанами.

Волшебную силу слова, раскрывающую нам красоту природы и величие сильных духом людей, я ощутил еще мальчуганом, слушая народных сказителей, манасчи и ырчи. Позднее, учась в школе, я почувствовал эту силу как еще более действенный феномен, прочитав «Хаджи-Мурата» великого Толстого. Я не придавал тогда значения слову «перевод», которое стояло на титульном листе, – мне казалось, будто Толстой написал эту повесть по-киргизски.

Мое любимое занятие со студенческих лет – чтение художественной литературы (мировой, русской классической и советской) и собственное литературное творчество, ставшее впоследствии моим жизненным призванием, для меня, можно сказать, сыграли магическую роль в интенсивном овладении великим русским языком.

Благодаря упорному, систематическому, целеустремленному освоению русского языка (каждый день и всю жизнь!) шедевры человеческого разума с древних времен и доныне – образцы художественно-эстетической, общественно-политической, научно-теоретической мысли – беспрепятственно служат мне и обогащают мою духовную жизнь.

Роль великого русского языка и великой русской литературы не только в нашей стране, но и во всем мире объективно и заслуженно признана. На современном этапе исторического развития русский язык стал животворным мостом межнационального и международного общения.

Ни для кого не секрет, что благодаря русскому языку и через русский язык, через посредство высокохудожественных, переводов, произведения писателей всех народов СССР получают широкое распространение на всесоюзной и мировой арене, в числе этих произведений – и мои книжки для детей.

В моей сегодняшней повседневной жизни, в жизни советского писателя, который все произведения создает на родном киргизском языке, русский язык занимает особое место. У меня немало друзей, товарищей по профессии и по общественной работе, – у нас в стране, во всех республиках и за рубежом. И во время встреч, поездок, путешествий, и в широкой интенсивной переписке добрым орудием, облегчающим наше взаимное общение, служит русский язык. А на всесоюзных и международных форумах – как в официальных выступлениях, так и в ходе личных контактов – мы выражаем свои мысли и чувства, как правило, только по-русски.

В современном мире русский язык входит в жизнь людей всей планеты в той высокой функции, в какой он уже давно вошел в мою жизнь и в жизнь моего поколения, как носитель неоценимого духовного богатства общечеловеческой культуры.

## НЕСТИ НАГРУЗКУ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

### Интервью

- Как Вы понимаете свою главную задачу, как писателя для детей?

Ш. Бейшеналиев. Детей нужно готовить к борьбе за своё будущее. Если маленькому человеку привита уверенность в себе, здоровое честолюбие, он сумеет преодолеть самое труд-

ное в начале жизни – первые неудачи, поражения, обиды. Он найдет силы постоять за себя. В «Белом верблюжонке», «Чинаре», «Аманате» я хотел открыть маленьким героям не всегда знакомый им мир – выпитывающий и сложность, и красоту жизни.

- Не стоит ли за этой позицией желание создать образ абсолютно сильного человека?

*Ш. Бейшеналиев.* Абсолютно сильными люди бывают только в эпосе: они рождаются великанами, выполняя социальный заказ народа – нужен герой, защитник. В письменной же литературе, как и в других искусствах, иные формы правдоподобия. Здесь сильный герой – это любой творец. Человек рождается с разным уровнем одаренности, с разной физической развитостью. И у слабых физически и даже духовно людей бывают замечательные человеческие качества, духовные взлёты. Когда я пишу для детей, всегда хочу доказать, почему кто-то стал или не стал человеком с характером. Абсолютно сильным типам, как и абсолютно слабым, в жизни и литературе делать нечего. Первым не с кем бороться, вторым – бесполезно. А жизнь – все-таки борьба.

- Из чего складывается сюжет Ваших произведений?

*Ш. Бейшеналиев.* Главное – постоянно держать в поле зрения проблему. Проблема в моём понимании – это судьба главного героя, его место в обществе, то есть его отношения с другими людьми. А техника реализации всего этого и есть сюжет, который всегда выглядит как борьба одного или многих за себя или за другого. Очень важен при этом историзм, правда времени.

- Арабская поговорка утверждает, что люди больше походят на своё время, чем на своих отцов. Насколько это справедливо по отношению к литературе?

*Ш. Бейшеналиев.* Люди всегда в той или иной степени дети своего времени. На отцов же своих они похожи не всегда. Все это в той или иной мере относится и к художественной литературе. Но, конечно, бывает, что персонаж (как и человек в жизни) не успевает за временем или обгоняет его.

Первое собственно относится к ребёнку, так как на него влияет, прежде всего, семья, и порой это влияние бывает гораздо сильнее влияния социальной среды. Это явление находит, конечно, тоже отражение в художественной литературе. Так, в моей повести «Испытание славой» её герой Ракмат, став вполне заслуженно героем дня, ещё далеко не был героем своего времени. Поэтому отец, гордясь подвигом сына, все-таки говорит Ракмату, что тот должен помнить, что он не только сын Сарбая, но и сын своего народа, который уже шагнул далеко вперед.

- Правда – всегда конкретна. Но правда – ещё не литература. Всякая ли правда жизни может стать произведением искусства? Как Вы добиваетесь того, чтобы правда жизни стала художественной правдой?

*Ш. Бейшеналиев.* Правда, действительно, бывает разной – субъективной и объективной. В произведении, как и в жизни, каждый имеет право отстаивать свою даже маленькую, субъективную правду, иначе не добьёшься достоверности. Иногда маленькая правда может и победить – так сказать драматическая сила обстоятельств. Но художник, в отличие от его героев, должен видеть большую правду – правду объективную, историческую.

- Как Вы работаете над созданием характеров Ваших героев?

*Ш. Бейшеналиев.* Писатель должен отвечать за поведение своих героев, за то, чтобы их поступки были мотивированы психологически. Но в процессе работы бывает и такое, что герой перестает вдруг тебе подчиняться – это всегда означает, что ты погрешил где-то против психологической правды задуманного характера.

- Увлеченность целью не мешает разумной оценке событий?

*Ш. Бейшеналиев.* Иногда серьезно мешает. Я всю жизнь считаю своим кумиром Тоголока Молдо. Он – одна из ярких звезд в тюркоязычной литературе Средней Азии второй половины XIX века. Да ещё мой земляк! Я видел его в детстве. Словом, не могу не идеализировать этого человека факелом горевшего среди общей тьмы. Много писал о нём – статьи, пьесу. Но думал только о романе. Биография у него – сама по себе роман. И вот при таком выигрышном материале, когда считаю себя сверхподготовленным, пятый год работаю над романом «Стальное перо» и на каждом шагу натываюсь на трудности. Понимаю, что исторический фон ещё изучать и изучать! Он несет в себе все противоречия и весь возможный процесс времени. Осваивая его, я постепенно начинаю ощущать в себе возможность подняться до художественного обобщения. Конкретность биографических фактов мешает осознанию исторической эпохи, затрудняет воссоздание художественной картины времени, а значит и характера персонажа, как яркого представителя своего времени.

- Как Вы реализуете замысел нового произведения? Какова последовательность этой работы?

*Ш. Бейшеналиев.* Дело было в том, что у каждого писателя всё это происходит по-разному. Некоторые предварительно составляют конспект, даже план по главам. Я так не умею. Я вынашиваю замысел, пока он не превратится в законченное произведение. Тогда сажусь и записываю его целиком. Так, по крайней мере, обстоит дело с повестью. С романом сложнее – здесь больше героев, значит и больше сюжетных коллизий. Когда, казалось бы, все уже созрело, прояснилось, и начинаешь сочиненное в голове переводить на бумагу, вдруг оказывается, что материал начинает сопротивляться – значит, не все еще продумано или воображение завело куда-то не туда.

Некоторые пишут каждый день. Я могу писать только при определенных условиях. Люблю писать, когда прохладно, – ранней весной, осенью, зимой. Например, «Я ручаюсь» написано зимой. Когда я наблюдаю природу в суровое для нее время, многое как-то само собой связываю со стойкостью человека. Мне, южанину, это, наверное, особенно бросается в глаза, влияет на писательское самочувствие. Вон за окном огромная ель под ветром. Ну чем не герой повести «Я ручаюсь» в тот момент, когда ему надо принять нештучное решение? От первого же удара не только дерево – человек может рухнуть – сдать свои позиции. Не должен человек зависеть от «погоды». Эта ель за окном – сильная, она своей стойкостью сама «погоду» делает!

Пейзаж не нейтрален к происходящему, не декорация! Скажем, Ракмат и Алапай («Сын Сарбая») – они же как на разных склонах горы стоят. У одного душа радуется, и ему все кажется светящимся и красивым, а другому не до радости, и он видит все не так. Но идет диалог, и надо сделать, чтобы состояние одного отражало состояние другого, а не контрастировало. Лучше всего доверить это пейзажу: вмешаться в отношения людей, не противореча их самочувствию.

Часто, чтобы задержать внимание читателя на тех обстоятельствах, в которые герой попал, которые на него свалились, требуется притормозить время. Тогда я окружающую среду превращаю в стихию или во что-то поначалу загадочное, как, скажем, сильнейший и неожиданный градопад в повести «Испытание славой». Такой прием призван как бы привести героя в чувство. Важно, чтобы пейзаж не существовал в произведении сам по себе.

- Что играет главную роль в возникновении замысла произведения: непосредственная реакция на увиденное (услышанное) или результат размышлений, осмысливания накопленных знаний? Как это связано с писательской техникой?

*Ш. Бейшеналиев.* Сейчас, в пятьдесят лет, это уже вряд ли стоит четко разделять. Но побуждение к работе над каким-то произведением с одинаковым успехом может возникнуть и как быстрая реакция на увиденное, и как медленная или внезапная реакция на долгие размышления. Каждый писатель вырабатывает свою технику сочинительства. Например, есть писатели, которым, чтобы ввести в повествование героя, необходимо сразу описать его внешность: лицо, одежду, как улыбается, как здоровается. Природа этой привычки, на мой взгляд, начинается в эпосе, где вводят героя так: внешность, одежда, оружие, конь, друзья. А совершать подвиги он начинает потом. – Я ввожу героя только через движение: вот он сидит, вдруг ему что-то вспомнилось, он повернулся к собеседнику или куда-то еще, словом, на чем-то сосредоточился. И тут я показываю, что происходит с его внешностью, с его видом: может быть, брови его насупились, как-то заиграли морщины, характерно развернулись плечи, что-то важное изменилось в одежде. Все это должно совпасть с психологией момента. Так, по-моему, лучше всего раскрывается работа мысли героя, а она всегда преображает его.

- У Энгельса есть высказывание о том, что чем больше скрыты взгляды автора, тем лучше для произведения искусства. Как Вы относитесь к этой мысли?

*Ш. Бейшеналиев.* Когда взгляды автора скрыты поглубже, читатель вынужден думать побольше, он втягивается в думание.

- А как практически Вы «скрываете» свои взгляды в произведении?

*Ш. Бейшеналиев.* Это самое трудное. Я пытаюсь строить сюжет таким образом, чтобы дорогая мне истина, ради выяснения которой и писалось произведение, становилась бы ясной всякому, кто вдумчиво следит за поведением героев, из их отношений, а не их авторских отступлений.

- Относится ли все сказанное здесь Вами и к произведениям для малышей?

*Ш. Бейшеналиев.* В литературе для малышей и младших школьников «загадки замысла» также обязательны, но их не может быть много. Маленький читатель должен углубляться в произведение ровно настолько, чтобы самостоятельно выбраться «наружу». Кончая книгу, малыш не должен спрашивать: «Что же писатель хотел сказать?» и «Кто прав?» Хорошо, если он захочет порассуждать на тему: «С кем бы я подружился?»

- Какую роль в Вашем творчестве играет случай?

*Ш. Бейшеналиев.* Два сравнительно недавних примера – небольшие повести «Маленькая всадница» и «Бодливый без рожек». Я давно думал написать о какой-нибудь бесстрашной девчонке-сорванце. Видел таких детей, видел, как лихо они ездят на лошадях. Да и по телевидению по нескольку раз в год показывают таких малышей-гимнасток, пловчих, фигуристок. Но почему-то они не будят фантазию. И вот в Монголии я однажды увидел страшную на первый взгляд картину – конные скачки на 30-40 километров, в которых главные участники – мальчики и девочки от шести до десяти лет! Как они держались на лошадях, как неслась эта устрашающе прекрасная лавина скачки с детьми в седлах! Как дрожала земля и летели из-под копыт искры! Как вели себя родители! И я понял, каких именно впечатлений мне не хватало. Вернувшись во Фрунзе, единым духом написал «Маленькую всадницу». Повесть вышла и в Монголии.

*Беседовал В. Александров*

## ÑĖĬ ÂĬ Î Á ÀÂÛĬ ÐĀ

\*\*\*

Шукурбек Бейшеналиев – ровесник Чингиза Айтматова, и в их судьбах есть много сходных моментов. Тот поворот, который Ч. Айтматов совершил в «большой прозе», Ш. Бейшеналиев сделал в области детской литературы Киргизии. Но есть и различия. Ш. Бейшеналиев всегда писал и пишет лишь на родном языке... и в большей степени, чем Чингиз Айтматов, умеет пользоваться словами, взятыми из глубинных пластов родной речи.

*Вил Ганиев*

\*\*\*

Бейшеналиеву, как очень немногим писателям, особенно работающим для дошкольников и младших школьников, удается опозитизировать в своих книжках труд, обыкновенный человеческий труд. Редкое, завидное качество детского писателя!..

*С. Михалков*

\*\*\*

Произведения Ш. Бейшеналиева переведены на 52 языка мира. В 1997 году его сборник повестей и рассказов вышел в Японии. В настоящее время общий тираж книг превышает 5 млн. экземпляров. По степени популярности своих книг из киргизских писателей Ш. Бейшеналиев идет сразу же за Ч. Айтматовым.

*Г. Девятков*

\*\*\*

Один из тех, кем мы гордимся, кому адресуем свою признательность – наш видный писатель, большой общественный деятель Шукурбек Бейшеналиев. Он вошел в нашу литературную среду в конце сороковых годов. Прочитав его первые произведения, увидев в нем многообещающий талант, мы радовались новому имени, помогали молодому писателю советами, добрым словом, участием. Он жадно учился мастерству у старших, более опытных товарищей. И это не замедлило дать свои плоды. Один за другим из-под пера Шукурбека Бейшеналиева стали появляться талантливые произведения... За последнее время писатель создал большой роман «Стальное перо» – результат продолжительной и упорной работы. По глубине психологизма, по социальной значимости образов и поднимаемых в романе проблем, этот роман, безусловно, является одним из крупных успехов нашей современной прозы.

*К. Баялинов*

## МИХАИЛ РОНКИН

### Крик

Крик мой гаснет в тумане,  
подобно косому лучу, тонет в хмарной дали,  
погружаясь в безмолвие, как в реку.  
Отзовитесь! – кричу.  
Пробудитесь, прозрейте! – кричу.  
Помогите, – кричу, – устоять на ногах человеку!  
Дайте веру ему, –  
что безверьем порушена вдруг,  
дайте правду ему,  
что растоптана долгою ложью.  
Оглянитесь вокруг  
и надежды спасательный круг  
щедро киньте тому,  
кто без помощи выплыть не может.  
Стало пасмурным небо  
и утлюю стала земля,  
нет опоры душе,  
измордованной болью и страхом.  
Бьется чья-то судьба,  
как корабль без ветрил и руля,  
о глухую скалу,  
что над бездной вздымается плахой.

Что же дальше? Неужто  
и вправду всемирный потоп  
или новый Чернобыль,  
грозный всесветным распадом?  
Леденящей бедой  
входит в хрупкое сердце озноб,  
и грядущее видится зыбкой дорогою к аду.

Просыпаюсь в поту  
и рукою тянусь к ночнику,  
чтобы светом его  
отпугнуть, отогнать наваждение.  
- Отзовитесь! – кричу.  
Помогите отринуть тоску,  
озарите мечтою спасительный миг пробужденья!

### «Скорая помощь»

Вьюга морозной поземкой клубится.  
Снег по колено.  
«Скорая помощь» по улице мчится.  
Воет сирена.  
«Скорая помощь» летит через город  
белою точкой.  
Кто-то нуждается в помощи скорой,  
в помощи срочной.  
Кто-то уже на последнем пределе  
с болью и стоном  
смог дотянуться рукою с постели  
до телефона.  
Кто-то губами, почти неживыми,  
взмокший, как губка,  
выдохнул адрес, фамилию, имя  
в черную трубку,  
И задохнулся ... И трубка упала  
на пол с кровати.  
Видимо, сердце работать устало ...  
Ох, как некстати.  
Стихли в квартире последние звуки.  
Душно от мрака.  
Похолодевшие, тонкие руки  
лижет собака,  
тянет с хозяина простыню на пол –  
вдруг да проснется, –  
лает и мечется, мягкой лапой  
в двери скребется.  
Кажется ей, он поднимется скоро,  
встанет с постели ...  
«Скорая помощь» летит через город  
в вихре метели.  
Фарами режет крутую поземку  
«Скорая помощь».  
Жалобно воет собака в потемках ...  
Пробило полночь.

### Дождь

Был летний полдень тягостен и глух,  
Мел по подворью тополиным пухом.  
Но где-то трижды прокричал петух,  
и вышла из худой избы старуха.

Прикрыв ладонью блеклые глаза,  
к мышинному прислушиваясь писку,  
она с мольбой взглянула в небеса,  
где серой мглой клубились тучи низко,  
и что-то прошептала, а потом,  
помедлив, побрела неторопливо  
на самый край двора, где за гумном  
ждала коза хозяйку терпеливо ...  
Худюща, однорога и стара,  
но все еще упряма и капризна,  
она, впервой недоена с утра,  
на женщину глядела с укоризной  
и бляла, и терлась лысым лбом  
о дряблое старушечье колено,  
и тыкалась слюнявым языком  
в ладошку, сладко пахнущую сеном.  
И было же, конечно, невдомек  
худющей бедолаге однорогой,  
что вышел нынче долгой жизни срок,  
отпущенный ее хозяйке Богом,  
что завтра на погост ее в гробу  
свезут в телеге, клячей запряженной,  
и помянут, чтоб не гневить судьбу,  
с весны прибереженным самогоном ...  
Был зноен полдень. Маревом стелясь,  
вздымалась пыль над необъятной глушью  
Ждала дождя уставшая земля,  
истерзанная бедами и сухью.  
И хлынул дождь небесною рекой,  
и все вокруг от грома задрожало.  
Старуха вымя тронула рукой,  
и молоко в подойник побежало.  
Оно бежало, пенясь и струясь,  
всходя над миром первородным духом.  
И никого на свете не таясь,  
о невозвратном плакала старуха.

\*\*\*

Вот и жизнь почти что пролетела,  
ничего не мучит, не гнетет.  
Все, чему молился, отболело,  
все, что жгло, давно перегорело,  
все, что было дорого, не в счет.

Только почему же, почему же  
и понине стынет в горле ком?  
Отчего неистовая стужа  
до сих пор поземкой стылой кружит,  
опаляя сердце холодком?

Отчего с тоскою и тревогой  
по ночам в бессонной маете,  
словно перед дальнею дорогой.  
обращаюсь к Богу за подмогой и  
молю его о доброте?

### Притча о старшем брате

Парадоксами история богата...  
И не вспомнить уж теперь, с каких времен  
нарекли народ России старшим братом  
всех, сплоченных им, народов и племен.

Нарекли и увенчали громкой славой,  
что была такому имени под стать,  
одарив его попутно трудным правом –  
младшим братьям безотказно помогать.

Старший брат не тратил времени на споры  
и, доверившись во всем КПСС,  
младшим братьям стал подмогой и опорой  
в их борьбе за процветанье и прогресс.

Благодушен от природы и сердечен,  
испытавший много лиха и невзгод,  
он, натужившись, взвалил себе на плечи  
общий груз державных тягот и забот.

По оврагам, по ухабам, по пороше,  
в зной, распутицу, ненастье и мороз,  
как двужильная, безропотная лошадь,  
поволок он в коммунизм скрипучий воз.

Злые тучи застилали хмарью небо,  
шли дожди, глаза туманил снегопад.  
Сам не евший в лихолетье вдоволь хлеба,  
хлебом с братьями делился старший брат.

Принимал он, как свои, их боль и горе, –  
слишком щедрою была его душа, –  
и дожил, что на родном его подворье  
не осталось ни гроша и ни шиша.

И подумал он, что надо оглядеться  
перед тем, как снова воз тянуть вперед,  
что теперь на младших братьев опереться  
наконец-то наступил его черед.

Братья младшие ему внимали хладно, –  
и, коль верить недвусмысленной молве, –  
намекали, что для них весьма накладно  
с братом старшим даже в дальнем быть родстве.

Усмехались: мы и сами, мол, с усами!..  
Что нам проку в добром имени твоём!  
Повзрослели мы давно уже – и сами  
припеваючи на свете заживем!

Отречемся в соответствии с моментом от  
всего, что нас роднило с давних пор,  
изберем единокровных президентов,  
чтоб союзный не совался к нам во двор!..

Отшумели, поостыли, – с жару, с пылу,  
утвердив свое величие и власть...  
Все бы ладно, только многим не по силам  
ноша старшего, как видимо, пришлась.

Да и мудрости простой не всем достало  
осознать, что счастья нету без труда,  
И уже пошла гулять кровавым шквалом  
между братьями смертельная вражда.

Кто-то влево запылит, а кто-то – вправо,  
лишь бы думой о других себя не тщить,  
вознамерясь всю великую державу  
в одночасье по сусекам растащить...

Можно многое добавить между строчек,  
но об этом многом знаете и вы.  
Умолчим о благодарности и прочих  
чувствах доблестных и редкостных, увы...

Сколько дом ни обноси глухим забором,  
сколько старшим сам себя ни называй, –  
без согласия, без подмоги, без опоры  
можно разве только адом сделать рай.

## Толпа

Толпа непредсказуема... Она,  
беспамятством глухим ослеплена,  
кипит, бурлит, бушует и клокочет.  
Жесток, как смерч, ее водоворот,  
и не понять, куда ее несет,  
и не узнать, кто гибель ей пророчит.

Толпа неуправляема... Она  
отчаяньем слепым напряжена,  
как до предела сжатая пружина.  
Сплелись в экстазе ненависть и страх,  
готовые повергнуть в жалкий прах  
не столько виноватых,  
сколь безвинных.

Толпа безумной яростью больна,  
не знает сострадания она  
ни к слабым, ни к увечным, ни к убогим.  
Взметнув над ней вражды кровавый стяг,  
хитро играют на людских страстях  
ее жрецы, глашатаи и боги.  
Толпа повсюду на одно лицо.  
На штурм любых Бастилий и дворцов  
пойдет она, сметая все живое.  
А то вдруг, от восторга опьянев,  
обрушит свой неукротимый гнев  
на тех, кто рушит старые устои.

О, человек – творец своей судьбы!  
Остерегись взбесившейся толпы,  
себя вовлечь в пучину не давая.  
Не обольщайся, что толпа молчит ...  
Она через мгновенье зарычит  
и станет не толпой, а – волчьей стаей.

\*\*\*

В словах и деяньях легки,  
корыстным томимые зудом,  
играют тишком в поддавки  
лжецы с обездоленным людом.  
Блефуют, хитрят и юлят,  
клянутся согласием и миром  
и близкое счастье сулят  
голодным, разутым и сирым.  
И вроде бы правду сплеча  
на головы рушат обвалом.  
Внимает толпа их речам,  
как мудрым заветам внимала.  
Вздывается ярость в душе,  
и злобою сердце объято...  
И кто-то заносит уже  
топор над соседом и братом.  
Что дорого было вчера,  
сегодня дешевле удавки.  
Будь проклята эта игра,  
где кровью оплачены ставки!  
Будь проклята эта корысть,  
зловещая, как наважденье,  
коль чья-то распятая жизнь  
ей служит мостом к утвержденью!  
Бурлит и бушует толпа,  
куражится пьяным азартом,  
не зная, что счастья судьба  
крапленою мечена картой.  
Сшибаются пламень и лед  
по воле фальшивых кумиров,  
и нету у отчих ворот  
согласия, дружбы и мира.  
И сердце болит от тоски,  
и в страхе душа замирает.  
Играют с огнем игроки,  
по крупному счету играют.

ÑĖĬ ÂĬ Î Á ÅÀÒĬ ÐÅ

Михаил Ронкин не только отличный переводчик, но и большой русский поэт.  
Его оригинальная поэзия пронизана любовью к киргизской земле и к ее людям.

*Чингиз Айтматов*

\*\*\*

Переводческому почерку Михаила Ронкина чужд буквализм. Он всегда помнит, что стихотворение или поэма, переведенные им с киргизского, должны стать фактором русской поэзии... только хорошему поэту дано быть хорошим переводчиком.

*Темиркул Уметалиев*

## ЛЕОНИД ДЯДЮЧЕНКО

АЛЫКУЛ

*Повесть*

Мир этой комнаты возникает из ничего, и поначалу ничем не представлен, как не взгляды-вайся в полумрак, замкнутый серой белизной голых стен. Но в два небольших окошка, распятых на черных крестах фрамуг, все-таки проникает зыбкий свет, который позволяет рассмотреть письменный стол в ближнем к окнам углу, а в противоположном – кровать с лежащей на ней человеческой фигурой, прикрытой по грудь серым суконным одеялом. Голова человека приподнята высоко взбитой подушкой, и хотя мы не можем пока разглядеть его лица, но лихорадочный блеск глаз, обостренная худоба профиля не могут не передавать напряженного ожидания того, что, кажется, должно вскоре произойти. И приближение этого «нечто» становится все более ощутимым, пока не обнаруживается, что это «нечто» – звук. Вернее – шум. Он возникает неприметно, откуда-то издалека, из темноты, нарастает, близится, и вот уже позванивают стекла в ветхих оконцах, чайная ложка в стоящем на столе стакане, кажется, ходуном ходит вся мазанка, вот-вот и сорвется с места вслед за проносившимся мимо окон поездом.

Алыкул привстает, смотрит на сумятицу света и теней, заплывавших на легких занавесках, напряженно вслушивается в достигший своего крещендо рокот колес, слоено пытается услышать в нем какой-то сигнал для себя. Но рокот постепенно стихает, удаляется, и словно вызванный этим неистовым рокотом в груди привставшего в своей постели Алыкула возникает легкое покашливание, которое вскоре превращается в затяжной, как рокот колес, мучительный кашель. Алыкул дотягивается до стакана, судорожно пьет воду. Кашель стихает. Алыкул откидывается на подушку, вытирает мокрое от слез лицо полотенцем и тут замечает на полотенце темное пятно. Он шарит рукой по стене, нащупывает выключатель, под низким потолком зажигается тусклая лампочка. Алыкул вглядывается в темное пятно. Кровь.

С возгласом отвращения и проклятия Алыкул швыряет полотенце на пол. Щелкает выключателем, откидывается на подушку. Неподвижно лежит в темноте, вслушивается в наступившую тишину и только теперь замечает стук настенных ходиков. Кажется, теперь они стучат все громче и громче, и их стук становится невыносим. Алыкул садится в постели, зажигает свет. Он вглядывается в ходики, словно видит их впервые. Этот написанный на циферблате лик совы, ее бегающие в прорезях глазниц желтые глазки – влево – вправо, влево – вправо – в такт размеренного и громкого стука. Верхняя гирька почти достигла корпуса, другая – своего



нижнего предела. Ходики вот-вот остановятся, и Алыкул с отрешенным лицом словно ждет, когда это случится. Тик-так, тик-так, все громче и громче. С этим стуком сливается новый нарастающий приступ кашля, и за кашлем было не слышно, как остановились часы.

Но Алыкул услышал, и эта возникшая тишина отразилась на его лице гримасой не то отчаянья, не то досады. Он нехотя поднимается, заводит часы, и когда их нехитрый механизм оживает, возвращается в постель. Он взбивает подушку, и из-под нее выскальзывает томик стихов. Картонная закладка помогает открыть книгу на нужной странице.

Но грустно думать, что напрасно  
Была нам молодость дана,  
Что изменяли ей всечасно,  
Что обманула нас она.  
Что наши лучшие желанья,  
Что наши светлые мечтанья  
Истлели быстрой чередой,  
Как листья осени сырой.  
Несносно видеть пред собою  
Одних обедов длинный ряд,  
Глядеть на жизнь, как на обряд,  
И вслед за чинною толпою  
Идти, не разделяя с ней  
Ни общих мнений,  
Ни страстей.

Чтение вслух утомляет Алыкула. Книга падает на пол, обложка открывается, и мы видим портрет поэта работы Тропинина. Это академическое издание Пушкина 1937 года. Какое-то время Пушкин и Алыкул смотрят друг на друга, пока Алыкул не щелкает выключателем.

На полу уже зазглись солнечные квадраты пробившихся сквозь окна утренних лучей, но в углу, на письменном столе Алыкула, забыто горит настольная лампа. Чернильница, ручка в ней, чистый лист бумаги – больше ничего. Да еще все тот же толстый томик Пушкина академического издания 1937 года. Алыкул сидит недвижим. Ручка остается в чернильнице, лист бумаги – девственно чистым, ни рука, ни лицо Алыкула не выдают признаков той напряженной работы мысли, которая в нем происходит. Но стихи все-таки звучат, пока еще в нем самом.

- Не стал батыром я, а чем бы не джигит? Не стал таким огнем, что камни раскалит. В аиле не поют моих стихов, и мне признаться в той беде сама душа велит...

Зачем забыл я возраст, который сердцу мил. Тот смех, с которым в сети я ястребов ловил? Родных не навещаю, остыл к своим друзьям. Неужто Алыкулу кто сердце подменил?

Раздается стук в дверь, резкий, уверенный. Алыкул запахивает роскошный бухарский халат, подаренный ему на одной из встреч с читателями, открывает дверь. В комнату уверенно вошел рослый, могучего телосложения человек, одетый по моде тех лет в командирскую гимнастерку и галифе, туго подпоясанный командирским ремнем со звездой. Обут он был, понятно, в хромовые сапоги, на голове была фуражка; этот военизированный ансамбль нарушал разве что пузатый портфель, с которыми обычно ходили председатели колхозов да главные бухгалтера.

- Здравствуйте, Жусуп-байке, – посторонился Алыкул, – проходите.

- Да уж пройду, – по-хозяйски ответил гость, скользнув по Алыкулу насмешливым взглядом, – хорош народный поэт, хорош!

Он бросил портфель на едва прикрытую постель, круто развернулся и, заложив пальцы за ремень, укоризненно глянул на Алыкула.

- Хорош! Нечего сказать. А мы-то надеялись, что нашего полку прибыло! Что появился наш, из глубинки, парень, что будет работать в одном с нами строю. Мы ему комнату в общежитии выбили, а он бросил ее, ушел в какую-то халупу, скрылся от всех. Мы доверили ему работу с рукописями таких же, как он, простых парней, а он бросил работу. Он дезертировал с трудового фронта. А если завтра война? Если завтра в поход? Если темные силы нагрянут? Алыкул молчал. Он так и остался стоять у дверей, словно не он хозяин комнаты, а этот громогласный человек, которого он назвал Жусупом-байке.

А Жусуп-байке замолчал, подошел к столу, взгляделся в чистый лист бумаги, взял его на ладонь, слегка покачал на руке, словно взвешивая, и осторожно положил на прежнее место. Потом подошел к Алыкулу, приобнял его своими могучими руками, и возобновил разговор совсем в другой тональности.

- Алыкул, это я так... Мы тебя любим... Мы боеем за тебя... Мы знаем о твоих бедах, хотя что там твои беды по сравнению с теми задачами, которые стоят перед нами в строительстве новой жизни? Да что я тебя агитирую. Ты послушай стихи, я их запомнил. Не знаешь, чьи они?

И город, и страна, и мой родимый дом – Все то, чем дорожу, все то, что так люблю я, – Сплотилось в слове «труд» и в гуле заводском, Где милую встречать иду на проходную.

- Это же ты писал. А можешь и еще лучше. Так иди, встречай свою милую на проходную! Чего ты киснешь? Подумаешь, девчонка его разлюбила. И правильно сделала. Ты за нее воевал? Дрался за нее? Чахоткой он, видите ли, болеет. Я в Наркомздраве узнавал. У нас такой болезни нет, ликвидирована как класс вместе с буржуазией. Езжай на сырты. Поживи с чабанами. Кумыса попьешь – девки сами за тобой гоняться будут.

И он снова меняет тональность своего экспромта, неистовый Жусуп. Он вновь обнимает за плечи Алыкула, привлекает его к себе.

- Дорогой Алыкул, у каждого найдутся беды, от которых опускаются руки. А ты не обделен судьбой. Ты отмечен ею, ты награжден...

- Я не просил ордена.

- Я не о том, и ты понимаешь, о чем я говорю. Хочешь, мы тебе завтра путевку в Кой-Сару сделаем? Ах, Кой-Сара! Я бы и сам туда поехал – не могу. Поедешь в Кай-Сару? Отдохнешь. Сил наберешься. Наш Туке тяжелее тебя болел, а поставил себе задачу: выздороветь. И выздоровел. В общем так. Езжай в Кой-Сару. Там тебе никто мешать не будет.

- Спасибо, конечно. Но я там уже был. А мне и здесь никто не мешает...

И вновь предо мною вечерняя гладь.  
От озера глаз не могу оторвать.  
Оно у заката впитало лучи,  
Чтоб алым нарядом манить и пленять...  
Я б вечно смотрел, вдохновения полн,  
Как в люльке колышет оно небосклон.  
Что б стоили рифмы и строки мои  
Безплеска озерных задумчивых волн?

Волна лениво накатывает на берег, ласково шлепает по блестящей поверхности утрамбованного песка и, оставив легкую кайму белоснежной пены, с шорохом откатывает назад. Пена с легким шипеньем лопается, оседает, бесследно исчезает перед новой волной. И эти шлепки,

этот ритмичный шорох как аккомпанемент звучащим стихам, рождающимся в душе Алыкула. Он сидит у самого прибора на глыбе озерного известняка, весь отдавшись этому созвучному ритму редкой минутой, когда на берегу нет ни души. Но и это раннее уединение длится недолго. Появляется первый отдыхающий, он трудолюбиво протрясся мелкой рысцой мимо Алыкула в одну сторону, потом в другую, потом, видимо, сочтя эти пробежки за достаточный повод для раннего утреннего знакомства, бросил на песок свое полотенце рядом с Алыкулом.

- Не возражаете?

Ответить Алыкул не успел. Да и что бы он мог сказать? Впрочем, его ответ любителя раннего купанья и не интересовал.

- Что за народ? – с пафосом вдруг громко и напористо возгласил этот мускулистый здоровяк, – как можно спать в такое утро? Проспать эту божественную гармонию света и тишины, поднебесного озера и самого неба? Вы посмотрите, ни одного человека на пляже! Дрыхнут!

- Э-ге-ге-гей! – вдруг заорал любитель тишины и гармонии и с этим гоготом, разбежавшись, ухнул в озерную гладь, неистово замолотив руками и ногами.

Алыкул встал, набросил на озябшие плечи байковое одеяло, на котором сидел, и по тропинке, пробитой в зарослях прибрежного кустарника, направился в сторону курортных построек, едва выглядывающих из зелени парковых посадок. И во-время. Навстречу уже валил спешащий к озеру народ, словно внявший призыву энтузиаста ранней воды и пробежек по пляжному песочку. Замелькали и люди в белых халатах.

- Большой Осмонов? – остановила Алыкула пожилая врачиха, бдительно окинув его профессиональным взглядом, – я не ошиблась? Я бы на вашем месте не рисковала столь прохладным купаньем.

- А я и не рисковал, – улыбнулся Алыкул, – ни на своем месте, ни тем более на вашем.

- Зайдите сегодня ко мне, – неуступчиво продолжала врачиха, – мне сестра пожаловалась, что вы избегаете части процедур...

- Я постараюсь, – миролюбиво согласился Алыкул, – при первой же возможности и непременно!

Врачиха недоуменно пожала плечами и прошла дальше.

На аллее перед спальным корпусом было даже многолюдно, и Алыкул то и дело ловил на себе любопытные взгляды отдыхающих. Все скамейки перед ступенями главного входа были и вовсе заняты почтенным пожилым людом, тут же принявшимся с любопытством обсуждать проходящего сквозь строй их взглядов Алыкула. Судя по всему, мнение складывалось у них об Алыкуле не очень благоприятное, и Алыкул невольно ускорил шаг, чтобы скорей оказаться у себя в номере. В комнате было душно. Может быть, из-за тяжелых плюшевых портьер, может быть, из-за неубранного стола, уставленного остатками вчерашнего пиршества. Алыкул торопливо распахнул окно, и вместе с утренней прохладой до него от уличного репродуктора донеслись обрывки радиопередачи, заставившей его сначала прислушаться, а затем поспешно кинуться к висевшей на стене черной тарелке радио, которая, к немалому удивлению, оказалась вполне исправной. –

Чтоб только слушать ваши речи.  
Вам слово молвить, и потом  
Все думать, думать об одном.  
И день, и ночь до новой встречи.  
Но говорят, вы нелюдим.  
В глуши, в деревне все вам скучно...

Раздался осторожный стук в дверь. Алыкул подошел к портьеру, невольно стараясь прикрыть собою царящий в комнате беспорядок. В дверях показалась уборщица.

- Вы извините, но я должна убраться у Вас. Вы бы погуляли немножко. Что в духоте сидеть? Все отдыхающие уже на прогулку вышли. И на озеро.

- Да я сам уберусь. Гости были вчера из Фрунзе. Вы уж извините, я как-нибудь сам...

- Глупости. Чего извиняться? Люди проведали – радоваться надо. Не забывают. Уважают Вас.

- Да, конечно... Когда-то и я бы радовался...

- Ой, байке, Вы уж скажите. Да Вы еще моложе молодых.

- Вы вот что, – прервал ее Алыкул, – вы это все заберите, – махнул он в сторону стола. – В хозяйстве пригодится.

На столе, посреди грязной посуды и пустых бутылок громоздились коробки конфет, печенья, прочая снедь.

- Что Вы, что Вы, не надо, у нас не положено...

- Говорю, забирайте! Не положено! – передразнил ее Алыкул, – ну не буду мешать. И он шагнул за порог.

- Байке, – окликнула уборщица, – а цветы?

- Все забирайте. Я пока еще живой...

Санитарка покачала головой, начала убирать со стола. Алыкул вышел из корпуса, миновал облезлых гипсовых львов, сторожащих по архитектурной традиции главный подъезд корпуса, задремавших было на утреннем солнышке и теперь оживившихся с его появлением, стариков и старушек, зашептавшихся, закачавших головами то сочувственно, то осуждающе, дескать, знаем мы вас...

Покашливая в кулак, Алыкул идет по безлюдной аллее. Но его одиночество опять-таки оказалось недолгим. Впереди появилась колонна пионеров, марширующих в сопровождении учительницы, энергично взмахивающей руками. Школьники поют:

- Возьмем винтовки новые, на них – флажки. И с песнею в стрелковые пойдем кружки. Шагай, все в ряд! Вперед, отряд!

Алыкул торопливо свернул на боковую аллею. Но и здесь не было уединения. Аллею плотно заняли энтузиасты здорового образа жизни. Кто изображал элементы лечебной гимнастики, кто бег трусцой, кто пытался подтянуться, вцепившись в горизонтальный сук раскидистого карагача.

Алыкул вернулся в свой номер. Санитарка уже убралась, но не уходила, видимо, что-то ожидая.

- Тут столько много всего! – сказала она, кивнув на узел с коробками от вечернего пиршества, который она демонстративно водрузила на убраный стол. – Вам же к чаю пригодится.

- Уносите все и до свиданья. У Вас есть дети?

- У меня дочка.

- Вот и прекрасно. Передайте ей привет от дяди Алыкула.

- Обязательно. Она будет так рада. Я уже рассказала ей, что это Вы написали книжку про витязя в тигровой шкуре.

- Спасибо, конечно, но я не писал эту книгу.

- Как? Я видела на обложке Вашу фамилию. Алыкул Осмонов. Это же Вы?

- Я ее только перевел.

- Это все равно!

За дверью раздался звук пионерского горна. Ракия заторопилась, подхватила узелок, весь свой реквизит и поспешно вышла в дверь. Но дверь не закрылась. Под пронзительные звуки горна и барабанную дробь в комнату, теснясь, вторгся пионерский отряд.

- Отряд, стой! Смирно! – вскинув руку в приветственном салюте, скомандовал звеньевой. – Товарищ орденосец Алыкул Осмонов! Отряд третьего «А» класса средней школы села Кой-Сары прибыл для торжественного рапорта по итогам минувшего учебного года и взятию социалистических обязательств в связи с началом нового учебного года!

Стоявшая в сторонке учительница нервно мяла платочек, переживая за своего ученика, который даже вспотел от напряжения. Но он справился со своим текстом, лишь немного замедлившись на середине фразы. Алыкул улыбнулся.

- Вольно, – сказал он и пожал руку засиявшему мальчишке.

- Гроза! – откуда-то из глубины стеснившегося при входе отряда раздался звонкий девчоночий голос.

Возникло какое-то движение, толкучка, и на середину комнаты протолкалась маленькая забавная девчушка, отчаянно верещававшая на ходу.

- Стихотворение поэта-орденосца Алыкула Осмонова. Читает ученица четвертого класса средней школы имени Пушкина Зарылбекова Чопа!

- Чолпон, – поправила учительница.

- Чопа, Чопа! – обрадовано загалдела ребятня. Маленькую чтицу собственная оговорка и смех отряда, однако, ничуть не смутили.

– Раскатись, раздайся весенний гром!  
Пусть заблещет ливень серебром.  
Пусть сольется ливня ликованье  
С первым громом в воздухе сыром!  
Потрясая облачную высь,  
По горам и долам раскатись.  
Чтоб в одном стремительном порыве  
Все стихии грозные слились!

\*\*\*

Новая возня в толчее отряда, и на авансцене комнаты появляется новый солист. Видимо, желающих выступить оказалось больше, чем планировала учительница, и изменение программы происходило, так сказать, в порядке живой очереди.

– Мой беркут гордый и меткий,  
Учил я тебя дерзать.  
Когда ты был одноплеткой –  
Когтями луну терзать.  
Взлети мой беркут над миром.  
Узнай его красоту!  
Кыйту!  
Кыйту!  
Конь твой легок, золотой на нем убор, –  
Подхлестни камчой и вырвись на простор.  
Мчись вперед, лихих всадников обгоняй!  
О народ мой! Будь, как реки этих гор!

С такой искренностью, с таким воодушевлением читали ребята эти короткие стихи Алыкула, с таким блеском глаз и верою в каждое слово, что все происходящее оказало на Алыкула совершенно неожиданное воздействие. Он вдруг почувствовал, что сейчас заплачет, и ему стоило невероятных усилий, чтобы не проявить этой слабости под обращенными на него взглядами. Он морщился, кусал губы, растирал с силой лоб, и учительница, заметив его гримасы и почувствовав неладное, заторопилась увести вошедших во вкус юных любителей поэтической строчки. Благо, возник очередной приступ кашля, Алыкулу пришлось закрыть лицо полотенцем, и никто не заметил его неожиданно возникших слез.

Вот чего не хватало, оказывается, и ему самому, и его стихам. Но как выразить, как передать это состояние, как удержаться на этой звенящей высоте восприятия жизни?

Он бросается к столу, хлопает ладонью по пачке газет, шарит по подоконнику. Черт! Куда подевала эта уборщица ручку и чернильницу. Где-то был карандаш, ах, вот же он, на самом виду. Черт, карандаш сломался. Да вот же ручка, она в чернильнице, за букетом. Но он же сказал, чтобы она унесла цветы. Какого черта делать этим пышным оранжерейным красавцам здесь, на Иссык-Куле, где самый простой полевой цветок в сто раз прекрасней и ароматней самых роскошных роз!

Куда подевалось, что было вчера?  
И силы, и славы настала пора.  
И кажется, с жизнью вовек не расстаться,  
Настолько прекрасна она и добра.  
Невольно смеюсь и пою, как дитя!  
Что тянется к солнцу, улыбкой блестя.  
Уснуть не могу и брожу до рассвета,  
И песня звенит, в поднебесье летя.

Он не спеша идет по тропинке, петляющей вдоль горной речки мимо замшелых валунов и кустов табылгы и шиповника. Он то и дело останавливается, и не только для того, чтобы перевести дыхание, ему вдруг стало необходимо взглянуть в узор лишайника на гранитной глыбе, взглянуть в сложнейшее соцветие шалфея, на которое он не обращал внимание еще вчера. Как прекрасны речные окатыши на дне речного протока, как они разноцветны и органичны там, где они находятся, и как они теряют свои краски, стоит им обсохнуть в кармане пиджака – хоть выбрасывай. И непонятно, что в них восхищало еще минуту назад, как непонятно, чем радовала только что рожденная строчка недописанного, недосказанного стиха, которая, вдруг прозвучавшая, кажется теперь чужой и фальшивой.

Время к вечеру, в логах все гуще залегают сумеречные тени, все зеркальней становится лежащая внизу гладь Иссык-Куля, все явственней проступает за Иссык-Кулем лиловая гряда Кунгея, все значимей становятся сидящие на холмах то там, то здесь творящие вечерний намаз старики, ведущие безмолвный разговор с небом и озером, с горами и предгорным селом. Алыкулу тоже вдруг захотелось вот так же опуститься на землю и посидеть, помолчать, ни о чём не думая, а только чувствуя свою принадлежность этому вечному миру, который, оказывается, есть только до тех пор, пока есть ты.

Гонят стада к ночлегу. Подымаются во дворах дымы вечерних чаепитий, встреч семей за скромной вечерней трапезой. С достоинством, с чувством выполненного долга разбредаются коровы по своим проулкам, где их встречают пацаны и хозяйки.

- Алыкул-байке, – с изумлением слышит Алыкул обращенный к нему голос, – Вы как сюда забрели?

Обернулся – Ракия, санитарка. Встречает свою корову. Рядом вертится девчушка, заинтригованная разговором матери с городским, нездешним дядей.

- Дочка?

- Нургуль, – с гордостью ответила Ракия, – главная у нас в семье. Остальные – так, мелочь. Дед, бабка, я – все подчиненные. Вот если разрешит – пригласим Вас зайти. Хлеба отведать. Как, Нургуль, пригласим?

Девчушка состроила гримаску, пожалала плечами. Дескать, сама решай, мне-то что. И убежала во двор. Видимо, предупредить.

- Спасибо, Ракия. Зачем я буду Вас беспокоить? Вот если бы помогли мне... Понимаете, я вот походил тут, мне село Ваше нравится. Я хотел бы пожить в нем несколько дней. Не подскажете, у кого можно снять комнату? Не обижайтесь, но в Вашем санатории я уже не могу. Как на выставке. Как экспонат. Хочу сбежать.

- Сразу не скажешь. Заходите, за чаем поговорим. Мать что-нибудь подскажет. Отец...

- Ну, если так... Только Вы не говорите, кто я...

- А им все равно. Да и так они уже знают. Нургуль все расщебетала. Конфеты-то от кого? От дяди Витязя в тигровой шкуре.

- Ха, – хохотнул Алыкул. – Если бы! А на самом деле ни Витязя, ни тигровой шкуры. Разве что Ленский? Да и то вряд ли. Тот хоть стрелялся.

- На войне?

- Нет. Обиделся просто. Ненормальный был. Видишь ли, девчонка его с другом потанцевала, улыбнулась пару раз.

- Фу, у нас полно таких. Правда, не стреляются, кухонными ножами обходятся. Я одно время в райцентре жила, в райбольнице работала. Там насмотрелась. С танцплощадки поставляли клиентов. А Вы говорите – стихи. Какие стихи? Вы вправду верите в них?

- Ракия, я же не первый. Не я их придумал. А если не в них, то во что же еще верить?

- Вы женаты?

- Даже не был. А Вы это, как я вижу, прошли. И Вам не страшно?

- Нет. Все худшее уже было. Да и кто я такая?

- А я кто такой? Да и все мы кто такие?

Так за разговором, словно невзначай, вслед за коровой они вошли во двор, где у стены дома, пригретой закатным солнцем, дремал на завалинке, на побелевшем от времени тополе стволе такой же побелевший от времени белобородый, морщинистый старик, уютно завернувшись в теплый чепкен. Он скользнул благодушным взглядом по незнакомцу, приглашающе похлопал ладонью рядом с собой по завалинке, дескать, садись, гостем будешь. А Ракия сказала:

- Посидите с ним, поговорите, правда, он ничего не слышит.

- Но это же хорошо, – подхватил Алыкул, – что бы я ему мог путного сказать? А он мне ответить?

- Ну и хорошо, – не вдаваясь в подробности, ответила Ракия. А я с мамой о Вашем деле посоветуюсь. Пока она корову доит. Тогда она внимательна ко всему.

Алыкул опустил на завалинку, и вдруг что-то отпустило его, расслабило, никто его ни о чем не спрашивал, ничего от него не ждал. Ракия вернулась и сказала, что мать посоветовала один дом, если на несколько дней. И если Алыкулу там понравится, то она, так и быть, замолвит за него словечко, потому что видит, что человек порядочный, не злой, а раз не злой, то пусть себе живет, если ему это так надо. Она когда-то тоже любила по гостям ездить, по новым местам, с новыми людьми встречаться, пока не встретила вот этого, кото-

рый теперь день-деньской сидит на своей завалинке, которую она, ей-богу, сама распилит и разрубит на дрова.

Алыкул хмыкнул и рассмеялся. – Знакомая ситуация! И вдруг вслух прочел по-русски:

– А может быть и то: поэта  
Обыкновенный ждал удел.  
Пропеть бы юношества лета:  
В нем пыл души бы охладел.  
Во многом он бы изменился.  
Расстался б с музами, женился.  
В деревне счастлив и рогат.  
Носил бы стеганный халат...

И вновь рассмеялся, прервав декламацию.

- Это Вы о чем? – удивленно спросила Ракия.

- Да все о том же, – как о чем-то решенном сказал Алыкул, – стало быть, мама не против, если я у Вас поживу немного? Как ее звать?

- Анапия, – ответила Ракия.

И тут появляется Нургуль. И не одна, а в сопровождении своих соседских подружек. Ей явно хочется показать, какой у них в доме гость, и у нее есть для этого веские свидетельства. Она в качестве веских улик раскладывает по столу потрепанные сборнички его ранних изданий, и с пристрастием допрашивает, – это ваши книги? «Витязь в тигровой шкуре» – это вы написали?

- Ну как я? – старается объяснить Алыкул. – Это написал великий Шота Руставели. Но он писал на своем, грузинском, а я только перевел на наш язык.

- Вы знаете грузинский?

- Это необязательно. У меня был подстрочник.

- Что такое подстрочник? Кто делал подстрочник? Этот человек тоже мог писать? А если он мог писать, то почему не писал сразу «Витязь в тигровой шкуре», а если не мог писать, то какой же он мог сделать подстрочник? И какие могут по такому подстрочнику получиться стихи?

С этими детьми лучше в разговоры не вступать. Ведь она, эта Нургулька, спрашивает, не церемонясь:

- А Вы, байке Алыкул, Вы по какому подстрочнику пишете свои стихи?

- А вот по такому, – пытается спасти свою репутацию поэта когда-то удивлявший своими экспромтами однокурсников Алыкул:

Иссык-Куль светлее серебра.  
Хороша и речка Кой-Сара.  
А на Кой-Саре живет смуглянка,  
Девочка Нургуль, умна, добра...

Научилась правилам письма  
Ручка у нее в руке пряма  
Вывела в своей тетрадке слово  
И не налюбуется сама.

Нургуль восхищена. – Вы сами придумали? Прямо сейчас? Тогда напишите это по-настоящему, на бумаге. И она пододвинула ему чистую тетрадь.

- Нургуль! Ты что прицепилась? Иди делай уроки.
- Я уже сделала. Теперь пускай дядя Алыкул сделает. Дядя Алыкул, это у Вас такой почерк? Наша учительница Вам бы поставила двойку.
- Я знаю, смиренно ответил Алыкул. – Мне и ставят. Но я иногда получаю и пятерки.
- За содержание? –Нет.
- А за что?
- Не знаю.
- А я знаю. За красивые глазки.
- Нургуль, ты чего-то разговорилась. Давай, иди спать.

\* \* \*

Алыкул проснулся от ритмичного, негромкого стука, вернее, от звука каких-то мягких, легких и бесконечно длящихся ударов, понять происхождение которых он никак не мог. Но они не раздражали, они, наоборот, действовали усыпляюще, и он то погружался опять в предутреннюю дрему, то в обычное для него состояние возникновения разрозненных строчек, из которых каким-то неведомым образом и складывались стихи.

Старика, в комнате которого ему постелили, уже не было, была убрана и его постель. На стопу одеял был брошен его вчерашний халат, не было слышно и Нургуль. В комнате было темно, тем ярче показался свет давным-давно разгоревшегося дня, когда Алыкул вышел из комнаты на террасу. Тут он и увидел Анапию. Старушка сидела на ширдаке в тени тополя и прутьями упругой табылгы взбивала шерсть. Увидев Алыкула, она отложила прутья в сторону.

- Выспались? Пойдемте, буду поить Вас чаем. Мои-то все давно кто куда. Дед овец погнал. Ракия – на работу. Нургулька – в школе. Одна я бездельничаю. Молоко будете парное? Только что подоила. Говорят, полезное. А мы всю жизнь пьем его, а чего-то здоровья не прибавляется. Ракия говорит, ей врачи сказали, что Вы приболели чем-то, потому и приехали в санаторий. А чего убежали оттуда? Ракия говорит, что Вам номер-люкс отвели, самый богатый, который для начальства. А Вам не понравилось? Вы женаты? Нет? Вот и я подумала, что нет.

- Это почему же?

- Так. Сразу видно. Вы меня останавливайте. Я болтать могу без остановки. Целый день одна, так что чего только не подумаешь? За разговором неумолчная старушка сноровисто накрыла достархан, рассыпала по скатерти боорсоки, лепешки, поставила пиалы с каймаком, топленным маслом, внесла небольшой самовар.

- Вы водку будете? – неожиданно спросила Анапия. – Ракия принесла, говорит, от Ваших гостей осталась, а Вы сказали, чтобы она все домой унесла. Конфеты-то враз исчезли, Нургуль подружек привела, в минуту все склевали, как воробы. А водку у нас пить некому. Да и Вы, вроде, непьющий.

- Это почему же? – неожиданно для себя возразил Алыкул. – Что же я совсем такой? Неженатый, непьющий, не курящий... Я выпью. В хорошем доме за хороших хозяев...

- Э, милый человек, сколько здесь было выпито за этот дом и за его хозяев! И что же? Ничего не скажу, хорош был поначалу муж у Ракии. Добрый, ласковый, а уж как играл, как играл... И на комузе, и на баяне, у нас от гостей продыху не было. И везде его приглашали, как у кого свадьба или той какой – все его звали. А потом в райцентр, в Дом культуры переманили, и только мы его и видели. Гастроли, смотри, декады, Фрунзе, Москва, Ташкент...

Помыкалась с ним наша бедная Ракия, попереживала, да и развелась. А он к тому времени уже пил. А когда в последний раз за вещами приехал, так до машины баян донести не мог, вместе с ним в речку свалился с моста. Самого-то вытащили его дружки, а баян уплыл. И на том музыка кончилась. А Ракия с тех пор мужиков видеть не может. Я удивилась вчера, как это она Вас привела. – Мама, говорит, у нас гость.

- Да я случайно здесь проходил. Не все же мне в санатории сидеть...

- Случайного, сынок, ничего не бывает. Ты вон тоже мечешься, места себе не находишь. А как ты его найдешь, если не знаешь, в чем оно заключается и где оно?

- Мое место везде. Я человек вольный. Один поэт сказал: «Мы вольные птицы, пора, брат, пора туда, где за тучей синееет гора...». Вот я и пошел, где синееет гора.

- Стало быть, судьба. У тебя отец, мать есть? Где они?

- Я детдомовский. Сколько себя помню. Нет, вру. У старшей сестры поначалу жил.

- И не знал родителей, не видел?

- Отец в горах погиб. Мать – за ним ушла. Не пережила.

- Вот и я все о дочке думаю. И так жалко ее. Ну мы с дедом уйдем скоро. Нургуль вырастет – хвостом вильнет, и поминай, как звали. Характер-то виден, вся в отца. И останется наша Ракия одна – одинешенька. Родить бы ей кого, а мы пока живы – помогли бы растить. Это ж такая радость. Вы – то, нынешние, этого не понимаете, вам все куда-то надо. А куда? Выше головы не прыгнешь. Пожил бы ты у нас. Может, что-нибудь у Вас и получилось бы. Конечно, ты человек, городской. Тебя тут не привяжешь. Да и не в этом дело. А как было бы славно, если б родился бы здесь мальчонка, как бы наши души согрел. Да и тебе не так одиноко было б по свету скитаться, знал бы: где-то есть родная кровинка, жил все-таки ты на свете. А вот чего ты не выпил-то? Напугала тебя старуха? Не бойся. Это я так, вслух рассуждаю, не обессудь.

Заметила Анапия. Зоркая старуха. А Алыкул и впрямь растерялся от предельной искренности и бесхитростности ее слов. Наверное, так мудро и чисто можно только думать, а когда такие мысли произносятся, они обретают налет коварства, лживости, хотя какая уж тут лживость? Но такая открытость пугает, и Алыкул испугался. И не смог скрыть своего испуга. Но та развязность, которая слегка прозвучала в его словах в начале чаепития, бесследно исчезла, уступила место мрачной озабоченности, а интерес к продолжению беседы и чаепития и вовсе исчез.

- Да, неплохо было бы обзавестись мальчонкой, но где же найти на это богоугодное дело нормального мужика в нашем Озгоруше? Какие были – давно сбежали в города, а кто не смог, тот ни на что уже не гоже. Выпейте, молодой человек, и не дай Бог хотя бы намекнуть Ракие о том, о чем мы тут фантазировали. Она же меня убьет.

- А, это мы фантазировали? – переспросил Алыкул, сделав ударение на «мы».

Нет, я фантазировала. Старуха, выжившая из ума. Пойду-ка я займусь своим делом. А Вы – своим...

\* \* \*

Старуха ушла. Алыкул, посидев немного и поразмыслив над сказанным, полез в карман, пересчитал оказавшиеся там деньги и сунул их под остывший кумган. И, уже не мешкая, вышел со двора, аккуратно прикрыв за собою ворота.

Наверное, Алыкулу не хотелось бы встретиться на тропинке с возвращающейся с работы Ракией, он увидел ее издали, и у него было время свернуть с тропы и за кустом шиповника переждать, когда она пройдет.

И она прошла. И он проводил ее взглядом, а затем продолжил свой путь, вдруг обнаружив, что теперь его уже ничего не интересовало, ни узоры лишайника на валунах, ни разноцветная галька речных отмелей. Многого прошло в его жизни как бы само по себе, как бегущая по дну ущелья речушка. Прошло и это.

«... Ночь. Бессонница. В дальнем углу все той же холостяцкой комнаты – письменный стол с зажженной электрической лампой, в другом – кровать с неподвижно лежащим Алыкулом. Алыкул равнодушно смотрит в сторону стола, на плоскости которого лампа высвечивает лишь чернильницу с ручкой да чистый лист бумаги, а на самом краю – стопку книг. Но все это оставляет Алыкула равнодушным, он погружен в неведомые мысли, он словно прислушивается к чему-то очень далекому, еще не зазвучавшему, но что уже слышит только он. И это что-то нарастает, надвигается, все более отчетливо превращаясь в давешний торопливый грохот колес, от которого начинает сотрясаться ветхая мазанка. И вот виден поезд. Но не из окон мазанки, а как бы с другой стороны, из другой, уже промелькнувшей жизни он виден как бы со стороны нависших над железнодорожной колеёй заснеженных холмов, где сельские пацанята собирают курай. То и дело, поскользываясь на крутизне, они деловито ломают сухие стебли колючего татарника, отрываясь от своего занятия разве что на время прохождения поезда. Они вглядываются в трафареты с надписью «Москва – Фрунзе», стараются разглядеть лица пассажиров, виднеющиеся над белыми занавесками, машут им руками, что-то возбужденно кричат вслед пронсящим мимо них счастливым людям прекрасной, красивой жизни. А затем снова принимаются за курай. Потом они идут по тропе в свой аил, каждый со своей вязанкой, каждый в свой дом, где их уже ждут. А ведь они еще дети и им еще нужна игра, в чем бы она не заключалась. И вот они выстраивают в один ряд свои вязанки курая и сухих веток, и их явный заводила – более взрослый и крепкий подросток, да и одетый более добротнее, чем остальная сельская гольтьба, – распоряжается, абсолютно уверенный в том, что не встретит никаких возражений:

- Значит, так. По команде каждый толкает свою вязанку. Которая укатится дальше всех – тот выиграл. Чья будет последней – тот проиграл. Тот развязывает свою вязанку, и победитель берет себе половину.

- По совести?

- По совести.

- Договорились?

- Давай!!!

И вязанки покатались вниз с бугра, с последнего спуска перед аилом. Мальчишки бежали следом, криками подгоняя свои вязанки. И дальше всех укатилась ладная, туго скрученная волосняным арканом вязанка заводилы. Последней оказалась большая, рыхлая вязанка Алыкула, кое-как обмотанная обрывком бечевки.

- Развязывай! – торжествуя, сказал заводила, – как договаривались.

Алыкул, не споря, развязал свою драную бечевку. Заводила, по-хозяйски наступив ногой на меньшую половину, решительно отодрал большую. Затем он развязал свою вязанку и неожиданно вытащил из ее середины несколько увесистых камней: вот отчего, оказывается, его вязанка укатилась дальше всех. Лицо Алыкула потемнело от обиды.

- Это нечестно, – сказал Айыкул. – Нечестно, нечестно, загалдела ребятня.

- Почему? – угрожающе ошестинился заводила, – кто сказал? Разговора о камнях не было. Если кто не догадался – кто виноват? Кто смел, тот два съел, поняли? Или кому-то надо еще растолковать? Да, теперь вязанка заводилы стала вдвое больше, чем осталось у Алыкула. И когда мальчишки спустились в аил и пошли по улице со своими вязанками, когда дядя Алыкула байке

Зарлык – увидел, с какой, меньше чем у всех, вязанкой идет домой его унылый племянник, скандала было не избежать. То ли не хватило самогонки, то ли ее оказалось слишком много, но байке Зарлык был явно не в духе, и первую затрещину Алыкул получил еще перед воротами.

- Ты где шлялся? Чем занимался? Почему у тебя курая вдвое меньше, чем у всех? Бездельник! Мать соломой топит, а ты дров не можешь собрать? И не успел Алыкул сбросить у печки свою вязанку, как получил пинка, от которого вместе с кураем отлетел на кухонный столик. Загрелись ведра, посуда. На шум показалась Айым, старшая сестра Алыкула, жена Зарлыка.

- Эй, Зарлык, оставь мальчика в покое! С утра глаза залил, не знаешь, к чему придраться? Еще раз пацана тронешь – не знаю, что сделаю!

- Что? Что ты сделаешь? А вот этого не хочешь? И он ударил жену кулаком в лицо. Айым упала.

- Не бей ее! – пронзительно закричал Алыкул и, схватив стоявший у порога дрын с крючком на конце, которым в деревнях дергают сено из уложенной на крыше сарая копны, замахнулся на байке.

- Ах ты, кысталак! – взъярился Зарлык, надвигаясь на мальчика. Воспользовавшись моментом, Айым поднялась на ноги и выскочила со двора на улицу.

- Кокуй! Кричала она изо всех сил, – Кокуй!

Зарлык бросился за женой, намереваясь затащить ее во двор, в дом, но тут кто-то схватил его за плечо.

- Эй, Зарлык, опомнись, увещевающе сказал ему пожилой сельчанин, проходивший в этот момент мимо.

- Ты кто? Не лезь не в свое дело, – не видя никого от злобы и ничего не соображая, – заревел Зарлык, – уйди, пока жив.

- Зарлык, это я, Бакыт. Ты чего на людей бросаешься. Да еще на своих.

- Уйди, говорю!

- Ну не хочешь по-хорошему, давай по-плохому. Учти, Осмон – мой друг был, и я его детей в обиду не дам. Хочешь бить кого-то – бей меня. А потом, ударю, договорились? А пацана я к себе заберу. Люди говорили, что ты над мальцом измываешься. Я давно хотел его забрать – повода не было. А теперь есть. Спасибо тебе.

- Не имеешь права! Я к прокурору пойду! Я тебя в тюрьму посажу.

- Давай, давай. Это вы можете...

- Кто это «Вы»? Ты на кого это намекаешь, а?

- На тебя, дорогой, на тебя. На кого же еще?

Зарлык дернулся, пытаясь освободиться от крепкой хватки сельчанина, но Бакыт и внешне не был покрупней Зарлыка. Да и порох у домашнего дебошира был уже на исходе.

- Все против меня? Все, да?

- Все – все, успокойся, – подтвердил с усмешкой Бакыт, принимая под свою свободную руку подбежавшего к нему пацана, еще не верящего в свое освобождение.

\* \* \*

Алыкул сидит на корточках перед открытой дверцей печи своего холостяцкого жилья, подкладывает в огонь дрова. Печка гудит, тяга хорошая, и в пляске языков пламени возникают все новые и новые виденья, наплывом, сменой света и тьмы, переходя из одного в другое, то развивая какую-то одну тему, то без всякой связи и какой-то логики переключаясь на совершенно другой эпизод, который однако своей внутренней сутью, каким-то осо-

бым строем, настроением, атмосферой оказывается все же очень близким тому, что было прежде. Колеса. Стук, ропот колес, но это не накастистый, с перестуком мчащегося железнодорожного состава, а дребезжащий звук колес маленькой брички, которую меланхолично тянет по каменистой проселочной дороге давно смирившийся со своей долей сивый ишак. Сидящий на бричке Бакыт беззлобно понукает ишака, за спиной Бакыта, на охапке сена, дремлет юный Алыкул, прикрытый старым ватным одеялом. Вечереет, снега окрашены закатным румянцем, а на усах и бороде Бакыта выступил иней.

- Не замерз? – повернулся Бакыт в сторону мальчика.

- Нет, – сонно ответил Алыкул, – мне хорошо, Я бы так ехал и ехал. А далеко еще Пишпек?

- Спи. Мимо не проедем...

Дорога пошла под уклон в глубокую лощину, по дну которой, то чернея проталинами, то скрываясь под наледями, струилась небольшая речушка. Она казалась такой мирной, такой безопасной, что Бакыт даже не слез с тележки, чтобы всмотреться в брод и выбрать колею понаезженной. Ишак было запрягнулся, но, получив пару раз кнутом, стащил тележку в воду. И все было бы ничего, но на самой середине протоки колесо наскочило на большой валун и подломилось. Тележка накренилась и спящий Алыкул оказался в воде. Соскочив в речку, Бакыт выудил мальчика из воды и, прижав его, мокрого, к груди, запахнул полами тулупа. Он даже ни на секунду не замешкался, Бакыт, даже не обернулся на застрявшую посреди речки тележку, а заспешил на берег, на дорогу, почти бегом осилив подъем, за которым виднелись крайние дома раскинувшегося по равнине какого-то очередного села. Задыхаясь, добежал до первых же ворот, заколотил сапогом в калитку, закричал.

- Эй, хозяин, помогай! Ой, помогай. Ой, скорей! Приоткрылась калитка. Настороженно высунулся хозяин, за спиной которого виднелись дюжие парни, видимо, сыновья.

- В речке опрокинулись. Колесо сломалось. Маленький искупался. Переодеть, согреть надо. Добрый человек, помогай.

- Это мы мигом, – отозвался хозяин, – это с каждым может случиться. Давай, проходи, да не в дом, там еще не топлено, в кузню давай.

В глубине двора виднелась закопченная мазанка. Посреди мазанки пылал горн, меха раздували пламя, тут все и закружилось. Появилась хозяйка, принесла полотенца, простыни, полетела на пол мокрая одежонка.

- Сейчас воды нагреем. Как бы не застудился, мальчонка-то хилый, неухоженный, твой что ли? – обернулась она к Бакыту.

Был бы мой, – вздохнул Бакыт, растирая Алыкула, – у дальней родни отбил. Сами живут, как волки, и пацана замордовали... В детдом везу, в Пишпек, У родни житья ему нет, а я вдовый.

- Бывает, – поддержала разговор хозяйка, – ныне чужие люди ближе родни оказываются... Хозяин подозревал сыновей.

- Берите лошадь, бегите на речку. Телегу тащите, колесо, будем чинить. Кто там у тебя? – обратился хозяин к Бакыту, – лошадь, ишак?

- Ишак, вздохнул Бакыт, – старый уже, а жалко. Сколько поработал на меня. А умный! Не хотел в речку идти, я погнал...

Весело гудела печь, блики пламени играли на белых стенах, на лицах добрых хозяев, на запотевших стеклах оконца, за которым сгущались сумерки.

Солнечный, яркий день. Трусит ишак по ровной дороге. Развалились на свежей соломе Бакыт и Алыкул.

- Байке, эти люди – твои друзья? – спросил Алыкул.

- Нет, в первый раз видел их.

- А почему ты пошел именно к ним?

- Их дом оказался ближе всех.

- Но они же могли нас не впустить?

- Значит, не могли.

- А дядя Зарлык не пустил бы нас?

- Может, и не пустил бы.

- И что б ты делал?

- Постучался бы к другим людям. Надо стучаться, и кто-нибудь откроет.

- А город Пишпек какой? Большой? Там откроют?

- Да мы уже едем по нему.

- Это город? – разочарованно переспросил Алыкул, глядя на домишки, ничем не отличающиеся от обычных сельских домов.

- Ой, отцепись, – отмахнулся Бакыт, – нам найти надо твой детдом. А где он?

Бакыт то и дело останавливал ишака, слезал с тележки, подходил к прохожему, стараясь не пропустить ни одного киргиза, с которым ему легче было разговаривать. Но встреченные киргизы почему-то не знали, где находится детдом. Может, потому, что не привыкли еще сдавать своих малолетних родственников в казенные приюты.

Наконец Бакыту показали на большие деревянные ворота, за которыми виднелся длинный белый барак. Пришлось долго стучать, прежде чем появился сторож – хромой старик с суковатой палкой в руке. Он был хмур и неприветлив.

- Что надо?

- Мальчика привез. Сирота. Прими, пожалуйста.

- Ага. Сейчас. Ты откуда свалился? Я тебе кто? Я сторож. А начальства нет. Сегодня воскресенье, ферштейн? Завтра приходи.

- Ой, как завтра? Мы издалека. Каинды, знаешь? С ночевой ехали. Мальчик устал. Вчера в речке перевернулись. Простудился, прими, пожалуйста!

- Я тебе русским языком говорю. Начальства нет, приходи завтра.

- А кто есть?

- Груня есть. Сестра-хозяйка. Постучись, может примет. Вон, домик на углу, видишь? Она чокнутая. Всех принимает.

Вечерело. Пошел снег. И окошечко, засветившееся сквозь крупные хлопья, было особенно притягательным. Бакыт осторожно постучал, и занавеска тут же откинулась. Потом открылась дверь, и в темном проеме низкой двери показалась женская фигурка в наброшенной на плечи солдатской шинели. На голове у женщины была белая санитарная шапочка с грубой нашивкой красного креста.

- Кто там, заходите, – раздался хрипловатый женский голос.

- Это я, мен, Бакыт, – отозвался байке Бакыт, внося Алыкула под низкий потолок придорожной мазанки.

Женщина в солдатской шинели откинула с лица Алыкула заснеженное одеяло и сказала:

- Ой, беденький, намучился-то как!

Наверное, принимать внезапных гостей ей было не в диковинку. Извлекла откуда-то из-за занавески два полосатых матраса, суконные солдатские одеяла, простыни, взбила подушки, а больше, вроде бы, ничего и не надо. Да, конечно, угостила чаем. Булка хлеба, кипяток

из железного чайника, рассерженно свистевшего на раскаленной «буржуйке». Языковый барьер не способствовал долгим разговорам, но все-таки объяснились. Байке даже вопросы стал задавать, тыча пальцем в иконку, украшавшую красный угол неказистой комнатки, едва освещенный тусклым светом «летучей мыши».

- Русский бог?

- Да. Пушкин Александр Сергеевич. Он все знал наперед и про нас наперед написал такие слова:

Буря мглою небо кроет,  
Вихри снежные крутя,  
То, как зверь, она завоет,  
То заплачет, как дитя.  
То по кровле обветшалай  
Вдруг соломой зашумит.  
То, как путник запоздалый,  
К нам в окошко застучит.

\* \* \*

Кучка ломаных досок стоит десять рублей. Столько же стоит кучка саксаула, и Алыкул, перебрал содержимое своих карманов, несколько мгновений стоит в нерешительности, решая возникший перед ним немаловажный вопрос: на чем остановить свой выбор и как это донести до жилья?

- Быть или не быть? Вот в чем вопрос? – слышит он за спиной чей-то ернический голос. Обернулся – так и есть, вечно пьяный, всеми не признанный и гонимый поэт-графоман Турсун Абдрасулов.

- Какой момент! Какая драма! Наше золотое перо. Надежда всей нашей литературы стоит перед гамлетовской дилеммой: брать или не брать, – паясничал Турсун. – Бери, Алыкул! Подвернулось, бери! А коль скоро небожителю не пристало самому тащить это брэнное топливо – осчастливь меня, позволь доставить. Чтобы и я мог с чистой совестью на встречах с твоими читателями когда-нибудь сказать:

- А вот когда я сотрудничал с самим Алыкулом Осмоновым, как сейчас помню, он мне доверял самое трудное, перед чем и сам иногда попадал в тупик. Излагая все это, он сноровисто сложил две кучки в одну на петлю веревки, которую выхватил из рук оторопевшего от его веселого натиска мальчишки, продававшего дрова, и взвалил ношу на плечо.

- А мне терять нечего, я не орденосец, мне мою репутацию не подмочить, если только у тебя не найдется еще десятки на стакан киргизского крепкого. Говорят, ты с гонорара за «Евгения Онегина» купил себе особняк, девок водишь туда втихомолку, потому и не приглашаешь к себе никого, даже таких старых друзей, как я? А что, Алыкул, признайся, когда ты переводил Онегина, тебе кто больше нравился, Ольга или Татьяна? А, старик? Я подумал об этом, когда ты стоял и не мог решить, каких дров тебе купить – обычную доску, или саксаул? – Ха, Алыкул? Саксаул, наверное, и Татьяна? Дерево пустыни больше жару дает?

- Все, приехали, – сказал Алыкул, снимая с плеча болтливое Турсуна свои дрова. – Вот тебе твоя десятка за труды, и будь здоров.

- Какое здоровье, приятель! Я, как и ты, болен. Я, как и ты, такой же безнадежный рифмоплет. Накинь десятку, коллега.

- Бог подаст, – раздражимо ответил Алыкул, порываясь уйти.

- Где же твое убежище, Алыкул. Даже показать не хочешь. А когда тебе приткнуться было негде, ты ночевал у меня. Не гнушался. Даже от водки не отказывался. Помнишь?

Они стояли у перехода через железнодорожное полотно, и каких-либо особняков растерявшийся Турсун поблизости не видит.

- Зазнался, Алыкул. Как говорят русские, из грязи да в князи? Раньше таким не был.

- Зазнался. Раньше таким не был. Хорошо, что так сохранился. А ты всегда сохранишься, с чем я тебя и поздравляю.

Бросив вязанку дров у печки, откашлявшись и отдышавшись, Алыкул принялся распутывать узлы веревки. Задумался. Оставил узел неразвязанным, пошел к столу, вслушиваясь в зазвучавшие в тишине комнаты строки.

Ты пишешь, что тебя свалил недуг,  
Что, словно мой, стал немощен твой дух.  
Постой, дружок. Не повод для сравнений –  
В одном, дворе – бессмертник и лопух.  
Зачем меня, не выбирая слов,  
Ты счел больным? Я и сейчас здоров.  
Я не болею. Я тружусь, как прежде,  
И сколько новых написал стихов!  
Зачем в беде себя роняешь ты?  
Зачем со мной себя ровняешь ты?  
Я друг, как прежде, Пушкину, Шекспиру.  
А кто твой друг? Не скажешь ли мне ты?

\* \* \*

Стук в дверь. Резкий, уверенный. Алыкул неохотно встает с кровати, срывает с гвоздя висевший на стене расшитый золотом бухарский халат. Пышные позументы еще более оттеняют худобу и бледность Алыкула, аскетичность его холостяцкого жилья.

Алыкул откидывает дверной крючок, распаивает дверь, не спрашивая разрешения, в комнату стремительно входит человек в униформе работника НКВД. Сухое, желчное лицо. Короткие, отрывистые вопросы, на которые сам и отвечает.

- Гражданин Осмонов? Даже дома в байском халате ходите? А в анкетном листке пишете, мол, из бедняков, из детдома, сирота. Казанская. Сейчас все, кого ни спроси, – из детдома. Из бедняков. А копни поглубже – там такое... Ну ладно, это потом. А теперь скажите, с какой целью у Вас была назначена встреча на привокзальном рынке с гражданином Турсуном Абдрасуловым, который ныне арестован, находится в следственном изоляторе и дает в данное время признательские показания?

- С кем, кем? Абдрасуловым?



- Ах, да это Турсун? А в чем дело?  
 - Вопросы мы задаем. Что Вы можете сказать об этом Турсуне.  
 - Да ничего особенного. Что о нем говорить. Ну пытается что-то сделать.  
 - Пытается. Знаем. А что именно пытается?  
 - Он сам не знает. Вот хочется ему, и все. А больше ничего нет. Не дано. Понимаете.  
 - Понимаем. А вот он более разговорчив, особенно по Вашему адресу.  
 - Это его право.  
 - А как так получилось? Люди месяцами добивались работы в редакции и получали отказ. А Вы только приехали – пожалуйста. Даже общежитие дали. У нас сотрудники годами углы снимают, а вам, пожалуйста. А Вы даже ушли оттуда. И работой манкируете. К Вам начальство Ваше на дом ходит. Интересная картинка получается, да? А вот Ваш отец, Осмон, он где?  
 - Он погиб.  
 - И где это так?  
 - Он был охотник. В горах попал под лавину.  
 - И где его могила?  
 - Его не нашли. Могила нет.  
 - Тоже интересно. Могила нет, а все знают, что он погиб. А Ваша матушка? Тоже под лавину попала?  
 - Моя матушка заболела после гибели отца. Ушла из дома искать его. И пропала.  
 - А Вы ничего не помните. Маленьким были.  
 - Да, я был маленьким, как это ни странно.  
 - Вот именно. И сами поехали в детдом, сами устроились...  
 - Ну почему, мир не без добрых людей.  
 - А кто ж эти добрые люди?  
 - Дядя Бакыт.  
 - Он, конечно, уже умер?  
 - Да, умер. А в чем дело?  
 - А вот это мы как раз и хотим узнать. Кстати, и Ваш орден... Другие тоже пишут стихи. А орден у них не видно. А Вы из молодых, и уже... Кому и чему Вы обязаны? А вот Ваш приятель Турсун на этот счет осведомлен... Мы с ним работаем... Не опоздайте...

\* \* \*

Безлюдное сельское кладбище. Где-то поодаль, внизу, – зелень приозерных шлей, курчавина садов, белая россыпь домов, дороги, редкие фигурки людей. Здесь – никого. Только желтая охра выжженных предгорий, выветрелая глина кумбезов, сухой шелест чия. Купола тут и там обвалились, порталы покосились. Росписи полусмыты, потрескались, но кое-что можно еще разобрать – охотников, барсов, всадников, важных чиновников в шляпах на фоне Спасской башни, а то и пирующих на фоне гор и горной речки джигитов. Алыкул неспешно бредет мимо этих видений минувшего, вглядывается в эти свидетельства быстротечности сущего, зыбкости и недолговечности всего земного под вечным небом, по которому вдоль Кунгея и Терскея плывут с запада на восток караваны белопенных кучевых облаков. И возникают строки из стихотворения «А что если?.. Нет, их не читает сам Алыкул. Как и всегда и везде он их просто слышит. Их нашептывают чий, ветер, озерная волна, их надо просто

услышать, и Алыкул слышит их, улыбается им, как встрече с хорошим другом, которого нельзя не приветить улыбкой. Нет, старые кумбезы никак не навевают на него скорбь и уныние. И даже скопище людей на дальнем краю кладбища, где в жаркой пыли совершается печальный обряд чьих-то похорон, никак не отражается на настроении Алыкула и на звучащих для него стихах. Вселенская скорбь о неизбежном и скором конце его никак не касается. И у него на это есть свой рецепт, свои стихи.

– Все гибнет, меняется все, – говорят.  
 А что если я, не меняясь заранее,  
 Возьму и отправлюсь отсюда в Ак-Су,  
 Как только настанет пора угасанья.  
 Возьму и отправлюсь отсюда в Ак-Су.  
 И тысячу лет не приеду ни разу,  
 И стану есть желтые дыни, как мед.  
 Скажите на милость, кому я обязан?  
 Возьму и отправлюсь отсюда в Токмак.  
 И тысячу лет не приеду ни разу  
 Отправлюсь и буду там есть виноград.  
 Скажите на милость, кому я обязан?  
 Возьму и отправлюсь отсюда в Нарын.  
 И тысячу лет не приеду ни разу.  
 И буду там пить я кумыс и айран.  
 Скажите на милость, кому я обязан?

Лучше б он не задавал себе этого вопроса. Кому он обязан? Наверное, обязан. Хотя бы отцу с матерью, а он даже не удостоился поискать их могилы. Наверное, сестре Айым, которой так часто доставалось от ее обозленного на всех Зарлыка, когда Айым старалась защитить младшего братишку от вспышек беспричинного гнева своего бесноватого муженька. Наверное, байке Бакыту, который, бросив все свои дела, повез сироту во Фрунзе, в детдом, да и потом навещал его, разыскивая его, Алыкула, всякий раз с помощью тети Груни. А сама тетя Груня? А он даже, когда вырос, не собрался ни разу ее навестить, а когда собрался, ее уже не было, и он смог найти только покосившийся крест на ее одинокой, забытой всеми могиле.

Все эти видения единым, тесно спрессованным калейдоскопом, кружась, пронесли в его сознании, то повторяясь, прокручиваясь на одном и том же месте, как заезженная пластинка, то замедляясь и укрупняясь в целый эпизод.

Пустой класс. Старые, вкривь и вкось стоящие парты с откинутыми крышками, а в углу класса он, Алыкул, согнувшись над листом бумаги. За окнами – солнце, шум и крик играющих детдомовцев, дождавшихся наконец-таки конца надоевших уроков, а Алыкулу хорошо и одному, наедине с тетрадкой.

Появляется тетя Груня. С ведром, шваброй, она протирает полы, ставит на место парты, постепенно добираясь до последнего ряда, где сидит Алыкул.

- Ну показывай, что ты тут накропал? Да не стесняйся. Покажи. Читает сосредоточенно, вдумываясь, покачивая головой, но со словами не спешит. Потом достает из кармана халата связку ключей, протягивает Алыкулу.

- Сейчас вторая смена придет, иди, если хочешь в библиотеку. Только запришь и никого не пускай!

- Какой ключ, большой? – обрадовано вскакивает Алыкул.

- Большой, большой. Я потом найду.

Алыкул уносится, и когда в дверях оглядывается, то видит, как эта старая, грузная женщина смотрит ему вслед.

Библиотека – это громко сказано. Маленькая комнатка, несколько полок потрепанных разношерстных книг, колченогий стол, заляпанный химическими чернилами. Но для Алыкула – это целый мир. Он поспешно запирается, откидывается на спинку стула и восторженно обводит глазами доверенное ему богатство. Он не роется в книгах, не ищет неизвестно что. Он тут уже все знает. И нужная, еще недочитанная им книга сама открывается на вложенной им закладке. –Старик! Я слышал много раз, Что ты меня от смерти спас. Зачем? Угрюм и одинок Грозой оторванный листок...

К вечеру – условный стук в дверь. Алыкул радостно открывает – так и есть, тетя Груня. Из своей объемистой странной сумки с ремнем через плечо она извлекает кумган с горячим чаем и узелок с пирожками.

- Ой, пирожки! – восхищенно шепчет Алыкул, – с картошкой? С капустой?

- Не отгадал, – улыбается Груня. – Сегодня бог послал яблок. Начинается привычный для них вечер вопросов и ответов.

- Теть Грунь. Все спросить хочу. А что за сумка у Вас такая. С крестом. И шапочка была. И шинель помню. А где шинель?

- О, вспомнил. Продала я ее давно. Есть надо было.

- А откуда все это? Вы служили в солдатах?

- На германском фронте. Сестрой милосердия.

- А что такое милосердие?

- А ты вслушайся в это слово и поймешь.

- Теть Грунь, а почему киргизских книг тут мало?

- А их вообще пока мало. Вот подрастешь и напишешь. И забудешь потом тетю Груню.

- Я не забуду. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...

- Ну хорошо – хорошо, не забудешь. Как что-нибудь напечатаеть – сразу покажи, хорошо? Обещаешь?

- Обещаю.

- Ну ешь, ешь, а то остынут.

- «Крестьянская правда» есть? За сегодня?

Из крошечного окошка газетного киоска высовывается, как из дупла, лысая голова киоскера.

- Допустим.

- Дайте... Алыкул на мгновение замешкался. – Десять экземпляров.

- Ого! Там что-нибудь интересное?

- Давайте сколько есть.

- Минуточку. Извините, молодой человек, но у меня только четыре осталось. Так что там интересного? Сдачу, сдачу, молодой человек, нам чужого не надо...

Алыкул на ходу развернул газету. Ветер чуть ли не вырвал ее из рук. Пришлось присесть на скамейке. Но читать неловко. На скамье расселись какие-то бабки, старики, только и заметил, что стихи есть. Груне Савельевне». Сложил газеты, решительно зашагал. В вестибюле старого барака его остановил инвалид-вахтер.

- Куда, молодой человек?

- Здесь был детдом. Не знаете, куда он переехал?

- О-о, вспомнил... Не знаю, не знаю. Мне не докладывают.

- Тут сестра-хозяйка работала, Груня Савельевна...

- Так-так...

- Может, подскажете, где ее найти?

- На кожзаводе.

- Вы шутите?

- Какие шутки. Все там будем. На кладбище.

- А где там?

- Вот там и ищи...

Зашел на кладбище, потерянно побродил среди крестов и безымянных, заросших бурьяном могил, вернулся к воротам, к сидящим там бабулькам, продающим цветы. Спросил у одной, у другой, пока ему не указали на ту, которая вроде бы знает. Купил у нее цветы, дал лишнюю бумажку, бабулька приободрилась, повела.

- Не сумлевайся, милый, не сумлевайся. Вот это Груня, как раз и есть, – указала она на безымянную могилу; ни надписи на кресте, только бурьян и расколотая надвое чайная чашка.

Когда бабка, перекрестившись, удалилась, Алыкул присел на соседний холмик, сложил газету вчетверо так, чтобы были видны стихи, расчистив от бурьяна клочок земли, положил туда газету, придавил половинкой чашечки, что он еще мог сделать?

## Груне Савельевне

Из рук меня кормила ты, бывало.  
Сластями, словно сына, баловала.  
– Ах, бедный мой, – твердила ты, – как слаб?  
И на рассвете для меня вставала.  
А я стихи писал, не уставая.  
Зачем и как – не ведая, не зная,  
И ты печалилась. –Передохни, сынок!  
И плакала, как будто срок мой зная...  
Я далеко. Я жив еще, родная.  
Прости, что не пишу, не приезжаю.  
Слезой матери была твоя слеза,  
Хоть ни отца, ни матери не знаю...

\* \* \*

На привокзальном базарчике можно было купить все, что угодно. И дрова, и рафинад кучками, и махорку стаканами, и семечки в газетных кульках. И даже патефон. Безногий калека, заросший седой щетиной и пьяный, отдавал его за бутылку водки и булку хлеба. Правда, в придачу отдавал и пластинку с романсом Вертинского «В бананово-лимонном Сингапуре».

- А оперы «Евгений Онегин» у Вас нет? – спросил у него Алыкул.

- Ты, мальчик, – обозлился почему-то инвалид, – или бери или уматывай, пока я тебя костылем не благословил. Остричь он еще будет, грамотный стал!

Алыкул достал деньги.

- Вот на водку. Вот на хлеб. По рукам?

- Ты смотри-ка, – изумился инвалид, – по рукам. Пластинку-то забери.
- Мне она ни к чему.
- А мне теперь на хрена? Сейчас выкину. Алыкул взял пластинку и пошел прочь.
- Эй парень, – закричал инвалид, протягивая ему замызганный спичечный коробок, – чуть не забыл. Держи.
- Что это? – остановился Алыкул.
- Как что? Иголки. Будь здоров.
- Спасибо.

Алыкул видит себя у дверей старого пишпекского дома со ставнями и наличниками, которые еще сохранились вдали от центральных, заасфальтированных улиц. На стук дверь неожиданно открыл некий гражданин, возраст которого затруднительно было определить из-за окладистой русой бороды, венником лежащей на белоснежно-чистой манишке. Галстук-бабочка. Черный вечерний костюм на фоне покосившегося деревянного крыльца дряхлой нишпекской халупы. Алыкул растерялся. Все это было совершенно непредсказуемо. Тем не менее поздоровался, запинаясь, сказал:

- Здравствуйте. Я хотел бы видеть главного музыкального редактора киргизского радио товарища Долгополова.

- Здравствуйте, товарищ Осмонов. Товарищ Долгополов имеет честь пригласить Вас в свои апартаменты, – не без церемонности сказал бородач.

Он посторонился, давая возможность Алыкулу пройти в прихожую, но Алыкул приостановился.

- Откуда Вы меня знаете? – Не без растерянности спросил Алыкул.
- Ну мне как бы и по должности положено. Везде успевающий поэт, орденосец, а у нас городок-то маленький, все знают все обо всех. Так что прошу прощенья.
- Вам нравятся мои стихи, – вдруг неожиданно для самого себя спросил Алыкул.
- Я их не читал, – с обезоруживающей искренностью ответил Долгополов, – понимаете, я, к сожалению, не знаю киргизского языка. На том уровне, чтобы судить о стихах. А говорить о стихах по изложениям московских переводчиков – я бы не решился. А сейчас мне достаточно и того, что Вы меня посетили. Чем могу служить? Дело в том, что я собрался было идти на работу.
- Разговор продолжался уже в комнате, все стены которой были уставлены стеллажами с грампластинками. Впрочем, пластинки были везде.
- Мне говорили, что Вашей коллекции пластинок нет равной в городе, но я не представлял, как это выглядит, – растерянно осматривал необычный интерьер Алыкул.
- Товарищ Осмонов, – попытался вернуть поэта к прозе дня Долгополов, – я не имею обыкновения опаздывать на работу. Что Вы хотели?
- Мне надо послушать оперу «Евгений Онегин».
- А-а... Я слышал, что Вы занимаетесь переводом этого романа. Дерзкая затея. Вам сколько лет? Впрочем, это не важно. Хотите послушать оперу? Приходите как-нибудь, я поставлю, будете слушать.
- У меня есть патефон. Я хотел бы дома...
- Это исключено. Если у меня и есть это собрание – то только потому, что «на вынос» я не даю. Никому.
- Но я обещаю.
- Нет-нет Вы понимаете, сейчас в моде алмазные иголки. А я пользуюсь старыми. Я их сам затачиваю, как надо. Такие иголки щадят пластинку. И она будет жить у меня долго.

Для работы. Вы уж не обижайтесь. Или так. У Вас есть радио? Я включу в программу «По просьбе радиослушателей» нужный Вам акт или действие. Вам какая часть особенно близка? Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит? – неожиданно пропел Долгополов, дружеским жестом выпроваживая Алыкула из своих убогих хором.

- Приходите, буду рад!

Ответить Алыкул не успел. Приступ кашля, который он с трудом подавлял во время всего этого визита, все-таки прорвался и теперь сотрясал все его тело. Он схватился за растущее у крыльца дерево и кашлял, кашлял, хлопая свободной рукой по карманам в поисках платка. Краем глаза заметил страдающее лицо Долгополова.

- Э-э, дорогой Алыкул. Вам не «Евгений Онегин» нужен, Вам нужен хороший врач или уж не знаю, кто ангел милосердия что ли, если б такие были там, наверху...

\* \* \*

Стук в дверь. Алыкул и не пошевелился бы, если б этот стук не был бы таким странным. Он звучал откуда-то снизу, не от уровня ручки, где бы стучал обычный человек, а чуть ли не от пола. И Алыкул поднялся. Открыл дверь, но перед ним никого не было.

- Я здесь, – раздался хриплый голос. Алыкул опустил взгляд и увидел давешнего инвалида. Тот прикатил сюда на маленькой, сколоченной из необструганных дощечек платформе, оснащенной четырьмя шарикоподшипниками. В руках у него были деревянные, которыми он отталкивался от земли.

- Можно к тебе? – спросил человеческий обрубок, – не противно?

- Заходите, заходите, – сказал Алыкул не без растерянности. – Вам помочь?

- Мне-то? Ха, мне никто уже не поможет. Даже я сам. Но не о том речь. Я вот о чем. Ты-то патефон взял, а я полез дома в тумбочку, а там пластинки. Довоенные еще. Побитые. Тогда любили все крутить. И оперу, и оперетту. Смотрю – опера «Евгений Онегин». Вернее, из оперы. Ария Ленского. Вот, думаю, гадство какое. Человек спросил у меня по-хорошему, а я чуть не набросился на него. А все почему? Ты-то ходишь, гуляешь, а я червяком по земле ползаю. А почему ты на фронте не был? За кого спрятался? За какую бронь?

- Я не прятался. Я приходил на призывной пункт. Меня не взяли. А лучше бы взяли. Лучше бы там погиб, чем тут оправдываешься перед каждым.

- Э-э, ты осторожней. Я не каждый. Я из пятой ударной армии, ты понял? И все!

Он полез в противогазную сумку, висящую у него через плечо, достал оттуда пластинку в драном пакете, бутылку, заткнутую скрученной из бумаги пробкой, горбушку хлеба.

- Стаканы есть? Давай. Хочу с тобой выпить. У каждого свой крест, и кто знает, чей легче. Но уж не мой, это ты мне поверь. Я б с удовольствием с тобой махнулся бы, не глядя. Я, конечно, в стихах не волоку. А про Иссык-Куль, про горы, про колхозы и новую жизнь – это мне до фонаря. А вдруг – про Груню Савельевну прочитал. И что-то меня зацепило. Была у нас такая в медсанбате. Будь здоров, поэт, и как говорят, – не кашляй.

- Как Вы меня нашли, откуда вообще обо мне знаете, – спросил Алыкул.

- А пацаны все знают. – А, говорят, туберкулезник? Вон, хатка у столба. Все время дома сидит, говорят, стихи пишет.

Традиционный врачебный кабинет. Мертвенная белизна стен и мебели, инструментария и халатов. Пожилой врач с седой эспаньолкой и усталым взглядом моет руки. Он только что

закончил осмотр Алыкула и теперь мучительно собирается со словами, чтобы произнести свой приговор.

- Вы просите меня сказать всю правду, товарищ Осмонов. А я Вам ее неоднократно говорил, только Вы не хотели ее слушать. Вы, как и многие из Вашей братии, преступно относитесь к своему здоровью. Мы Вам предложили в свое время стационарное лечение – тогда еще можно было что-то сделать. Вы попросту сбежали из больницы. Вы проигнорировали амбулаторное лечение и не выполняли наши предписания. Я говорю это не в свое оправдание, мы делали все возможное. Другой с такими симптомами, как у Вас, уже не избежал бы летального исхода, но Вы еще держитесь. Как долго это продлится, я не знаю. Я, видите ли, верю в чудеса, хотя моя профессия не дает мне много оснований для такой веры... И все-таки поверьте и Вы. Быть может, это то последнее, что может Вас спасти. Поверьте, что Ваш организм еще справится. Будьте верующим, хотя бы в этом. И еще. У Вас есть девушка? Ну, жена.

- Нету? Это отчасти хорошо. Для них. Во всяком случае, избегайте поцелуев, других непосредственных контактов. Помните, Вы являетесь активным носителем заразной болезни, поберегите своих близких, товарищей, соседей. Вам придется обречь себя на одиночество, но Вы, как я понимаю, и так не очень компанейский человек. Верно?

\* \* \*

Наверное, памяти, как плохому ученику, вызванному к доске с невыученным до конца уроком, нужна спасительная подсказка, чтобы из этой подсказки, из шепота, несущегося со всех сторон, и из того, что он слышал из объяснений учителя накануне, слепить кое-как снежок ответа.

Да вот и подсказка. В черном квадрате окна – болтающаяся под ветром жестяная тарелка уличного фонаря, а в желтом конусе света, падающем из-под тарелки, – взвихренное кружение крупных снежинок – чем Вам не «Белый вальс»?

Но до «Белого вальса» еще далеко, еще нужно выстоять бог знает сколько времени у толстенной колонны старого тополя, выросшего когда-то у этого арыка, еще в ту доисторическую пору, когда ни этого тротуара, ни утоптанного пяточка перед входом в пединститут, ни самого пединститута не было и в помине. А теперь все это есть. И это чудесно. Какие прекрасные лица девушек проносятся мимо, как небрежно, насмешливо вглядываются они в лица юношей, табунящихся у ступеней подъезда, как радостно вспыхивают взгляды, улыбки, когда на парне задерживается знакомый взгляд, и очастливленный этим мимолетным узнаванием и тем самым выделенный из толпы, и тем самым приглашенный, парень поднимается по оледенелым ступеням вместе с другими счастливыми, имеющими приглашительный билет, в заветные двери.

В дверях непоколебимо стоит вахтерша тетя-Зина и властно отбраковывает тех, кто пытается проникнуть без билета.

- Я тебе толкану, – раскатывается над пяточком ее громкий голос, когда кто-то пытается силой протиснуться мимо нее в вестибюль, – я тебя так толкану, хулиган, дрянь-шпана неумытая, что ты и про Новый год забудешь!..

Молодой Алыкул стоит, прислонившись к тополи, он словно уже пригрелся под защитой его раскидистых ветвей, рядом с обнимающейся парочкой, которой уже никакой вечер не нужен. Сегодня в пединституте предновогодний вечер. И вход только по пропускам, особенно для парней, среди которых могут затесаться и шанхайские, из-за железнодорожной

линии, где издавна живет всякая подозрительная голытьба. Эти шанхайские постоянно закупают у входа в пединститут драки, и лучше их на вечера не пускать.

- Эй, Айдай! – кричит кому-то в вестибюль вахтерша тетя-Зина, – пойдешь, посмотри, нет ли кого из ваших, а то запереть буду. Мне тут тоже гавкать надоело. Домой пойду.

В дверях появилась девушка. В белой кофточке, вся легкая, светлая, такая неожиданная на затоптанном, заледеневшем крыльце. Поскользнулась, ойкнула, но не упала, вглядываясь в заснеженную фигурку Алыкула.

- Эй, джигит, ты кого ждешь? И не дождавшись ответа, убежала.

- Слышь, друг, – повернулся к Алыкулу парень, обнимавший девушку, – ты бы валил отсюда. На вот тебе приглашительные билеты, хоть два. Нам они без надобности. И дуй на елку. Как раз дед-мороз будешь.

Алыкул машинально взял билеты, решительно зашагал ко входу.

- Вот горе еще, – проворчала вахтерша, – и билет есть, выстаивал. Чего спрашивается? Вон, задубарел-то как? Малохольный! Давай, проходи. Всех девок разберут – с елкой танцевать будешь!

Отряхнув снег, бросив пальто и кепку на барьер гардероба, Алыкул пошел на шум голосов. Небольшой актовый зал был забит молодежью до отказа, и он с трудом нашел себе место неподалеку от входа, где можно было приткнуться у стены. На сцену вышла девушка и громко объявила:

– Алыкул Осмонов. Разговор. Исполняют студенты третьего курса русского языка и литературы. Критик – Атабеков. Поэт – Шаршеналиев. Колхозник – Мусаев. Рабочий – Абетеков. Интеллигент – Сабирова. Подросток – Абдыкадырова.

При каждом упоминании фамилии исполнителя в зале раздавался смех, кто-то нетерпеливо хлопал в ладоши, Алыкул вжался в стену, уже сожалея о том, что здесь оказался. Самодельный занавес пополз в стороны, застряв на полдороге, что вызвало новый взрыв общего веселья. Еще больше развеселился зал, когда вся группа исполнителей оказалась на виду. Их костюмы и поведение достаточно читаемо соответствовали сложившимся представлениям об этих прототипах, а оттого, что их роли исполняли свои ребята и девушки, смеху было еще больше. Но вот девушка-ведущая позвонила в школьный колокольчик, и шум стих.

*Критик:*

Скажу откровенно, товарищ, поэт.  
Стихи твои вовсе не так хороши,  
Как ты полагаешь. В них свежести нет,  
В них мысли не слышно, не видно души.  
Приносишь ты мне за тетрадь тетрадь  
И просишь творенья твои оценить,  
А я ничего не могу отобрать  
Такого, что стоило б в сердце хранить.

*Поэт:*

Наверное, критик, ты слеп или глух.  
Тебе не постичь мой возвышенный дух!

*Критик:*

Что ж, спросим читателей.  
Праведный суд.  
Они, без сомнения, произнесут.

К примеру, колхозник. Вот, кстати и он.  
Зал еще не реагирует на дискуссию. Но уже заинтересован, и появление товарища в роли колхозника начинает аудиторию разогревать.

*Колхозник:*

Признаюсь Вам: грамоте я не учен.  
Детей на досуге мне вслух почитать  
Прошу иногда. И смущаюсь в душе,  
Бывает, поэту – всего двадцать пять.  
А книжка, я слышу – седьмая уже!  
Не слишком ли много? – Я думал не раз.  
Не слишком ли прятки поэты у нас?  
И песни люблю я. Пасу ли овец,  
Кошу ли траву – так и хочется петь!  
Мелодию сам я сложил, наконец;  
А где же слова к ней? Кто может, ответь!  
Стихов очень много прослушал я, но  
Душе не созвучно, увы, не одно!  
А старые песни я петь не хочу!  
И... песни без слов про себя бормочу!

Зал неожиданно захлопал, слышались общепринятые в таких случаях одобрительные возгласы.

Девушка-ведущая зазвонила в колокольчик.

*Поэт:*

Что взять с него? Старый, безграмотный дед.

*Критик:*

Поищем другого, товарищ поэт!  
Вот, скажем, рабочий спешит на завод.

*Рабочий:*

В газете стихи увидал я. И вот –  
Читаю: станки громяхают с утра!  
Герои-рабочие! Слава! Ура!  
Не всякий, наверное, и различит:  
Стихи это впрямь или молот стучит?  
У нас на работе штрафуют за брак.  
У вас, сочинителей, разве не так?

*Поэт:*

Неразвитый вкус. В настоящий момент  
Оценит меня только интеллигент.

Интеллигент: (исполнительница Сабирова поправляет очки и капризно надувает губки. В зале смеются. Звучат реплики: Ну-ка дай ему!)

Не знаю, поэты, в чем ваша беда,  
Но мало, так мало в стихах новизны!  
И в «Полном», и в «Избранном» те же всегда  
Знакомые строчки мне сразу видны.

Стандартный набор повторяемых фраз.  
«О мой, Ала-Тоо, родной Иссык-Куль!» –  
Читаешь, зевая, в стотысячный раз.

Полно восклицаний! А нового – нуль. Зал захлопал. Кажется, собравшиеся начали воспринимать инсценировку за настоящий диспут.

*Поэт:*

Надежда моя – на тебя, молодежь!  
Твой вкус не испорчен, твой суд непредвзят...

*Критик:*

Что ж, спросим у юных.

Вот мальчик идет.

Подросток:

Поэты, что славой своею горды!  
Хотя мне всего лишь пятнадцатый год,  
Прошу вас принять меня в ваши ряды!  
Я тоже стихи сочиняю подчас.  
Не хуже, чем некоторые из вас.  
Вот школу окончу – и буду поэт.  
Ведь легче работы, по-моему, нет!

В зале смех, выкрики: О, азамат! – ревет какой-то парень-здоровяк, по-дружески подтолкнув Алыкула. Алыкул улыбнулся.. Ведь это он написал, а кажется, все о нем.

*Поэт:*

Да, грустно. Должно быть, я сам виноват.  
Наверное, стих мой и впрямь слабоват.  
Одно лишь скажу в оправданье себе.  
Немало и трудностей в нашей судьбе.  
Скудны тиражи поэтических книг,  
Поскольку ж весь наш народ невелик.  
О Пушкине, гении русской земли,  
Я думать и думать готов без конца.  
И это само окрыляло певца.  
А я сознаю. Не для многих пишу,  
И это мне горько. Поверить прошу.  
Винюсь: опускаются руки порой  
И стих получается вялый, сырой.

*Критик:*

Ах, стало быть, Пушкин во всем виноват?  
Народ виноват, что твой стих слабоват!  
В столице живя, ты дорогу забыл  
К народным истокам, в отцовский аил,  
Высоким призваньем своим не кичись.  
Учись у народа, у жизни учись.  
Лишь если наполнена жизнью строка,

Ее сохранят благодарно века! Зал захлопал, засмеялся, пополз занавес. Ведущая зазвонила в колокольчик.

- Дорогие товарищи!

К моему немалому удивлению, я вижу в вашем зале автора этой замечательной инсценировки, самого поэта Алыкула Осмонова. Это тем более приятно, что он пришел сам, мы его не приглашали из-за нашей скромности, а теперь давайте похлопаем и попросим дорогого Алыкула почитать свои стихи.

Все захлопали, начали оглядываться, выискивая взглядом Алыкула, а он был готов провалиться под землю, начал порываться выбраться из зала и тем себя выдал.

- Да вот же он, – заорал парень-здоровяк и дружелюбно снова толкнул Алыкула в бок. – Поэт, на сцену!

Деваться Алыкулу было некуда. Да и разбитная ведущая уже пробилась к нему и, охватив за рукав, весело потащила к подиуму.

Алыкул собрался. Выждал паузу, словно выбирая, что прочесть и, кашлянув, разведя руками, с улыбкой прочел:

Я пришел, а тебя, ненаглядная, нет.  
Для меня ты – луна, ее сказочный свет.  
Что мне делать, печалиться я не привык.  
Разве мало на свете случается бед?  
Ладно, я подожду. Обуздаю мечты.  
Ведь и летом цветут, как весной, цветы.  
Поважнее любовных бывают дела –  
На отраду посевную уехала ты.  
Знаю – надо, родная. Трудись веселей.  
Заработай побольше своих трудодней.  
Пусть, питаясь тем хлебом, что сеешь сейчас,  
Где-то вырастет парень меня поумней.

Залу понравилось. Захлопали. Засмеялись. Подбежала ведущая.

Дорогой Алыкул, я должна поцеловать Вас за такие стихи. Думаю, что все наши девушки меня поддержат.

Чмокнула Алыкула в щеку, захлопала в ладоши.

- Ты мне обиду нанесла, – ответил Алыкул, – экспромт.

– Таким обидам нет числа. «Я за стихи тебя целую», –  
Ты мне сказала, Бюбюра. Целуй, Бюбюш, не каждый стих.  
Целуй лишь лучшие из них. Я ж не настолько совершенен,  
Чтоб стать достойным губ твоих.

Ведущая кокетливо погрозила пальчиком:

- Бис! На бис, пожалуйста! Бис, бис! – завопил зал.

Не из колодца, нет, из родника.  
Крылом качается свободная рука,  
И девушка, словно вода, светла.  
Вода в ведре – обычная вода.  
Но не знавал хмельнее я питья.  
Хмельна, как наши дни. Качаюсь я,  
Как на волнах качаются суда.

- Танцы! – закричала ведущая. – Как на волнах качаются суда! Парни начали сдвигать столы и скамейки, громоздить у задней стены зала. На авансцене появился маленький столик, на него дежурные водрузили патефон и стопку пластинок. Кто-то крутил ручку патефона, кто-то отстаивал свой выбор пластинки. «Рио-Рита»? «Брызги шампанского»? Лишь бы не вальс. Вальс умели танцевать немногие. И тут ситуацию в свои руки опять взяла ведущая. Она объявила:

- Белый вальс! Что это такое, мало кто знал. Но девушки оказались решительней парней. То один, то другой юноша оказывался вовлеченным в веселый водоворот не то фокстрота, не то вальса, и Алыкул даже как-то успокоился – уж теперь-то о нем забудут. И тут он в смятении увидел, что ведущая направляется именно к нему, и это была та самая девушка в белой кофточке, которая выбежала на оледенелое крыльцо пединститута, высматривая, не остался ли кто на улице из «своих». Кажется, вахтерша тетя-Зина назвала ее Айдай. Девушка весело, словно узнавая, взглянула в лицо Алыкула и взяла его за руку:

- Разрешите Вас пригласить на белый танец?

- Я не умею, – сказал Алыкул, теряясь.

- Я тоже, – сказала Айдай. – Но Вы же мужчина. Ведите меня. Все очень просто. Ведите. Раз – два-три. Раз-два-три. Вот видите, получается. Все просто...

Так удивительно просто... Еще вчера совсем чужие, незнакомые люди, еще вчера – увидел, прошел и забыл. А сегодня – самый близкий, самый необходимый человек, ежесекундно возникающий перед глазами души, где бы ни был, под каждый шаг. Вот оно, это прекрасное лицо – оно возникает то в мягкой круговерти снегопада, когда снег идет крупными хлопьями, то в белой пурге тополиного пуха, то в сверкающих солнечной улыбкой каскадах горного ручья, то в блеске иссык-кульской волны, с тихим шелестом набегающей на отполированный прибором песчаный берег и тут же отступающей, чтобы вновь и вновь подступить к самому сердцу накатами воспоминаний о том, что было, чего не было, а может быть, и не будет.

А что было? Да ведь он давно и прекрасно ее знает, эту девушку. Хотя бы по тем встречам взглядов в читальном зале городской публичной библиотеки, куда она всегда приходила в одно и то же время, садилась за один и тот же стол, и когда она отрывалась от книги или от общей тетради своих конспектов и поднимала голову. Она смотрела в зал так внимательно, с таким ожиданием, словно надеялась встретить именно его взгляд, именно на том месте, где он обычно сидел с тех пор, когда увидел ее. Он так и сидел, через два ряда столов и напротив, чтобы можно было встречать ее взгляд, а встречать на таком расстоянии, чтобы не было слишком близко и слишком страшно. И как тогда не звучать в душе пушкинским строкам:

Когда б надежду я имела  
Хоть редко, хоть в неделю раз  
В деревне нашей видеть Вас,  
Чтоб только слушать ваши речи,  
Вам слово молвить  
И потом все думать, думать об одном  
И день, и ночь до новой встречи.

А когда ее не было, и по часам становилось ясно, что она уже не придет, он захлопывал своего Пушкина, собирал свои записи и выбирался из враз потускневшего для него, тесного и душного читального зала.

И потому тогда на пяточке у входа в пединститут, когда она бесстрашно выбежала в белой кофточке в снежную круговерть взглянуть, не осталось ли у старого тополя кого-то из «своих», он ждал, что она увидит его, узнает, позовет с собой. Не узнала. Не увидела. А он никаких знаков, чтобы обратить на себя ее внимание, выказать себе не позволил. Другие парни это за просто делали. И безуспешно. А он отмолчался. Он был почему-то уверен, что та, которая ему так нужна, узнает его и без каких-то пошлых заигрываний. Не узнала. Тем неожиданней и желанней стал для него белый танец. Тем и ярче, и многозначительней стали теперь эти виденья, когда она была совсем близко, почти в его объятиях, хотя, конечно, это были никакие не объятия, как у тех, что у тополя, к которому так неистово прижимал парень свою подругу.

- Все просто. И раз-два-три, и раз-два-три...

Комната в студенческом общежитии, в отличие от обычных, маленькая, на две кровати. Посредине – небольшой стол, за которым, расчистив себе уголок от посуды и всякой всячины, сидит за своими бумагами Алыкул. Без стука открылась дверь, Алыкул поднял голову.

- Айдай! Ты откуда? Что случилось?

- Алыкул! Укради меня! На меня завтра накинут платок, понимаешь? Друг отца Джамгерчи уже пригнал своих обещанных овец, меня продают! Уже приезжал сын Джамгерчи Эстебес! Мои дни сочтены! Укради меня, Алыкул!

- Как это, укради? Подожди немного. Я подписал договор, я должен сдать через неделю рукопись новой книги. Появятся деньги, и мы уедем, куда хочешь, хоть в Москву.

- Алыкул, наверное, мой отец прав. Ты мужчина или нет? Укради меня сегодня, сейчас. Или ты сядешь писать в номер стихи о любви? – О, Айдай! Все звезды мира твои! Что там еще у тебя, Алыкул?

- Ты напрасно смеешься. Стихи – это моя жизнь.

- Конечно, Алыкул, конечно. Извини меня, глупую. Я кто? Я обычная, смазливая девка, извини...

- Айдай, куда ты? Ну так же нельзя, Айдай...

Как самое позорное видение прожитой жизни он будет вновь и вновь вспоминать эту сцену – не бросился, не догнал, только привстал из-за стола, но тут в дверях появился сосед по комнате – разбитной и улыбчивый здоровяк Усенгазы.

- Что это она, Алыкул?

- Да так. Ничего особенного.

- Вот и я о том же... Ничего особенного, а форсу – хоть в ноги ей падай.

Усенгазы захохотал и плюхнулся на свою кровать. Затем продолжил. Он явно был в прекрасном настроении.

- А вот твой любимый Пушкин тоже мудро сказал: – Чем меньше женщину мы любим, тем больше... Что там дальше, Алыкул?

Алыкул не ответил.

У кассы издательства «Киргизстан» табунилась небольшая очередь. Никто не спешил, все были благодушны в предчувствии получения заработанных денег, шутили, похохатывали, и когда появился Алыкул – все тот же завсегдатай Турсун попытался пропустить Алыкула вперед. Кто-то шутливо завозражал:

- Не пропускайте его. Всю кассу унесет.

- Вы по какой ведомости? – высунулась из окошечка кассирша, – по Шекспиру даем, по Руставели, за Шахнаме...

Алыкул сгрел деньги в портфель, не считая, прошептал «спасибо», пошел по коридору к выходу. У дверей его догнал Турсун.

- Плохо себя чувствуешь? Проводить?

- Проводи, – смирился Алыкул. На улице моросило.

- Алыке, погода шепчет. Может, возьмем чего-нибудь? С гонорара-то?

- Возьми, – сунул ему деньги Алыкул.

- Что взять-то? Гуляем? Или как?

- Что хочешь. Мне все равно.

Пришли к Алыкулу домой. Растопили печь. Турсун занялся снедью.

Алыкул вспомнил о патефоне. Пластинка, которую принес инвалид, оказалась действительно заезженной, но сквозь скрежет и треск все-таки прорывалось знакомое, даже с повторами на выбоинах.

И память юного поэта

Поглотит медленная лета, лета, лета...

- У тебя ничего другого нет? – насупился Турсун. Алыкул поставил Вертинского.

– В бананово-лимошом. Сингапуре, – пуре, пуре

Когда поет и плачет океан...

- О, это пойдет, – одобрил Турсун, – за что пьем?

- За отъезд. Ты можешь найти машину?

- Купить?

- Нет, для поездки. С водителем. – Куда?

- На Иссык-Куль.

- Куда именно?

- Вокруг. Дня на два.

- Когда?

- Завтра.

- Я поеду?

- Нет. Ты будешь мешать.

- Тогда машины не будет. Ищи сам.

- Ладно, поедешь. Только молча.

- Я понял. Надо, так надо. Я пошел? – Иди.

- А аванс?

- Возьми.

И Алыкул остался один.

Печь погасла. Пить не хотелось. Пересел за письменный стол.

Вчитался в лист с недописанными стихами. С выражением, как прочел:

Поэзия,

Ты счастье мое, мера всех моих сил,

Тебе, как влюбленный, дарю весь мой пыл.

Из плоти души своей создал тебя.

И прежде чем ту, что люблю, полюбил.

Ты светишь в ночи путеводной звездой,

До смертного часа я буду с тобой.

Перо мое – гордость и славу мою –

Не купит никто никакою ценой.

Сморщился, как от зубной боли, сгреб в кулак, отшвырнул к печке. Потом поднял, открыл печную дверцу, бросил бумажный комок на остывающую золу. Комок распрямылся, вспыхнул, догорел, и пепел рассыпался.

\* \* \*

Турсун все организовал в лучшем виде, и всю дорогу, как и обещал, молчал. Рот открыл только в Боомском ущелье. Вытащил из кармана сборник стихов Алыкула и начал читать:

-Дорогой из Фрунзе в Рыбачье  
Я был, не шутя, озадачен.  
Смотрю – нет пятнадцати гор.  
Из Фрунзе к Тянь-Шаню я еду,  
Глаза проглядел – нет и следу  
Не видно знакомых мне гор.

- Останови машину, – попросил Алыкул водителя.

Тот притормозил. Алыкул вышел из машины, хлопнул дверцей, пошел по дороге.

- Алыке, – выскочил вслед за ним Турсун, – ты что, шуток не понимаешь? Алыкул молча шел по обочине.

- Алыке, ну прости. Ты сам что оперу обо мне наговорил? И что я такой-сякой, и Бог мне не дал. Вот я и обозлился. Что ж ты сам плохие стихи пишешь, если тебе Бог дал?

Алыкул остановился.

- А ты что обо мне наболтал, когда признательные показания давал в КПЗ?

- В каком КПЗ, какие признательные показания? Алыке, хлебом клянусь, ничего этого не было. Ты что, не знаешь, как людей стравливают! Разделяй и властвуй! Понятно? Сейчас под Жусупа копают, скоро перевыборы в правлении, а это он тебя протезировал. И он был прав, тебя надо было поддержать. Алыкул, я себе цену знаю, но ума у меня хватает, чтобы оценить по достоинству тех, кому больше дано. Я не завидую. Я искренне люблю Алыкула Осмонова, я его понимаю. Хочешь, я почитаю Осмонова, из того, избранного, что я отобрал для себя?

- Почитай, – начал отходить Алыкул, не умевший долго сердиться, – если тебе так хочется. Что, наизусть учил? Я и то не все помню.

– А я не учил. Сами запали:  
Я торопливый тот корабль, который, бросив дом-,  
Прошел сквозь бурю и волны не зачерпнул бортом,  
И слишком рано в порт пришел, и – море за спиной.  
Стою на этом берегу, а молодость – на том.  
Я торопливый тот орел, я беркут быстрый тот,  
Что слишком рано, па заре, закончил перелет.  
Осталась молодость навек в затерянном краю  
Отвесных скал, зеленых гор, обветренных высот.

Турсун запнулся, и в чтение вступил Алыкул:

Совсем не думал я о том, что молодость прошла,  
Простился, словно бы за ней еще одна была.

Оставил бедную в слезах, ее не приласкал.  
И не коснулся в черный час высокого чела.  
Последний куплет читали дуэтом.  
– Когда мы были вместе с ней, мы были хороши,  
От старости не убережь ни плоти, ни души.  
Но молодость моя живет, играя, веселясь.  
Там, посреди орлиных гор, в заоблачной глуши!

Дочитав, они громко рассмеялись, хлопнули ладонь об ладонь.

- А, хорошо!

- Хорошо, Ничего не скажу. Давай выпьем!

- Давай. Иван Васильевич, подъезжай!

- А я уж разворачиваться хотел. Что, мне делать нечего – за двумя придурками плестись, – проворчал пожилой водитель. – Много будет таких остановок?

- Как получится, договор о двух днях, а за два дня чего только не может прийти на ум.

\* \* \*

Пришло на ум встретить сумерки у Пришиба, на северном берегу. Терскей за озером сиял, как царская корона, хотя как сияет царская корона едва ли можно представить.

- Ты великий человек, – сказал Турсун. – Если б у меня и были б деньги, я бы не придумал такого жеста.

- А это не жест, Турсун. Это давно написанные стихи. И ты, может быть, знаешь, о чем я говорю.

И стихи прозвучали. Как? Это уже не имеет особого значения.

Покой в душе. И на сердце – весна.  
Привет тебе, родная сторона!  
Какая ночь... Как озеро сверкает,  
Как хороша волшебница луна.  
Куда ушла вчерашняя печаль?  
Мерцанье звезд, вода, степная даль –  
Здесь все мое... Мой взор здесь все ласкает.  
Мне расставаться с этим будет жаль.  
Брожу всю ночь в плену крылатых грез,  
Как будто с плеч я сбросил тяжкий воз!  
И улыбаюсь... Так, как только дети  
Умеют улыбаться после слез...

Накатывает мягкая волна на плоский берег. Звенят цикады. Меркнет закатное зарево на прозрачно-белых клыках Терскей. Земля отходит ко сну.



## ÑĚĪ ÂĪ Î Ā ĀĀÒĪ ÐĀ

Патриаршие пруды дядюченковской документальной прозы чисты и глубоко...

Поражает многообразие запечатленных им героев: Семенов-Тянь-Шанский и Поярков, Фетисов и Чуйков, Юдахин и Убукеев, Хуриев и Ахунбаев, Серый и Океев... Без того, что написано им об этих замечательных людях, наше представление о них было бы столь же ущербным, как лик неполной Луны...

*Александр Иванов*

## ЕВГЕНИЙ КОЛЕСНИКОВ

### МАТЬ-И-МАЧЕХА

*Повесть о русских переселенцах*

Я всегда думал: почему люди спешат? Спешат делать какие-то дела, как-то жить, как-то чувствовать. Да я и сам подобно большинству людей спешил. Когда явился мне Егор Саламатин – первый лапотный курский крестьянин, пришедший на киргизскую землю – в документах, в свидетельствах очевидцев. – я почти сразу написал повесть «Черная кость». А потом... Замолчал. По этой теме... Замолчал в состоянии: остановиться, оглянуться... И молчал без малого 25 лет. Четверть века... Зато теперь есть «Мать-и-мачеха» – продолжение повести «Черная кость», где в основном действовали курский крестьянин и киргизский джигит, которые жили – не решали эгоистично, каждый лишь в собственную пользу разные свои нехватки, стремления, несовместимости, – действовали сообща, в дружбе – да и как же иначе, коль так распорядилась судьба – жить на одной земле.

*Автор*

И сотвориша ему погреб!  
И сотвориша ему...  
И сотвориша!..

Явственно слышимый, басовитый, судный голос являл себя каждым отдельным словом, звучал неотступно, неостановимо, множился перевальным эхом и в ближних, и в самых дальних горах. Он, тягучий, страждущий, неумолимо упорный, бил в лицо, в глаза, в душу. В лицо, отшельно заросшее; в глаза, слабо, со щелочками смеженные; в душу, старчески, сонливо измаянную. А некопотная лампадка в углу, на полочке, подле иконы, она-то что – явь или бесплотный зрак геенны огненной?..

Одолевая навальную сонь, старик Егор силился уловить, понять, откуда шел этот вышне судный голос, который, мнилось, сотрясал стены и потолок, весь как ни есть дом, всю боготворную землю. Как его – скрюченные годами и земными трудами – пальцы путались в дремучей бороде, так он сам путался все более слабеющей мыслью, где же он покоится: еще здесь, на этом брэнном свете, или уже на том – неисповедимом, но точно-таки бесконечном?

Смежал ли он совсем свои глаза или открывал их, а неизгонимо перед ним стояло – не то сон, не то видение: барская усадьба на косогоре, а потом, вместо нее – могила на подгорке... Барская усадьба с большим запущенным домом стояла на самом гребне косогора, а ниже по косогору шатались деревенские домишки. Отчая Репьянка... Неподалеку в жиденькой роще темнела церковка. На ее каменной паперти востоял поп в белой ризе, с кадиллом, с раскрытой толстой книгой и утробно глаголил: «И сотвориша ему погреб!» И сразу все менялось... Появлялся высокий, открытый подгорок посреди зеленого урочища, на виду хуторка, где были землянка, пригон и мельница – все состояние их, курянина Егора, пришлого на кочевничью землю, и его друга-тамыра, джигита Мамбета. Он, Егор, еще совсем молодой, и тамыр Мамбет, возрастом такой же, убитые внезапным и неизбывным горем – ужасной смертью бугинки Меиз, через силу, посылая небу проклятия, роют могилу, заворачивают бездыханную джигитову невесту в кошму, кладут лицом к заходу солнца, перекрывают яму арчовыми бревешками – делают гробничку, засыпают ее землей, прибивают лопатами. И Егор, кровный – по духу – тамыр бывшего байского раба Мамбета, говорит: «И сотворили ему погреб.., Горе помереть, а закопать в землю – малая долга».

Мамбет, не заходя на хуторок, в землянку, удалился в степь, подкошенно повалился в траву. А что он, Егор? Он наступал чарыками на былинки, которые гнулись, но сразу же упрямо поднимались, и думал: теперь у него есть все для прочной жизни – конь, усадьба, пашня и даже погост, который ему не будет чуждым, делая его жизнь совсем полной, – это горько, но уж такая она есть, жизнь.

А поп на паперти всевышне глаголил: «И сотвориша!..»

И так из ночи в ночь...

Ох-хо! – из какой дальней дали все это приходит?! А вернее, в какую даль все это ушло? В дремучую даль...

Он – дед, старик. Уже давно...

Дремучий.

И что от него осталось?

Будто в молодости, он теранул пальцами глаза, оплывшие старческой полуночной сонливостью, глянул на лампадку ~ она слабо сеяла свой теплый свет вокруг безмолвной, покойной иконки. Неужели есть она, извечно желанная человеку благодать?.. Икона была все та же – о святая богородица! – репьянская, принесенная Егором сюда, в киргизский край, еще тогда, в первый свой – и окончательный приход; она была маленькая, дощечная, еще более почерневшая, с едва заметными остатками краски. Темная суровая богоматерь тогда-то рекла: «Смотри, Егор, крестьянский сын, я благословила тебя на дальнюю дорогу, чтобы ты нашел лучшую долю, теперь сам не оплошай!»

Не оплошал?

Белый свет свидетель: в общем-то шаге по этой земле – нет, не оплошал...

Но что от него осталось? И от этого общего шага... Остались его большое тело, тронутое последним угасанием, крупные руки, не знавшие отдыха, всегдашняя тяга к вольности, и осталась его привычка крутить пальцами завитушки бороды.

Тяжелая под ним перина грела, даже пекла, что твоя настоящая печка. Это снова она, Алена, внучка, устелила топчан старой взбитой периной здесь, в комнате-боковушке, в коей уже давно, много последних лет, жил он, Егор, теперь доподлинно глубокий старец, а некогда – в этом его фамильная гордость – первый российский пришелец на кочевничьей земле. Он давно перестал спать, на перине – пожалуй, с той поры – и опять эдак давно, – когда умерла его вторая, уже здешняя, жена Фрося – такая жена, что и вспоминать-то как?.. Пер-

вая жена, Донька, репьянская бедовуха, умерла, когда в хлеву рожала первенца, – жалко, все ж наипервая, а эта, вторая, Фрося, она-то была иная – нет сил вспоминать, душа замирает, ноет. Она, хлопотливая и отзывчивая, всегда теплилась ко всему – вперворадь, конечно, к мужу, – словно лампадка у иконы: вы, мои ближние, работайте, живите ладно, а я буду всех вас теплить. И как не печалиться о ней – ведь она дала Егору трех сыновей и двух дочерей – немалое семейство, от которого пошли внуки-правнуки. Целый род...

Стискивая редкие зубы, глуша в себе кряхтение он поднялся, сбросил с топчана перину, снизу, на досках, осталось рядно, и он снова лег на это сложенное узким матрасом рядно, как обычно и спал, только прикрыл овчинной полостью ноги в носках из толстой шерстяной пряжи – их ломило; эти ноги, исходившие, почитай, целых полсвета, всегда, сколько он помнил, ломило – чуть остуда, крутило их, будто веретено.

Так-то – он давно перестал спать на перине и пить самогон.

А за стеной, в большой комнате, в горнице, слышно застольничали, хотя было уже за полночь, – старшой сын Тимофей, первый наследник и управитель всего хозяйства – и основной усадьбы здесь, на Тюпе, и заимки на Джууке, где некогда был хутор, – там все долгие годы оставалась мельница и обихаживалась кошара для отгонных овец; вместе с Тимофеем бражничали его погодки и такие же зажиточные хозяева – Серафим Никишин, сын того самого служивого Савелия Никишина, из-за которого и затеялось все дело по переселению курской деревни Репьянки сюда, в далекое Семиречье, на славное озеро-море Иссык-Куль, Михаил Бабанов, отпрыск Анания Бабанова, репьянского мужика, посланного служивым Савелием в края, где уже немало лет жил Егор, – на Джууку, на его хутор... В общем говоре слышались ломаные слова бая Шайбека. Из-за Тюпа... И еще кто? Вроде – по голосу – Митька Абазин. Из комбеда, активист... А этот что здесь – не ровня ни по годам, ни по хозяйству. Однако ему все время долдонит что-то свое Серафим, своенравный, упыристый хозяин – такой, что движимым и недвижимым нажитьем, пожалуй, потянет на помещика. И еще кто-то... Кто? По голосу – незнакомый. Голос – вроде умеренный, но стойко нутряной, самый что ни на есть компанейский, но и вроде повелительный. Этакое своевольного голоса нет в Тюпе и во всей округе. Кто бы это мог быть? Ага, доносится: «Абакум, Абакум...» Снова: «Абакум... Монастырь... Анненков...» Что за Абакум? Откуда такой? И Тимофей ничего не сказал Егору, своему отцу, хотя – пусть там – он, седовласый отец, в последнее время совсем занемог. Не сказал... Это непорядок. А и то... Здесь ли только в своем родном доме, непорядок? Везде – непорядок. Навальный, как дурной сон. Невиданный. Когда-то Егору, давным-давно, в первые годы пребывания в здешних местах, приходилось видеть и переживать непорядок – тогда закуролесило на кочевничьей земле, сдвинулось все, пошло, как могучий оползень, волокущий каменные глыбы, вырывающий деревья с корнями, и уже ничем нельзя было этот оползень остановить. Теперь известно: этот оползень прошел и сдвинул валуны с колесной дороги от Репьянки до Тюпа. Потом был – где-то в стороне, в Андижане, – взрывной, что порох, бунт людей страждущих, до самого нутра обиженных байскими и царскими порядками и отправленных за свое бунтарство этапом на каторгу в Сибирь. Среди них был и он, незабвенный тамыр Мамбет – некогда, в молодые годы, лучший джигит всемогущего манапа Ориона, а затем непокорный раб его бывших подданных, наездник, осевший было на пахотной земле, но сменивший все это на певучий комуз, – стал еще одним бугинским Балдысаном, но уже опасным для властей: «Будь проклята жадность бая и судьи-оруса – она, как камень, которым на весах взвешивают мою жизнь!»

А потом пришел царский «Приказ о реквизиции для тыловых работ инородцев империи». И вспыхнуло восстание во всем Семиречье. И потянулись беженцы туда, за горы, в

Синьцзян – китайское Семиградье. А через полгода свергли царя-батюшку. А вскоре низложили и Временное правительство. Рухнула империя. Настали времена великой смуты.

...Неслышно открылась дверь, и в боковушку, где Егор обитал один, дряхлеющим отшельником, мало куда отлучаясь из дому, со двора, вошла Алена – дочь несчастной Катерины, сгинувшей где-то на этапах со своим ссыльным мужем Матвеем Устюжиным, сирота-внучка, работающая, рано, в тринадцать лет, отправленная на скотный двор, ласковая, в бабку, – самая родимая из всех родимых, коим Егор дал земное начало. Она жила не здесь, не в большом доме с трехкоконной горницей, кухней и спальнями для семейства Тимофея – здесь жить ей не позволяла сыновья жена, сварливая сноха Акулина, да и сам Тимофей, – а бедовала в пристрое, в дощатом приделе подле старой избы, вблизи клуни, в которой хранилось все, что нужно было для пашни – плуги, бороны, жнейка, веялка и разный скарб – поломанные, отслужившие свое сундуки, овчины, колеса, сбруя, серпы. Она всегда по ночам навевывалась к деду Егору – поглядеть, все ли с ним ладно. Еще совсем молодая – двадцатый-то годок, изработанная, худая, но приглядная, она походила лицом на иконную богоматерь над лампадкой – при ее появлении у Егора так и тянулась рука искупительно перекреститься.

- Деда, ты не спишь? – тихо проговорила Алена. – А это что – перина на полу. Болезный, да ты опять сбросил перину?

- И дале буду сбрасывать. Не стели! – приглушенно ворчал Егор. – У меня от нее, вишь, даже кости замлевают.

- Век на топчане, на дерюге.

- Этак привык... Век... Отвековал. Уже без малого девяносто. Во-о!.. Эх-та, годы – что старые колеса: скрип-скрип, а катятся. Тише едешь, дальше будешь. И не заметишь, как скрип – и молчок.

- Ну, тебе еще жить да поживать. Живи, дед!

- И ты живи... – Егор отягченно вздохнул. – Одна ты у меня. И Егорка, правнучек... А остальные – не то свои, не то чужие... Как он там, на кордоне? Тетка не мать, лишней раз не поголубит. Бедачок...

- С заимки передали: Мидин на днях туда ездил. За поленьем. Сказал, что Егорка...

- Помене бы он ездил. Ан прознают про вашего чадушку.

- Так и он всем говорит: приемыш тети Марьи.

- Говорит... Поверят ли?... И что Егорка?

- К тебе просится. Сюда...

- Сюда... Сатанинское наказание – сюда же ему нельзя. Ну никак! Тимофей озверееет. Да и все село. Подобьют, натравят... Найдутся такие, навроде Мишки Бабанова. Залают: от кого малец? От Мидина, саламатинского батрака? От туземца? Ату его, голодрого нехристя! И девку, им споганенную... И ихнего косоглазого последыша! Вот что мне нутро знобит.

- И я уже не могу... Вся изболелась.

- Моги. Пока... Авось прояснеет в краю. Не век же так будет! Наперекосяк!.. А слышь, любушка, – Егор перешел на шепот. – Что это там, кто – растакие бражники?

- Да все свои. А один чужак. Черный такой, хмарный, нос крюковатый. Бает: идет в монастырь.

- Это на Светлом мысу-то?

- Туда.

- Вон как – в монастырь! – Егор поправил подушку, запрокинул голову, чтобы лучше было видеть лампадку. – И мне бы, что ли, податься туда на скончание?

- Ну, туда я тебя не пушу. Укрывайся. Спи! Приди, приди к деду, сон...

- Полегчает, поеду на кордон.

Алена ушла. Застолье за стеной стихло, и памятное былье снова подступило, навалилось на него. Он почти совсем иссяк телом, некогда могучей силой, угас своими синими очами, только борода, вся уже обеленная, отросла, словно патриаршая. А долгое былье, каким бы оно ни было – и горьким, и терпимым, и удачливым, а все-таки равно божеским, осталось с ним навсегда, и этим он теперь живет, длит свое пребывание на выносливой земле. Земля-землюшка! Всё она дала ему и все забирает. Все заберет... Уж, видно, недолго осталось.. Когда-то он, впервые шагая по здешней земле, по озерному берегу, гадал: что она, эта земля, ему уготовит, чем пожалует – оделит богатыми дарами или пустит нищим по миру?

Бакши – колдун и гадальщик – в юрте бугинского манапа Качибека пророчил: белоликий пришелец найдет все, за чем пришел, – заведет себе юрту и скот, будут ему помогать добрые духи, станет он знатным и богатым. Бакши – поклон ему в пояс – угадал...

Вначале-то как было? Егор намеревался получше разведать новые места, добыть денег на обратную дорогу в Репьянку, поведать землякам о том, чего наглядялся, привести их на эту землю и тогда лишь селиться накрепко. Однако он так и не вернулся в Репьянку. Дела затянули его, оплели, как путо стреноженного коня. Ехать – только время терять. Упросил военных в укреплении, чтобы они передали Колпаковскому: мол, надо доставить, как только возможно, в курскую деревню Репьянку весть – пусть собираются и едут. Жили они с Мамбетом своей пашней, мельницей на Джууке и извозом – продолжали ставить хлеб на соседний пикет и на Аксуйский пост. Деньги за помол и извоз приберегали на дальнейшее – более лучшее житье. Когда убрали Джуукинский пикет – за его ненадобностью, так как обстановка в округе поуспокоилась, – жить им на хуторе вдвоем стало пустовато, и они постепенно перебрались на Тюп, туда, где прежде стоял юртовый аил манапа Камчибека; все ближе к Аксуйскому посту, земли и луга здесь побогаче, а что оставили хутор – землянку, мельницу, пашню, – так за всем этим присматривать наняли кедея Нуркалы, отца страдальной Меиз, загубленной кокандским махрамом Бекмуратом. Купили у Камчибека почти верстовой клин, срубили на нем, подле реки, избы – уже отдельно и Егору, и Мамбету – и амбары, обставили, обсадили усадьбы – зажили наново. В эту пору и заявили к ним котомочные мужики Ананий Бабанов и Парфен Абазин, пришли не из какой-то неведомой стороны, а оттуда, из Репьянки. Оказалось, что Савелий Никишин ждал-ждал первого посланца, то есть Егора Саламатина, не дождался, снова добился сельского схода, и опять порешили: отправить туда, за тридевять земель вдового Анания Бабанова и холостого Парфена Абазина. Теперь-то, думалось, будет надежнее – или Ананий с Парфеном, исполняя строгий наказ, вернуться, всё разведавши, или один из них озадачится обратным ходом, или Егор через них даст полную весть, а то и сам объявится с ними. Егор и Мамбет снабдили ходоков дорожным харчем и деньгами и проводили с военным обозом, шедшим в крепость Верный. Оттуда им сообщили, что новые курские посланцы двинулись дальше...хлопотное и долгое то было дело – не один снег сошел с тюпской пашни, не однажды отколосилась нива, пока сюда прибыли репьянцы, да еще и целым гуртом, своим обозом, к тому же во главе с самим Савелием Никишиным. Вот уж было радости...

Соскочил Савелий, шуплый и легонький, с телеги, вскинул руки, веря и не веря глазам своим, точнее, одному, глубоко сидящему в бровной обвислой заросли, полыхавшему огнем возбуждения: Егор ли это, ушедший из их деревни уж много лет назад, он ли – сей больше-рукий бородач?

- Ну, Егорий, родимушка, покажись! Айда батырь! Таки жив? Уже, чай, полный хозяин. А я то и говаривал: томится тутошняя земля по сохе да по косе. Ей пра – томится. Жалковал я: мне-то не судьба. Ан нет, вышло – судьба!

Вечером, уже за кулешом и кумысом – по ту сторону реки ютился аил, откуда снабжались кумысом джуукинские тамыры, – Савелий читал царский указ: «Люди неимущие и недовольные чем, но наделенные послушанием и годные к ремеслу, а случаем и придурковатые, но не буйного помешательства, подлежат переселению в Семиречье при всех дарованных льготах». И сам толковал, добавляя:

- Хм, придурковатые... Про это – как понимать? Это не про нас. Придурковатых среди нас нетути, тем паче буйного помешательства. Что, всех таковых вознамерены выгнать из Расеи? Ловко! На тебе, боже, что нам не гоже... Да всех-то не переселить.

- А тут они для какой нужды? – уточнял Егор, угощая дорогих земляков пенисто-кислым кумысом, к которому сам-то уже давно приохотился. – А что, есть дарованные льготы?

- Льготы нам давай! – Савелий вытирал тряпицей пустую глазницу.

- Деньги на подъем-то уже дадены, – поясняли другие репьянцы.

А самой сущей дарованной льготой оказалось то, что переселенцам выделяли лучшие земли, частью отнимая эти земли, пастбища у кочевых аилов, оттесняя их в горы, на неудобья; горы же с лесами и урочищами стали казенными, и ими никто уже не мог самовольно пользоваться.

Отнимать – льгота?

Это Егору пришлось особенно не по нраву. Но что он мог поделать? В который уже раз... Жизнь, она, известно, – что разливной горный поток. Ее не остановить кетменем или лопатой. Все сметает...

А кетмень, лопата и соха вершили свои дела. Репьянцы обустроивались, обхаживали пашни, заводили скот – рабочий и мясной, основательно сживались с землей, весьма им приглянувшейся – на всю жизнь. Вставало селение – избами, пригонами, банями, огородами. Появлялись другие переселенческие села по всей озерной долине. Среди соломенных и камышовых крыш поднимались церковные купола с крестами. Уже вовсю пулялись свадьбы – шумно, хлебосольно, по-русски, на два села – женихово и невестино. И у Егора Саламатина истаяло давнее сожаление, доходившее до невыносимой тяготы: наших нету, а ваши, здешние, некрещеные.

...Он еще глянул на икону, слабо двинул рукой – осенить себя крестом – и повернулся лицом к стене, чтобы лишне не травить душу всегдашним поминанием – о Ефросинье, взятой им в жены из богатого казачьего куреня под Верным. Фрося... Все же тяжело скрипнул топчан, и большой, мосластый кулак глухо ударил в толстую безучастную стену.

Утро не принесло облегчения.

Странное дело: с вечера, ночью его одолевали думы о том, что и как было у него в долгой, словно степная, едва видимая дорога, жизни, а по утрам наваливались мысли о том, что же наступало в общей жизни, прибывало, заменяя, вытесняя заношенное былье. Он слышал – будто звучало откуда-то с потолка, с неба – новые слова, такие необычные, что их и совсем было не понять, невесть коим образом появившиеся, чуждые его слуху: пролетарская революция, ревком, разверстка, комбеды. А то и похлеще: экспроприация. Не то что понять – не выговорить... «Трескотня! Этак трещит валежник, когда по нему ломится медведь», – его нутро сопротивлялось всему этому, и он терялся, не знал, к чему пристать своей мыслью. В голове все путалось. Земля... Они – те, что за революцию, вроде и они

за землю, но отбирают ее, вырывают из хозяйской руки; они за мирную жизнь, но и они стреляют, убивают; они за общий мирской удел, но и они разобщают: он – батрак, а ты – кулак. Выходит, вороги непримиримые. Что же будет с миром – со всеми людьми, землей, жизнью? Лампадка горела.

Он сдвинул с себя овчинную полость, медленно приподнялся, под топчаном нашарил ногами в толстых шерстяных носках обрезанные головни катанок – вроде бы лапти, погасил лампадку, накинуд мохнатый, но уже совсем усохший, битый молью кожух и вышел в сени; дверь боковушки вела не в горницу, а сразу в длинные сени с кладовкой в другом конце, с выходами на главное – красное, парадное – крыльцо, на улицу, прилегавшую к Базарному кругу или, как ныне именуется, площади, и на внутреннее крыльцо, на обширное подворье с хозяйственными постройками – навесом, амбаром, клуней, колодцем, скотным двором. Егор ступил на малое крыльцо – окатиться ранним солнечным светом, первым весенним теплом, оглядеть небо-синь, горы-снеговики, всю речную поемность. Он осторожно, словно олень-перестарок по уклонному каменистому берегу, спустился с крыльца, обошел усадьбу, остановился на дальнем ее краю, у жердяной изгороди, подставляя лицо свежему нагорному веянию... В округе айльный люд звал его, человека уже издавна для всех свойского, Егор-бугу. Это пошло не только от того, что он связал свое бытие с племенем бугу, жил среди бугинцев, но и от сходства с настоящим оленем. Бугу – олень... И в самом деле, он, рослый, тяжеловесный, сторбленный, да еще с накинудым на плечи покоробленным кожухом походил на матерого оленя со свалывшейся шерстью. Он мотнул обнаженной сивой головой, вздохмаченной на долинном свежаке, – то ли от озноба, то ли от горького сознания, что скоро все это, вставшее перед ним, уйдет от него, исчезнет навсегда. А перед ним – в бессчетный раз! – вставала Тюпская долина, самая плодоносная по всему иссык-кульскому побережью, изрезанному распадками, сухими речными руслами, тянувшаяся к восходу до самого Мустага – снежных гор Кунгея и Терскея, туда, где сходились эти хребты, – и там был перевал Санташ. Несчитанные камни... Путь на сырты, на летовки – летние кочевья. А справа от долины с рассыпанными по ней переселенческими – частью казачьими – селами, а также аилами – среди заречных аилов самым ближним, в распадном урочище, и приметным было айльное владение, зимовка бая Шайбека – поднималась Тамса, особо милая его сердцу, – вольное, на многие версты всхолмье с обильным травостоем, разноцветьем шалфея, вьюнка, мать-и-мачехи, мелким зверьем и звонкими птахами. Сколько там поезжено им и похожено: гляди, не оглядишь всего, вспомянай – всего не упомнишь...

Со стороны распадного урочища, с айльной зимовки, ехали верховые, пересекая поскотину, поднимались на тюпский надречный угор – передний хозяйски сидел на крупном, храпистом коне, в круглом мерлушковом тебетее, в мягких сапогах с расшитыми голенищами, в просторном кементае, покрытом коричневым плюшем и подбитом пушистым зверьим мехом, а другие, теснившиеся табунками по бокам и позади, были на конях послабее и одеты попроще. Егор узнал – это ехали бай Шайбек и его джигиты. Поравнялись, Шайбек натянул поводья.

- Салам, Егор-бугу! – крепким, грудным голосом приветствовал он.

- Салам, грозный соплеменник! – ответил Егор.

Это, таким манером привечаться при довольно частых встречах, они делали вольно как старые, давнишние – уж и не упомнить, с какой поры, – знакомые, хотя ничем особым друг другу и не обязанные.

- Нету тебе сон, Егор? Ак... Белый, а черный... Кара. Туча.

- Быть солнышком-то не от чего. На нас идет – что? Страхи господни... И ты косяком глядишь.

- На тебя нет... Ты орус – вреда нет. Другой орус – жаман.

- Качибек говаривал: жакши киши!<sup>2</sup>

- Бой-бой!.. Камчибек – сто лет... И ты сто раз говоришь. Мы – другой Камчибек.

- По том и печаль моя. Изначальное теряем...

Да не услышаны были его последние слова – Шайбек хлестнул коня камчой, дернул поводья. И все остальные молча, как один, хлестнули камчами и дернули поводья. А Егор стоял, и ему снова явилось перед очами – а чем еще жить старому, можно сказать, древнему человеку, да более всего тем, что было; так вот ему предстало: Качибек, верховный правитель бугинцев, добродушно, даже довольно поглядывает на него, Егора, и одобрительно похлопывает его по плечу: «Жакши киши!»

Не услышали, уехали...

Заржал на конюшне, в отдельном стойле, жеребец – зычно, нетерпеливо, призывно. И впрямь весна, пора в табун... Желанно принимая в душе это ржанье, Егор зашаркал катанками-лаптями к дому. Подобрал валявшийся у клуни железный штырь; на таких штырях вешали конскую сбрую, – вошел в клуню и воткнул штырь в стену, плетенную из поречного тала. Все домашние уже были заняты своими делами: Тимофей – в амбаре, Акулина – в курятнике, их шумливые, выгулянные чада – парубки и девахи – кто под навесом с плугами и боронами, кто по дому, на кухне со стиркой. Алена хлопотала в старой избе, поставленной Егором здесь, на Тюпе, наипервой, уже совсем покосившейся, – в ней жили работники по найму. Тимофей возился в амбаре с семенным зерном – вскоре предстояла пахотная страда.

- Сын, коренной наследник... – заговорил Егор со скрытым укором. – А от своего отца – отгородился. Гульба цельную ночь.

- Да так, батя, – Тимофей уловил отцовский укор. – Посидели. Все – свои мужики.

- Все ли?

- Один – гость. У Никишиных остановился.

Тимофей помедлил, встряхивая мешок. Как и отец, бородатый, мосластый и сивый, что мерин, и сам уже старый – на шестом десятке, – он осипло дышал и не глядел в глаза отцу, и от этого старик еще более настораживался: что за незнакомец?

- Откуль гость? – спросил он.

- Издалека.

- И с чем пожаловал-то?

- Идет в монастырь. Надумал там обосноваться. На житье.

- Не то время, чтобы таким-то, молодым, подаваться в монастырь.

- Он все сам скажет, – понизил голос Тимофей. – Завтра вечером. Соберемся опять же своим кругом. Только, батя, уговор: никому ни... Особенно Моисею. Гляди!

Завтракали поздно, почти к полудню, наработавшись до усталости. Точнее, это был даже не завтрак, а обед – со щами и кашами. Основная же дневная еда приходилась на поздний вечер – тогда уж на столе в горнице бывали и графины с самогоном, и всякое мясное жаренье, и сахар к чаю.

После обеда и недолгого лежанья на топчане в боковушке старик Егор, помогая себе костылем, выбирался на красное – крашеное зеленым – крыльцо с тесовым козырьком и

<sup>2</sup> Жакшы киши – хороший человек.

перильцами, обновленно вздыхал, набирал в себя побольше уличного воздуха, вскидывая накипную белую бороду, затем усаживался на скамейку под березой, что ветвилась перед домом с резными ставнями, с выструганным из доски, тоже крашенным зеленой краской петухом на гребне высокой крыши, и снова принимался оглядывать все вокруг – церковь, свою Большую улицу, занятую усадьбами зажиточных хозяев, проулки, где жили селяне победнее и мастеровые – сапожники, колесники да плотники, Базарную площадь с лабазами, торговой лавкой и коновязями. Часто и подолгу разумный взор его останавливало на самом видном, громоздком доме, стоявшем напротив, чуть наискось – на его крыше, на коньке, выделялось нечто, похожее на плоский – из фанеры – горшок. Этим домом, десятинной усадьбой владел Серафим Никишин со своими братьями, что, верно, было поперва, а после братья отделились и в доме остался один Серафим. На саламатинском доме красовался, как водится, петух, Егор сам его выстругивал из доски, а на никитинском доме был посажен горшок. Всякий раз Егор гадал: почему так, горшок? Не то горшок, не то кулак, более точно – кукиш. Скорее, поди, кукиш и есть. Он-то, Серафим, весь – и кургузой, увальной фигурой, и злобным норовом – смахивал на тяжелый лагун<sup>3</sup> с торчащим носом-кукишем. Вот уж не в ту борозду пошел... Отец-то его, бывший служивый, Савелий Никишин – царствие ему небесное! – он-то был общинной души человек; всю жизнь пекся не столько о себе, сколько о своих сельчанах: кому подсказать, надоумить что-нибудь толковое, кому помочь ведром зерна, охапкой сена или собственным невеликим горбом. А Серафим – не то что дать другому, из чужого горла последний кусок вырвет...

- Здравьете вам, дед Егор!

По улице проходил Митька Абазин, комбедчик, парень ладный, с мягкими, сдавалось, еще ни разу не бритыми усиками, залихватский на все село, гулевой без удержу – хозяйство без отца, малое, а хотенья к вольностям – на десятерых, если не больше. Егор показал рукой: мол, поди сюда. Митька подошел, ковырнул ногтем плотную кору березы, присел на скамейку, но не рядом, поодаль, явно сторонясь.

- Чего, дед Егор? – ершисто начал он. – Опять будешь мне читать прокламации?

- Ничего я не читаю, а умом своим ты дойти должен, – Егор пристукнул костылем о землю. – Деда твоего Парфена я особенно помню. Он третьим, за мной да за Ананием Бабановым, то бишь вместе с ним, пришел на тутошнее озеро. Старался за общество. А ты баламут.

- Мой предок знатный. Можно сказать, исторический, – ерничал Митька. – А вот папаша, скажу, достался!.. Весь в меня. От самогона сгорел. А я от нее, любви проклятушей.

- Не трепись больно-то.

- А то не знаешь, дед?

- Ты что, намекаешь на старое? На Алену?

- Га-ах! А на кого ж еще? Почему тогда, как сватался, не отдал? – в голосе Митьки провралась обида. – И теперь не отдаешь... Я чахоткой битый? Или что? А-а, хозяйство у меня худое?

- Пошто не отдал? И не отдам, – Егор по давней привычке, еще с молодых лет, пальцем крутнул завитушку на бороде. – И не хозяйство твое – поперек. А сам знаешь – шалопутство.

- Не отдали всем домом. Погнушались, чего там говорить! С того-то и пошло мое гулянье. Поехало... С того и колешь меня, кажешь свою дерзость.

- Не скрываю: в черной обиде я на тебя, дед, – Митька истоиво стиснул зубы. – На всех вас, саламатинских куркулей...

- Не потому ль клонишься к Михаилу Бабанову? Ты ж ему не ровня.

- Он обещает отдать мне свою Анютку.

- Не отдаст, – твердо молвил Егор.

- Сказал: отдаст, если заслужу.

- У него? У него – ровно, что у Серафима Никишина. Биться об стену... А та заслуга, что им нужна, не заслуга, а дудеть в их дуду.

- Довольно, дед Егор, – Митька рывком поднялся, перекошил брови. – Анютка – это про запас. А первой мое, заветное, знаешь – твоя Алена. Все равно добьюсь!..

«И нет, не добьешься. Ничего-то ты не знаешь. Про Егорку... А если бы и знал, не добился. А что как узнает! Не он один, а все узнают? Тогда – беда... – Егор остался со своими думами. – Был бы Мидин-страдалец пожестче, сам бы дал всем от ворот поворот. А то мягок... Всяк его обидит. И чего люди не возьмут в толк: пора наконец-то жить всем вместе, одним миром, без всякой печати – тот такой-то, русский, а тот – такой-то, киргиз...»

- Солнышко, а вы что-то хмуры, Егор Ерофеич?

- Беда висит над самыми бровями.

- С весной вас, Егор Ерофеич!

Его редко – и то в последние годы – называли по имени-отчеству; он и сам временами забывал, каково его отчество: так давно умерли отец с матерью, что он их уже и не помнил. А по отчеству всегда его величал Моисей Колодный, телеграфист, пришлый или беглый с Украины, после падения царского трона ходивший в активистах, ныне – председатель волостного комбеда. Он служил на почтовой станции, а ранее – в Караколе, где содержался телеграфный аппарат – связь по прямому проводу между уездами и далее, – и был всегда с важными новостями. Он-то и приветил тихим, тронутым чахоткой голосом:

- С весной вас...

- Благодарствую, Моисей, – охотно отозвался Егор, ожидая более толковой и обстоятельной беседы, ибо Моисей никогда просто так не окликал, не останавливался, не присаживался на скамейку под прозрачным шатерком вислых березовых ветвей. – И тебе весны доброй!

- Должна быть добрая, – на его бледном, землистом лице проступала нездоровая краснота. – Наш-то земляк, товарищ Фрунзе... – Моисей начал копать в кожаной сумке с бумагами, на ремешке через плечо, с которой всегда ходил. – К прискорбию, в Омске – Колчак. Я там бывал, когда добирался в Семиречье... Вся Сибирь под ним. Говорят, белые взяли Оренбург.

- Это ж я тебе говорил – подался грудью на костыль! Егор. – Степан, средний мой, писал про то из Ташкента... Отбил от дома, пошел по городам. А последний, Алексей, пал на германской...

- Тысячи пали... Так. Взяли белые. И наступают вдоль железной дороги на Ташкент. Но наш земляк Михаил Васильевич... Он назначен командующим Южной группой Восточного фронта. По всем приметам, дело пойдет на лад.

- Опять война?..

- Гражданская. Катится уже по всей бывшей империи.

- То сарыбагыши и бугинцы били друг друга, – отягченно покачал головой Егор. – А ныне наши, расейские, бьют сами себя.

<sup>3</sup> Лагун – бочонок.

- Не сами себя. Не народ, не нация, – поправил Моисей. – Противостояние классов, разных по устремлениям сил. Кто – кого. И здесь не суть, кто какой крови, а важно – кто движим какой целью. Вот вы, помнится, рассказывали – убили в Аксуйском укреплении...

- Дак то был барантачы<sup>4</sup>, налетчик, – отшатнулся Егор. – Хотя убить – не родить, чести мало. Однако за него бог, видно, простил меня, ежели столько живу.

- Суть, она в том, кто чем владеет, что исповедует. Вот у вас... Каково ваше хозяйство?

- Я уже отхозяйствовал. Старшой сын хозяйство ведет.

- И все же?

- Да ить вы, из комбеда, все уже сами знаете. Описали... А нам и скрывать нечего. Пашня, клеверник. Кони, коровы, овцы. Ну там куры, гуси...

- И мельница с заимкой.

- Имеем.

- И работники. Годовые и сезонные.

- А без них как? Самим не управиться. Опять же и для них резон – есть, чем жить. У нас они и угол имеют.

- А Никишин? Землю свою еще и в аренду сдает беженцам. Возвращенцам... Пользуется их бедственным положением. Плату же берет... Не берет, обирает.

- Мы своих не обижаем. Даем и с пашни, и деньгами, и харч при жилье.

- Это вы... А другие? Те же Никишин и Бабанов. Одно слово – мироеды. Обещаю, мы их прижмем!

- Признаться, это так. Испокон говорено: кому бублик, а кому дырка от бублика.

- Ваш бублик с кулацким размахом.

- С кулацким? Что же выходит: я вам кулак?

- Старик Егор вскинулся взлохмаченно. Когда его задевало недовольство, тем более возмущение, он весь – телом, головой – вскидывался, готовый на отпор тому, кто вызывал возмущение, на поединок, становясь как бы вне своего совсем преклонного возраста, удел которого – лишь смирение. Он помнил себя, каким был в первую пору пребывания в бугинских кочевьях. Носил он залатанные порты, домотканую рубаху, пропотелую на бугристых плечах, жесткие, нестриженные волосы схватывал сырмятным ремешком, чтобы не застилали глаза; окладистая борода была густа, с крупными закрутами, отливала рыжиной – похоже, это пенился крутой отвар кореньев ышкын-тюпа, которым дубили овчины. Его работающие руки, крупные, с набухшими жилами, таившие отменную силу, никогда не пребывали в покое, а глаза, синие, с легкой мутинкой, наоборот, были спокойными, точно лесные укромные ставки. Но бывали моменты, когда он сердился, терял самообладание, тогда из этих глаз летели жгучие искры, как сыплется окалина из-под молота в кузне. Редко, но возвращался он к себе, прежнему, полному сил, вернее, в нем, нынешнем, проявлялся былой землепашец. И теперь, когда круто задел его Моисей, брызгала жгучая окалина. Но что ушло, то ушло: схожий своим видом со старыми русскими богатырями, он в самом деле стал старым батыром – черной сгорбленной глыбой со снежной головой, белой кипенью водопада-бороды.

- Я кулак? Бай? Надо же в голове иметь различие. Хотя куда там, на всех не угодишь. Есть такой сказок... Роди сына, покажи его ворону, тот скажет: больно белый. Покажи змее, она скажет: прямой, что палка. Покажи человеку, и человек скажет: вороненок и змееныш.

Вороненок, ворон... А я не ворон. Я хозяин – и сам кулак, и сам батрак. Чистое дело, все в едином.

- В этом ваша сила, – Моисей закашлялся и сник. – Кулацкие и байские хозяйства остались не тронуты. Пока... И остается ваше влияние на все стороны. Но будет конец. Скоро! Шкуру с себя сдеру, а конец будет. Сбудется. Предел моих желаний. И так требует наша программа. И наше сознание.

- Зачем валиться на крайность?

- Лишь крайность побеждает. Одна. Одна другую...

- Края не бывают без середины... В писании было сказано: милость божья превыше всего. Сделайте нам, грешным, милость человека превыше всего! Уразумел? Да разве вы уразумеваете?.. Моисей, не трави душу! – Егор поймал рукой длинную берёзовую ветку, свисавшую подобно плети, дернул, и вся береза дрогнула. – Уши мои терпят твои слова, потому как я тебя уважаю. Ты стоишь за сельцину. За землю. Так давай думать... Земля нам что мать или мачеха? Не делай ее для нас мачехой.

- Вы сами ее такой делаете.

- За это недоумие я и зол на тебя. Прощевай! Иди. Иди по дворам, описывай.

Ночью он опять жил в своем былье – слушал в манапской юрте песельника Балдысана с комузом, засыпал гробничку землей, подравнивал, прихлопывал ее лопатой, рубил свою избу на Тюпе, встречался с Фросей, уговаривал ее нарожать побольше детей, удерживал в своих руках бившуюся в припадке отчаяния Алену, пятнадцатилетнюю, беременную...

Бесплотным зраком светилась лампадка.

Богоматерь, вздымая трехперстие, рекла: «Смотри, Егор, крестьянский сын, я благословила тебя... Чтобы ты нашел лучшую долю...» Она уменьшилась, слилась со светляком лампадки и исчезла, растаяла в стене. Потом бесшумно отворилась дверь, и она, воскресшая во плоти, благовидная, вошла в боковушку, неся с собой запах сена и молодого женского тела.

То вошла Алена.

- Деда, ты не спишь? Он молчал.

- Деда?.. Ой, спи! А я шумлю, – она уже было попятилась к двери.

- Фросюшка... Не уходи.

- Ой, лихо, бредит! Это я, дедуля.

Егор вернулся в явь – зашевелился, закричал, пытаясь приподняться, а непомерный груз непослушного тела и горячечных видений снова притягивал его к топчану; он сопротивлялся этому грузу, напрягаясь до предела, да все это было напрасно – он сдавался заметно подступавшей немощи.

- Господи, сызнова помороки. Как тут спать-то? Все она мерещится, могила.

- Какая могила? – встрепенулась Алена.

- Кажну ночь... К чему бы это? Могила бугинки Меиз убитой. Там, в урочище, на Джууке.

- Убита... Деда, я боюсь. Можно к тебе на топчан?

Как дверь отворилась бесшумно, так и она бесшумно приблизилась к топчану и села на краешек; она имела такую походку – ходила торопко, но шла так, будто не касалась ногами земли, а плыла над нею, не желая топтать ее подошвами.

Да это же Фрося так ходила...

- Садись половчей, – Егор подвинулся к стене. – Чего дрожишь?

- Это ты дрожишь.

<sup>4</sup> Баранта (барымта) – в кочевом укладе разбойное нападение с целью захвата скота и имущества.

- Я-то? Душа дрожит. Зачем могилка снится? Ведомо, уж близится прощанье. Я ухожу. Мамбет ушел. Он зовет к себе. И я ухожу. Уже ушел. Канул. Тлен... Земля...

- Не надо. Не заговаривайся... – Алена с горьким придыханием склонилась к нему. – А я что? Я же... Ведь я только начинаю жить. Я хочу жить. Дед мой любимый, как мне жить? – она заплакала, совсем прикинула к нему, большому, горячему. – Скажи... Как вы жили, вы, люди... Как было устроено, как полагалось? Теперь я так не могу. Слышишь: не могу!

- Этакое тебя и погубит. Согласность с миром – не наша борозда? Вот в чем заноза железная. Мамбета загубили... Да и меня... Загубливают. Кто я был такой? – Егор снова начал заговариваться, сотрясаясь жгучими переживаниями и сотрясая топчан, даже стену – заколебался лампадный огонек. – Кто я был? Бедняк. Вышел в богачи. Ублажало душу? Ублажало – вылез из голи. С летами это меня и зашибло. Пошел бы я за Мамбетом на каторгу, в Сибирь? А? Был бы, как раньше, бедняком, пошел. А богач – нет. Зажирел. Почему? Мы были вместе – тамыры. Пути неисповедимы? Ну и что? Пусть так, неисповедимы. Однако души-то едины. Вот ты, Алена... Ты – молодая Фрося. Моя икона... Живая Надежда... Род не вымрет. Это надежда...

- А Егорка? – едва дыша, сказала Алена.

- Так ты и есть Егорка. Как вас разделить? Ты дала ему жизнь. Мне правнука... Пред моим концом... – Егор захрипел, всхлипнул. – Мой бедачок. Встанет на крыло, я верую. Остальное – не род, нет. Так, жители.

- Может, привезем Егорку сюда?

- Ох, любушка... Уж говорили. Сюда ему – никак. Хозяйнички Большой улицы прознают, съедят вас, всех троих. Жалости у них – ни на грош. Они, хапалы, прибрали землю, покинутую беженцами. Теперь как? Беженцы возвращаются в свои места. И что – жить с ними, киргизами, в ладу? Выходит – возвращать землю. Нет, им не резон – в ладу. Обратное им надоть: вражда – и земля наша. А вы – бельмо на глазу. Ты и Мидин... Долой бельмо! Вишь, какой выворот...

- Егорка на кордоне, Мидин на заимке, я тут... Какая ж это жизнь?

- Живые в разлуке – еще терпимо, – видно, Егор был расположен отводить душу разговором до третьих петухов. – Вот когда разлука на веки вечные... Один жив, а другой там, в раю или в аду... Как такое вынести? Алена знала, о чем и о ком говорил дед. Это было его страдание – все, что случилось с Мамбетом, незабвенным тамыром; страдание – и то, что случилось, и разлука с ним вечная.

...Мамбет перебрался на Тюп, в места более пастбищные, оттуда, с хуторка, от могилы Меиз, по длительным уговорам рыжебородого тамыра. Денег у них поднакопилось, и срубили они две избы – на каждого, завели новые пашни, все, что было нужно для усадьбы. Начал он жить самостоятельно – нашел жену, пошли дети, воскресил свой род. Однако духом своим так и не пристал к хозяйству.

Ставили они когда-то дом начальнику Аксуйского поста. Егор все делал всласть, играючи. А джигит шкуруил бревна точеной железкой, она глубоко вонзалась, до самой белой мякоти, он рвал ее на себя, а она не слушалась, шла криво, выскользывая из рук. Он не выдержал – бросил железку. Тогда он сказал: «Игор, бросать будем. Шайтан дерит бревна, мне давай драть барана. Я коня пасти пойду». А когда они соорудили мельницу, пустили ее с зерном в кузовке, по дощатому желобу потекла теплая струйка свежей муки, Егор подставлял под нее руку, мял ее пальцами, нюхал и довольно вздыхал: «Пошла, родимая!» За это можно было все отдать, даже не пожалеть своего живота. А Мамбет, таская мешки, и не глядел на муч-

ную струйку, в нем ничего не вызывала она, хотя и весьма пахучая, он то и дело поглядывал на лужок за рощей, где паслись кони.

Он так и остался джигитом – не за сохой, а в седле. Кочевая вольница постоянно уводила его от усадьбы. Вместо кетменя и вил в руках появился комуз. И дома он собирал людей – слушали его игру на комузе и пение, и ездил по ближним и дальним аилам, даже за южные горные хребты, в долину Кетмень-Тюбе. А объявился на Тюпе ссыльный Матвей Устюжин, жестянщик, книгочей, увлек в свои «идеи» и Катерину Саламатину, первую запевалку на молодых вечеринках – даже взял ее в жены. Увлеч своей страстной убежденностью и пожилого уже комузиста Мамбета. Матвей вычитывал что-то в книгах, сам сочинял, Катерина переписывала на отдельных листочках бумаги, а Мамбет развозил их в завернутых пачках по аилам и селам. Он уже и дедом стал – появился внук Мидин, – а точно лишился рассудка: отдал бугинцам внаем часть усадьбы и пашни, чтобы этим заменить свои руки для семьи, и совсем ударился в долгие разъезды. Однажды он вернулся особенно степняцки шальной, и на другой день к его двору потянулись айильные люди, верховые и пешие, пришли и сельчане, в основном хозяйские работники, мастеровые. Прибежал к Саламатиным замурзанный Мидин, малец лет пяти:

- Жур, агай! Айда. Ата зовет.

Собрался и Егор. В мамбетовском дворе уже был устроен помост, покрытый кошмой и тонким ковром, люди сидели полукругом на земле, на подстилках, принесенных с собой, на кошеной траве; среди них был и Матвей Устюжин и Екатерина, они наводили порядок в полукруге айильчан и тюпских работных, пожелавших послушать известного им комузчи – игрока на комузе, только что побывавшего в Кетмень-Тюбинской долине. На помосте восседал Мамбет в синем кементеае. Комуз его поблескивал серебряными бляшками и залоснившимися местами. Мамбет окинул сощуренными – словно прицеливался – глазами полукруг людей у помоста:

- Я был в Кетмень-Тюбе. Там кипит гнев народа. Я видел Токо, нашего лучшего акына. Я спою вам песню. Ее крылья крепче крыльев беркута.

Он откинулся назад – плечами, головой, устремил взгляд вдаль, к горам, и ударил умелыми пальцами по струнам.

Егору предстало то, как он впервые в своей жизни слушал комуз. В большой манапской юрте с богатым убранством – войлочным узорным ковром, шелковой занавесью, ворохом цветных одеял, резными подставками для светильников – сидел сам верховный бугинский манап Камчибек, его приближенные и – в сторонке – его старшая жена, неподвижная и гордая, как боярыня. Младший манап Балдысан – когда его упростили – закатал до локтя рукав кашгарского халата и, переменявшись в лице, сделавшись суровым, ударил по струнам гибкой кистью. Потом запел... И пел долго, как долги бывают горные тропы. Казак Рында пояснял пение: «Про жизнь бугинскую... Он славит орусов: мол, пришли они к бугинцам и принудили сарыбагышей, как шакалов, бежать с озера. Теперь обчон уруш, то бишь большой войне, будут напоминать на пастбищах одни красные тюльпаны».

Мамбет не славил орусов, не хаял сарыбагышей, хотя и его жильные струны, как у Балдысана, были негромкие, глухие, но певучие, словно нагорный ветер, гуляя по долине, пел в тонких стрелках высокого травостоя.

Теперь Егору не нужен был казак Рында, он все понимал без толмача. Мамбет не славил ни орусов, ни бугинцев, ни другие племена. Он осуждал тех, кто не давал жить вольно и орусам, и бугинцам, и сарыбагышам, и саякам:

«Пусть проклята жадность бая и судьи-оруса – она, как камень, которым на весах взвешивают мою жизнь! Кто же ударит камнем о камень, высечет искру и счастья костер разожжет?»

По живому полукругу прокатился шум – не одобрение пению, да недовольный ропот на то, что вдруг случилось позади полукруга. Открылись въездные ворота, и в них вошли уездный пристав, толстый, с усами, и молодой чернявый жандарм в узком кителе с новыми, искристыми погонами; за воротами кучились верховые казаки при оружии – с винтовками через плечо и шашками.

- Всем сидеть на местах! – строго приказал пристав. – Не расходиться. А ты, акын, – он указал свернутой в трубку бумагой. – Ты арестован. Что-то ты там пел про воронов и белые кости? Отдай свой комуз на растопку. Приказано препроводить тебя в Каракол. Тебя и этого...

- Устюжина, – вышел вперед молодой жандарм с заметными – в палец – смоляными бровями, с глазами навывкат, с носом, похожим на носок топора – с горбинкой, а кончик острый; он пробежал взглядом по встревоженным людям, увидел жестянщика и ткнул в него пальцем, точно револьвером. – Вот вы!

Матвей Устюжин поднялся, спокойный, прямой:

- А-а, ташкентский знакомец! Повышены в звании, господин Щетинин?

- Собирайтесь! – коротко распорядился пристав.

К нему метнулся Егор, сбитый с толку всем, что он увидел:

- Наши люди, свои. Родственные. По какой вине? Пристав постучал свернутой бумагой по своей ладони:

- А вот они, прокламации. Призыв к бунту. А оный и произошел в Кетмень-Тюбе. Мамбета и Матвея отправили под конвоем в уезд, в тюрьму.

Катерина поехала за своим Устюжиным в Сибирь, прожила там несколько лет, вернулась под отчий кров, родила девочку, названную Аленой, побывала при ней, пока та уже легла повдоль кровати, оставила внучку на деда Егора, снова уехала в Сибирь – и с концом. Осталась Алена...

Усадьбу и земельный клин Мамбета забрала по суду земская управа, семья его скиталась где-то на стороне, у родственников жены. Прошло много лет, и к Тюпу прибилась одинокий парень по имени Мидин – как оказалось, внук Мамбета. Он сказал о семье: «Все умерли». Мамбет из Сибири не вернулся, лишь дошли слухи, что он был убит при побеге с каторги. Остался Мидин...

Алена несла в коровник пойло для телят – просяную болтушку, остановилась, поставила на землю тяжелые ведра, чтобы передохнуть, и увидела: с выпаса гнал коров, потелившихся рано, до схода снега, другой пастух, не тот, что был до этого, ветхий, хромоногий, а молодой, в полосатом узбекском халате, в колпаке белого войлока. Поздно вечером она заметила его в старой избе, покошенной, с окнами, забитыми наполовину – понизу – досками; сама она жила не в избе, а в пристройке к ней – дед Егор называл его по-церковному приделом, – прирубленном много позже и довольно-таки сохранившемся, – в нем было сухо и светло; в избе же обитали работники, спали на нарах и харчевали на горбыльном столе в утепленных сенях. Утром, еще до света, новый пастух чистил коровник и конюшню, вывозил на одноконке навоз с подворья на зады огорода. Алена спросила у деда:

- Кто это объявился такой, в полосатом халате?

- Взяли в работники, – ответил Егор. – Упросил я Тимофея. Внук моего тамыра Мамбета. Теперь смекай: что за человек он мне? Да и всем нам... Миудином зовут. Никого у парня, ни души родной. Намыкался, не грех обогреть...

Егор уже успел отметить, что Мидин во многом пошел в своего мятежного деда – и обличьем, и тягой к табунным выпасам, а не к сараям. Роста невысокого, крепкий телом – и под халатом видно, силенка играла, – с лицом скуластым, очерненным под частым солнцем, он смахивал на бывалого степняка; задумываясь, щурил глаза – разрез их был такой, похоже, чиркнули бритвой, – словно целился, через миг выстрелит и не промахнется. Вывозил навоз, перемешанный с соломенной подстилкой, сбрасывал его там, за огородом, медленно, вяло, нежеланно, с неприязнью – так, будто на вилы цеплял не что иное, как склизкие клубки тонких змей, вдруг переставал сбрасывать, замирал и глядел в подгорный луговой распадок с табуном коней.

- Расскажешь еще про Мамбета? – спросила Алена.

- Да все уже порассказано, – покряхтывал Егор.

- Ну еще...

- Так и быть. Приходи в мою келью.

И никто тогда не думал, не гадал, что наступит день, вернее, ночь, когда новый работник Мидин, внук тамыра, сосланного на каторгу, придет в тихий придел с окнами, занавешенными наглухо, и Алена, остро чувствуя, как подламываются ноги, обовьёт ломкими, дрожащими руками его твердую шею.

А случилось это после яркой стычки с Тимофеем. Алена доила коров, нечаянно опрокинула ведро с молоком, и на нее набросился Тимофей, накричал, пуская в дело грубую ругательную, все ходячие в селе матерки, и со зла опоясал ее, испуганную, веревочным налыгачом.

Мидин ошпаренно подскочил к нему, вырвал из его клешнистых рук налыгач:

- Брось это, дядя!..

Тимофей схватил вилы и пошел на работника. Но рядом с тем – и откуда вдруг взялся? – встал табунщик Сыдык из айла Шайбека. Встал более круто, чем работник.

- Хозяин, уходи!

- С-собаки! Мать вашу... Спаровались. Все снюхались! – он отбросил вилы. – Погодите. Найдем управу!

Мидин увел Алену к реке, на поскотину, в тальники. Она плакала:

- Да что ж я такая... Обделенная. За что мне? В чем вина? Нету больше терпения. Акулина и Тимофей... Горше не бывает. Они все время мной помыкают. Хуже чужих. Будто их кусок ем задаром. А я с зари до зари... Изводят. Кусок в горле застревает. Хоть удавись...

- Не плачь, – уговаривая, он держал, сжимал ее руки – сильно, до боли, обнимал за плечи, гладил их приветливо, располагающе, спускал свои ладони вниз, на спину, на талию и все успокаивал: – Больше он тебя не тронет. Я не дам. Только поверь мне. Поверишь: моя жизнь – твоя жизнь. Это говорю я, внук Мамбета.

Никто еще не обнимал ее так – осторожно, желанно и надежно. Ну, обнимал дед. Но его руки отеческие, от них идут тепло и покойность, А эти руки, джигитовы, притягивали, бросали в трепет, в лихорадку, в жуткую истому.

Ночью он подошел к приделу, чуть слышно постучал; и она открыла...

Она сама призналась деду:

- Что угодно делайте, хоть казните меня. А он мне мил!.. Пришел и Мидин:

- Без Алены мне жить – не жить.



Вначале это Егора испугало: было ли видано, чтобы человек, поклонявшийся аллаху – по-здешнему, правоверный, – стал мужем неверной, кафирки, или, с другой стороны, крещеная стала женой аллаховерца. Терзаясь, как никогда прежде, он поразмыслил ночами и пришел к тому, что не это самое невиданное, сложное, а самое опасное, чего нельзя ни в коем случае допустить, – людская молва. Советом его было: надобно потерпеть, пусть пока никто ничего не знает – ни в своем доме, ни в других. Как бы решилось дело, неизвестно, однако волостной управитель, согласно высочайшему «Приказу о реквизиции инородцев империи» прислал предписание: работник домовладельца Егора Саламатина, прозываемый Мидин Мамбетов, отправляется на тыловые работы.

Мидин, видимо, считавший главным для своей фамилии не имя отца, а деда, заявил:

- Никто не идет, и я не пойду.

Поползли злые слухи: аллаховерцы в отместку за «реквизицию» намерены перерезать всех переселенцев. А те, переселенцы, более же казаки, подняли переполох:

- Надо просить оружие в уезде, в Караколе.

- А в заречном селе кулаки убили джигита.

- Повстанцы поднялись по всему краю. Жгут почтовые станции, громят телеграфы, руют мосты.

От одной искры рождалась другая, и пошел полыхать пожар по всей огромной озерной округе и далее – по другим долинам. Из Ташкента, от генерала Куропаткина, поступило распоряжение в Семиречье: «Надеюсь, шрапнель заставит отхлынуть скопища инородцев». Шрапнель миновала Мидина, и он с беженцами ушел в Синьцзянь, в Кульджу.

Егору свои же сельчане предрекали:

- Сожгут твою заимку. Не видать тебе больше твоей мельницы.

- Мое не сожгут, – отвечал он. – Все знают: заимка и мельница – это Егора-бугу.

Дом же Саламатиных сотрясло и другими громами. С германского фронта пришло черное известие: убит Алексей Саламатин. Младший сын Егора... Затем в горницу, где все домашние сидели за ужином, ворвалась с подворья всполошенная Акулина:

- Сидите, трескаете. А она, нахлебница... Забрюхатила. Ох-ох, срамота! Срамота какая!

- Чего молотишь? – поперхнулся Тимофей. – Забрюхатила... Кто?

- Да она же, Алена.

- Рехнулась? Сама, нешто, забрюхатила?

- Уж мне-то знать, – Акулина, набожница, кликуша, плямкала губами, как варениками.

– Бабы в этом деле кумекают. Срам на весь свет! Сгноить ее в погребе...

Егор, и без того убитый известием о гибели сына, выронил ложку из рук, она громко ударилась о чашку.

- Пушай. Будет еще наследник, – сказал он мрачно, отрешенно, как из подпола, где уже гноили людей.

- Рехнулся, прости господи! Сразу ж так и увидят, от кого... Следоват варить башками. Дом спалют! Как есть – страмота! – еще более запричитала Акулина. – Церква, люди не простят. Во-он слух-то: всех киргизцев выселят из уезду. А она... Одного такого, а може, и двух в подоле – в дом? Ох, беда! Спалют дом...

- Перестань! – цыкнул Тимофей. – Где она?

- У себя, в приделе. Заперлась, не пускает. Блажит: не лезьте ко мне, руки наложу. Ночью Егор пошел к избе, постучал в окно придела. Алена долго не отзывалась.

- Любушка, открой. Надобно побаять. Авось снимем тягость с души. Открыла. И забила на его руках в припадке отчаяния:

- Где же он есть? Куда его унесло? А что, как совсем сгинет? А что, как убили?

- Да не убили. Ушел туда, за горы.

- Скиталец мой! В голоде и холоде.

- Уймись, – гладил он ее корявой ладонью по голове. – Не убивайся этак. Сдюжим – и он, и мы с тобой... Чем же он тебя взял!

- А чем тебя взяла бабушка Фрося? Кабы такое было ведомо... Может, сказались твои байки о тамыре. И наше сиротство нас сроднило. Знаю одно: нет для меня его кровнее. И не будет. Он да ты. Деда, как мне без вас. Не выживу.

- Не надрывайся. Бог уладит. А это... – Егор слегка коснулся ее живота. – Поедешь на кордон, к тетке Марье. Они с Архипом бездетны, присмотрят за этим, подрастят. А людям скажем: ты уехала в Ташкент, к дяде Степану.

Так горестно и порешили.

На кордоне, в лесничестве, в Аксуйском ущелье с теплыми ключами, жил лесник Архип Бульгин с женой Марьей – старшей из сестер Саламатиных; у них не заводились дети, и они очень печалились – понятная их печаль: охота ли вековать одним... Алена и поехала на кордон, подальше от людских глаз, в место тихое, закутное, считай, запретное для посторонних. Родила она сына. И снова возникла незадача: у мальчика волосенки, были светлые, рыженькие, а лицо и глаза темные; пусть бы там и темные, у всяких людей лицо и глаза бывают темные, на разрез косящих глаз был такой, что сразу становилось понятно: помесь... Как объяснить: где Марья и Архип взяли такого? Думали про незадачу, думали и надумали, как говорить людям: подобрали подкидыша на гумне. Алена покормила сына с годок, как некогда мать Катерина ее самое, Алену, и пришлось ей уехать в Тюп, к деду – хозяйство не уменьшалось, а рабочих рук не хватало. Кочевья-то опустели... Она снова работала на скотном дворе и ждала Мидина. Но дождалась только через два года, и то не былого, сноровистого джигита, а лишь его тень. В Кульдже он пробивался в найме у скопидомного дунганина, торговавшего скотом, плохо было с едой, ослаб, занемог надолго и едва выбрался из хвори. И здесь, в родных местах, двойная беда: и болен, чахнет, и нельзя жить на саламатинском подворье – Акулина и Матвей и слышать не желали, чтобы приютить хворого беженца.

Егор определил его на джуукинскую заимку.

В безмолвной боковушке длилась ночь воскрешений и скончаний. Старик Егор почти не дышал. Лампадка блекло отсвечивала в его замутненных глазах. Он поводил руками подле себя: вязаная кофта, теплое плечо, сыпучие волосы...

- Алена, настанет ли он когда, мне упокой?

Алена спала. У нее еще будут свои ночи воскрешений и скончаний. А будут ли такими долгими? Пусть хоть какие, но они будут. На то и рождается человек...

- Отец, вставай. Слышь, что скажу... – в боковушку, где старик остался уже один – Алена упорхнула, он и не слышал, – вошел Тимофей, а это он делал очень редко только по крайне важному делу, даже исключительному. – Абакум кличет мужиков собраться. Сегодня вечером, у Никишина. А может, у нас? Велел: старейший хозяин села должен быть. Дойдешь ли?

- Доковыляю.

Егор отметил, что Тимофей стал помягче, и это улучшило его самочувствие; с той поры, как открылась связь Алены с Мидином, в семью вселился нечистый дух: все приумолкли, насторожились, ожидая еще большей напасти, косились друг на друга, считая деда Егора главным виновником, потворщиком недопустимого посягательства на честь дома.

- Доковыляю. А он молитвы, что ли, намерен читать?

- По земельным делам.

- Земельные – дела умельные.  
- Приходил Моисей. Тебя спрашивал. Говорю: еще спит. Что-то ты ему нужен... Смотри, не больно с ним гоношись. Власть!

Моисей Колодный пришел после полудня, попросил попить воды в сенях, из кадки, ничего не объявил, по какому случаю пришел, вывел Егора за ворота, и они снова сели на скамейку под березой. Моисей начал издали:

- Из Каракола приехал пропагандист. Привез газеты, книги. Завтра, как соберем людей, будет выступать в избе-читальне. А она за зиму так закоптилась, что стыдно принимать человека. И как на грех наш избач Арнаутов слег... Неловко перед уездом.

- Так не мне ли брать щетку, белить? Или идти в вашу избу слушать, там поют: «Как родная меня мать провожала...»

- Да нет. Пришла новая весть, – Моисей достал из кожаной сумки лист бумаги. – Телеграмма Фрунзе... Михаила Васильевича. В Ташкент. Хотите послушать?... Читаю: «В ближайшем будущем мои войска придут на помощь героям бойцам Туркестана, доселе не спустившим красного флага и отбившим все яростные атаки врагов.

Я приветствую...», – Моисей закашлял, прикрыл искривленные губы ладонью. – Бьет проклятуший.

- Лечиться тебе надо.

- Надо. Сев отведем, тогда поеду... Так, далее: «Я приветствую трудящиеся массы всех народностей Туркестана. Прошу передать мой особый привет трудовому народу моей родины – Семиречья и моего родного город Пипшека. Как уроженец Туркестана приложу все усилия к тому, чтобы железная помощь пришла к вам как можно скорее». Вот каков он, Михаил Васильевич...

- Выходит, и впрямь земляк наш. Боевой, видать.

- Боевой. Не кем-нибудь на фронт послан, а самим Лениным.

- Про этого-то слышаны. Повел Расею... Землю крестьянам, а вы отымаете.

- Опять вы все с ног на голову ставите, – загорячился Моисей. – Отнимаем, у кого ее излишек. Для бедняка. Всем жевать надо.

- Всем. Так и работай, как ломовой, а не бока грей.

- Ну, ладно... С вами все ясно, – Моисей положил бумагу в сумку. – Вот изба-читальня – еще забота.

- Да что ты все со своей читальней... – тоже загорячился Егор. – Выкладывай. Я же чую, не по читальне твоя забота.

- Верно, Егор Ерофеевич. Не по читальне... Школу новую надо строить.

- Старой мало?

- Мало. Вас, темных, просвещать. Простите... Моисей спохватился, что назвал сельчан темными, а значит, и деда Егора. – Детей наших... Как, поможете деньгами?

- А как сход решит? Но, думаю, мой Тимофей не даст. У него теперь все деньги. У меня-то ни гроша...

- А к Никишину как подступиться? И забор под небо, и волкодав цепной...

- К нему-то? А никак – ни с иконой, ни с колом! Моисей помолчал, потирая пальцами землистые щеки! Молчал и не уходил – значит, еще не все выложил, с чем пришел. Он вынул из сумки другую бумажку.

- Такие дела, Егор Ерофеевич, Такие... Плохи дела... Предчувствую... Еще вам почитаю. И начал читать:

«Граждане свободы! Вы живете на земле и по праву владеете этой землей. Она вас кормит и поит. Что будет с вами, если от вас отторгнут кровную вам землю? А именно к этому стремится власть большевиков – отторгнуть землю и передать ее инородцам, которые едят ваш хлеб и насилуют ваших жен и дочерей. Пусть воскипит ненависть к тем, чья цель – отнять у вас все блага, добытые вашим трудом. Долой большевиков-кровопийцев и их местных приспешников. Восстанем против тирании!»

- Моисей, какой бес в твоей бумаге? – не совсем понимая, что к чему, Егор придвинулся к телеграфисту и приложил руку к прикрытому волосами уху, будто плохо слышал.

- Листовка. Чернилами написана. Так все ладно. Мне пока попала одна, – он поднес бумажку к лицу, к глазам, словно проверял на свет. – Спасибо Митьке Абазину, принес, говорит, в подворотню подкинули. Одна... А надо полагать, ходит по селу. По рукам... Кто бы это сотворил? Не издали же она прилетела. А, Егор Ерофеевич?

- Думаешь, наши?

- Связывался с уездом, там листовок не замечали.

- Может, баловство?

- Такое баловство пахнет жареным. Видится рука...

Вечером, когда совсем стемнело, улицы опустели, закрылись плотные ворота и ставни притихших усадеб, перешедших в другую, ночную жизнь – каждая, по-своему, крепость, – Саламатины собрались к Серафиму Никишину на сход самых видных тюркских хозяев. Тимофей по этому случаю даже приделся, подстриг бороду, которую завел, как и отец, смолоду, слегка преклонил голову перед образами в переднем углу горницы; Егор взял костыль – не тот, из таволги, с каким он ходил по усадьбе, а другой, предназначенный на выходы, резной и подкрашенный, как одежные стояки в байских юртах.

У ворот их встретил, бездельно вихляясь, горбатенький Ленка, сын Серафима, с накинутой на голову латаной холстиной, сшитой кульком, приглушенно сказал, чтобы они сразу проходили в дом, в горницу, а сам остался за воротами – встречать других людей или что-то высматривать.

В горнице с висячей лампой-десятилинейкой, громоздким комодом, посудным шкафом под стеклом, к случаю усердно протертым, на скамьях у стен, на стульях у стола с самоваром сидели хозяин и званые гости – напомаженный репейным маслом Серафим, дубоватый Михаил Бабанов, важный – рядом с хозяином дома – бай Шайбек, властитель аила за рекой, ровно напротив саламатинского владения – он был в толстом расшитом халате, – и еще аксуйские – из Теплоключенки – казаки. И здесь же почему-то был Митька Абазин... На столе поблескивал сияющий самовар, стояли точеные из дерева чашки и тарелки с едой, фарфоровая ваза с пряниками, графин с самогонном. А во главе стола, под образами, сидел Абакум – сумрачный человек, в одеянии, похожем на ризу, уже в летах, может, и не такой сумрачный сам по себе, по своему состоянию, а сумрачность ему придавали широкие – в палец – брови, смоляные, кустистые, почти совсем закрывавшие глаза, и нос, выступающий понизу бровей заметной горбинкой, с острым концом. Смахивающий на носок топора...

Егор переступил порог душевой – для особого сбора протопленной – горницы, сразу оглядел этого человека – в глаза бросилось нечто отдаленно знакомое, давно виденное, – и он, все давнее частью воскресив, пристыл к дверному косяку. Определенно – где-то виделись, сталкивались.

Где и когда?

Серафим в рубаше, выпущенной, носимой поверх штанов, вздутой на зад, с ременным поясом, в безрукавой поддевке, оттого еще более кургузый, увальный, уже стоял у посудного шкафа, вынимая стаканы, шагнул к столу и обратился к Абакуму, показывая на дверь, заскрипел, как ржавая петля;

- Егор Ерофеич Саламатин. Наш старейшина. Ему уже все девяносто лет... Наш корень, надежный.

Абакум поднялся с места и сказал с почтением:

- Милости просим! Проходите сюда, под образа. Ближе к богу, осеняющему нас.

Егора усадили в переднем углу, рядом с Абакумом, а тот, расчувствованный, провел ладонью по его покато плечу, похлопал для большего расположения к себе, постучал согнутым пальцем по графину:

- Все собрались?

- Собрались. Все свои, посторонних нет, исключено.

- Тогда начнемте, граждане! Потолкуем как на духу: Чарки потом. Ибо в сей час – лишь о деле. Во-первых, для мира я – Абакум, человек божий, иду в монастырь, он у вас тут недалеко. Так всем и говорите, если что... Во вторых, моя личность, можно сказать, вам, тюпчанам, не совсем чужая. Я здесь и раньше бывал...

Егор до ломоты в пальцах стиснул костыль: все, его божески осенило – он вспомнил, точно вспомнил, где видел этого бровастого человека, когда они сталкивались.

Тогда тамыр Мамбет во дворе своем давал игру на комузе перед айльным и сельским – переселенческим – людом. Распахнулись ворота, и вошли в подворье толстый пристав и молодой смолебровый жандарм. А Матвей Устюжанин сказал: «Ташкентский знакомец... Господин Щетинин».

Абакум – тот жандарм Щетинин?

Он самый и есть, определенно. Промашки в этом быть не может. Ну и крюк... Вот оно, бытованье наше – какие оно только не выделяет явные и скрытые, тайные повороты, немислимое перевертеть...

Не показывая вида, что своим открытием повержен в сильное смятение, Егор подвинул к себе чайную чашку с блюдцем и начал их рассматривать – какой тонкости фарфор и как четок рисунок на нем.

Абакум продолжал:

- Скрывать нет надобности, того требует обстановка... Я послан к вам атаманом Анненковым, ближайшим сподвижником самого Колчака. Доложу вам: его отборная казачья дивизия ведет решительные действия на Семиреченском фронте, убедительно наступает на Верный. Борис Владимирович сказал: передай поклон иссык-кульским мужикам и казакам... Зачем я послан? К вашему сведению, эмиссар по особому заданию. После эту миссию уточним. Для вас... Давайте выясним, какова у вас обстановка, обсудим, взвесим, – Абакум сел, достал из кармана кiset, свернул самокрутку и задымил, глубоко затягиваясь. – Итак, в прошлом году, летом, у вас в Тюпе, то бишь по-нынешнему – в селе Преображенском, о всем Каракольском уезде, опять же именуемом Пржевальским, установилась новая власть.

- Совдепия! – проскрипел Серафим Никишин. – Была земская управа, а нынче Совдепия.

- Новая власть. Красная... Спрашивается: вы ею довольны? Я, конечно, предварительно прощупал, кто чем дышит... Вы эту власть устанавливали? Клали за нее головы?

Красная власть...

В тот день старик Егор был на Базарной площади. Из Верного прибыл военный отряд – конный эскадрон с пулеметами и пушками. Посреди площади – народу там было полно –

поставили стол, накрыли его куском красного сукна, положили бумагу и ручку со стальным пером. Первым выступил командир отряда Павлов – семиреченский комиссар: «Съезд нашей партии нацелил нас на союз с середняком – при опоре на бедноту, против ярого кулачества».

Потом приняли решение, и сельский писарь Ивашка Попов записал: «Поддержать во всем Советскую власть и пойти на защиту власти, проливая кровь до последней капли как за истинного защитника трудового народа».

А за сутки до этого почти все хозяева Большой улицы спешно уехали на Аксуйский кордон, к Архипу Булыгину – отсиживаться, выждать, что же произойдет в селе и в уезде. Старик Егор не поехал, пояснивши: «уже не от кого бегать».

- Вы эту власть устанавливали? – повторил Абакум. – Так вы ею довольны?

- Сатана ею доволен, – видимо, Серафим Никишин взял на себя долю выступать за всех, кто в его доме брался. – Вестимо, голодранцы верховодят. Моисей и его комбед.

- Погоди, Серафим, – остановил его старик Егор. – Я так разумею: ежели нас власть не трогает, пусть и будет такая власть.

- Вот в этом и дело, – оживился Абакум. – Ежели не трогает... Но посмотрим, трогает или нет.

- Еще как трогает! – с вызовом бросил Серафим. – Землю забирают. Я, сказать, занял старую зимовку, беженцами брошенную. Завел там заимку, все охорошил, а теперь им отдай?... Выкусите! – он вытянул лицо, выставил торчащий нос, похожий на кукиш.

Глядя на Серафима, потом на Абакума, Егор отмечал: у одного – кукиш, у другого – носок топора. Верно, что всяк нос чует свойский нос... А вот взять Мишку Бабанова... Он, хотя фигурой и дубоватый, но разворотливый, лицо – кованое, на загляденье, недаром он по молодости захлест кружил головы бабьи и портил девок.

- Хошь не хошь, однако землицу возверни! – осудительно загудели казаки. – И кому? Кто бежал, вернулся на готовое.

- А беженец... Какой он землепашец? – как раз и вступил в разговор Михаил Бабанов. – Несусветный лодырь.

Бай Шайбек, услышавший это, своенравный, гневливый, повел на него недовольным взглядом:

- Ты, Бабан, плохо так говоришь. Абакум снова постучал по графину:

- Граждане мужики и казаки, тише! Сразу условимся: разные есть русские и разные киргизы. Не обижайся, Шайбек. Мы не имеем в виду, говоря о беженцах, людей твоего круга. Сколько в уезде байских хозяйств?

- Столько троп на летовку. Ага, есть.

- Это же сила! Поддержи русских хозяев, помоги, и мы поможем тебе. А потеряем мы, и ты все потеряешь. Мы повязаны. Закон борьбы. Так и не иначе. А коли так, пойдем дальше... Земля, значит, пока есть?

- Земля-то есть, – подтвердил Тимофей Саламатин. – Многие десятины на двор. А у Серафима Никишина и того боле.

- Ты мои десятины не считай, – злобливо обнажил зубы Серафим. – Свои блюда.

- О, так вы никак помещики! – воскликнул Абакум, хотя уже знал, по сколько десятин земли имеют здешние мужики.

- Помещики гонимые!.. – покачал он головой.

Абакум не выдавал голосом своего состояния, держался спокойно, ровно, уверенно, а при этих словах закаменел, настолько сжал кулак, что спичечный коробок в нем затрещал,

смятый. Никто из тюпчан не знал и не мог знать, что Абакум, он же жандармский офицер Щетинин, живя в Ташкенте, всего два месяца назад был в белом заговоре, организованном английским консулом в Кашгаре – на самом деле разведчиком – Бейли, который во главе британской военно-дипломатической миссии прибыл в Ташкент – столицу автономной Туркестанской республики представлять дела, интересы британской короны. Мятеж был подавлен, и Щетинин бежал в Семиречье, добрался до ставки атамана Анненкова, располагавшейся в тот момент в станице Абакумовской.

- И есть гонимые! – изливал свое недовольство хозяин дома. – Обдирают нас как липку. Хлеб сдай! По десять рублей за пуд. А на базаре я продам по сто пятьдесят. Видна разница? Еще какая! Опять же торговать... Ну, скотом, шкурами, шерстью – везти далеко не могли, торгуй только в своем уезде. А чего здесь, у себя дома, наторгуешь? Обложение на землю, на скот... А платить нечем.

- Поболе маку сей, на опий...

- Мак – не больно какая выручка.

- А еще до чего дошли... Предписали: содержите беженцев! – добавил Михаил Бабанов. – Чтоб я, да за свой стол – их, в драных нагольных шубах? Горло перехвачу всему нашему комбеду!

- И введена трудовая повинность, – Абакум подливал масла в плошку: пусть пока чадит, а потом разгорится,

- И трудовая... И гужевая. Паши чужую пашню, прочищай чужие арыки, ремонтируй дальние дороги. Давай тяглый скот, телеги – вози зерно, сено, военные грузы. Считать – пальцев не хватит.

- Одно слово – хозяева, а сами что батраки.

- Так, – потирал руки Абакум, вроде довольный всем, что говорили вокруг. – Что же получается? Землю верни беженцам – раз. Хлеб, налоги отдай – два. Работников не имей – три. Сам подставляй шею трудовой повинности – четыре. Военная мобилизация на защиту власти – пять. Не много ли? Явный перебор. Так вы ли хозяева? Пока – да. А потом хозяина, именуемого кулаком, ликвидируют. Что, хотите этого? Чтоб восторжествовала Совдепия? Я познал, что такое Совдепия. Служил в Ташкенте...

- Не бей в душу, Абакум. Подводи к делу.

- Прикинем силы... С одной стороны, с нашей. В Тюпе, считай, более половины дворов – зажиточные. Да в соседних селах – в Сазановке, в Покровке... Да байские хозяйства. Воистину сила. И реальная власть. А с другой стороны... Какова та власть, законная? Вернее самозванная. Волостной ревком? Партячейка?

- У нас и ревком, и комбед – все едино.

- Сколько там красных деятелей?

- Человек двадцать. Председатель комбеда – Моисей Колодный, телеграфист, с почтовой станции.

- Ну, Колодушка, берегись! – тихо, словно самому себе, молвил Михаил Бабанов. – Точно будет красный, случится час, покровяним сопатку.

- Попридержись, ретивый, – одернул его Абакум. – Кто еще в активе? Они вооружены?

- Избач Арнаутов, учительша Летникова, фельдшер Антипин.

- У них еще состоит айльный табунщик.

- Есть дружина с берданками.

- А еще Митрий Абазин, – вставил кто-то.

- Так, на бумаге.

Пока Митька сидел и помалкивал.

- Это я знаю, – сказал Абакум. – Нужно плотнее войти к ним в доверие. Стать своим... После, Дмитрий, мы с тобой покумекаем. Что почем... А как милиция?

- А-а, наша милиция спит-почивает.

- Тем лучше, – Абакум подвигался на стуле, уселся удобнее. – Итак, наша задача – сплотиться, собрать силы в один кулак. Вооружиться. У вас, мужички и казачки, припрятаны винтовки, ружья. Поглядите, чтоб была полная их готовность... Но своих сил будет мало, необходима помощь. Поэтому есть мысль – послать письмо атаману Анненкову, – он развернул бумагу. – Письмо такое... Не один я руку приложил. Поучаствовали Никишин и Бабанов. Думаю, они уловили общие ваши устремления. Слушайте: «Славный и геройский атаман! Мы, трудовые земледельцы Тюпской волости Каракольского (по-новому Пржевальского) уезда Семиреченской области, стонем под игом деспотической власти Совдепии. Терпеть далее мочи нет. Взываем: проникнитесь к нам состраданием – пришлите отряд казаков, и бог вас возблагодарит». Вот так... Может, что добавить?

- Все порядком, – наконец измолвился Митька Абазин. – Что те молитва!

- Молитва! – раздраженно передернул парня дед Егор. – Отряд что – кровь? Как водится... А молитвы на крови не бывает. Ну, письмо, отряд... А дале что?

- Верно мыслите, старейшина, – улавливая нежелательное раздражение старшего Саламатина, внешне одобрительно сказал Абакум. – Что дальше? Это всем надо заранее знать, ясно представлять: что восстанет пред нами? Ну, кровь не обязательна. Можно и без нее обойтись. Главное – возьмем власть. Пока здесь... Надо обезглавить комбед, лишить его свободы действий. Он подлежит полному роспуску. Особое замечание: дома всех активистов держите под наблюдением. Что, как – в этом мы установим порядок... Потом пойдем на Каракол. Далее... Имейте понимание и о наших стратегических планах. Мне скрывать нечего. Далее – соединимся с курбаши Иргашем в Кетмень-Тюбе. А это – выход в Фергану. В общем, повторяю, стратегия. Вам это знать – действовать энергичнее здесь, в Тюпе. Тюп мыслится, как трамплин. Уразумели?

- Ну, Абакум, ты голова! – не то с потайной завистью, не то со скрытым ерничаньем сказал Митька Абазин.

- Имей свою! – строго глянул на него Абакум и этим самым дал окончательно понять, что он вовсе не набожник Абакум, а высшей атаманской властью снаряженный эмиссар. – Еще вам скажу... Сверх всего. В Закаспии свергнуты Советы, там создано свое правительство. С помощью англичан. В Ашхабаде находится штаб генерала Маллесона. Он собирает силы – двинуть на Ташкент. Теперь понятно, зачем нам нужен путь на Фергану. Ваш Тюп – начальный ключ к этому пути. Атаман Анненков посоветовал: говори своим людям всю правду, ничего не скрывая и не маскируя, – в этом наше спасение. И я разделяю его благожелание: другого шанса не будет. Ни у нас, ни у вас. То есть нашего общего шанса... – Абакум отдышался и напрягся всем телом. – Путь на Фергану... Тогда Туркеспублика будет окружена с севера и с юга. И конец! А чтобы наше дело вышло успешно, надо возбудить города и веси. Как? У нас есть листовки. Заготовлено достаточно. Раздавайте, рассылайте. Конечно, листовки попадут к большевикам, они встревожатся, как это уже замечено, начнут принимать меры, но это для нас и необходимо. Пойдет ажиотаж. А это и всколыхнет народ. Поднимет...

- Поднимет ли? – подали голос казаки. – Бедняк, он не пойдет.

- Для того-то мы идем! – особо твердо сказал Абакум. – А теперь вот что... Письмо есть. А как его доставить атаману? Прямо, через фронт – опасно, могут перехватить. Определен-

но перехватят. И каюк нашему посыльному и всей миссии. Исключить любой риск... А можно – и это всего вернее – переправить через Кульджу, там есть наши люди. Так, всем ясно, безопаснее. А посему нужен человек, который знает путь на Кульджу, еще лучше – кто там бывал. И желательно – из азиатов. Пораскиньте мозгами...

- Есть такой азиат! – охваченный внезапным азартом, выкликнул Митька Абазин.

- Кто?

- Работник Саламатиных. Мантулит на заимке.

- Посмотрим, что за работник.

Дед Егор зашевелился, нагоняя на себя суровость.

- Насчет работника надо у меня спрашивать.

- Спросим, спросим, – успокаивающе отозвался Абакум. – И попросим вас, Егор Ерофеевич: что вы об всем этом скажете?

- Что скажу? – Егор помедлил, освежая владевшую им думу, покрутил завитушку бороды. – Что скажу? А так скажу... У каждого малахая своя изнанка. Вся жизнь наша – борение за хлебушек. И сколько я помню, поперек этого борения летят пули. Люди, их пушающие, считают, что это нуждой вызвано, пока это всего главнее, а потом они выправят жизнь. Однако пули-то, чай, слабее зерен. Вот в чем диво мирское. А этого дива и не разумеют воители.

- Разумеет, старик!

Эмиссар Абакум оторопел, растерялся, даже дыхание у него перехватило, но все это утаил за внешним строгим видом, одернул ризу и потянулся к графину.

- Разумеет. За это и поднимем чарки.

В подобном ответе старика Егора он явно не нуждался.

На Джууке все переменялось. Да и называли теперь эту реку, где стояла саламатинская мельница, эту местность не Джуука, а Зуука. Все на новый манер... А дорога туда шла так же, как и шла издавна, когда в Иссык-Кульской долине, в восточной ее части, появились первые русские сторожевые укрепления, когда Егор Саламатин и Мамбет возили свой помол на Аксуйский пост, – пересекала реку Джергалан, затем Каракол, где и возникло поселение такого же названия, ставшее потом центром уезда, мимо голых увалов Оргозора, в ту сторону, где долина сужалась, смыкалась с урочищем Кызыл-Джар, со скальными воротами ущелья, – оттуда начинался путь на перевал, на нарынские сырты. Уже нигде не было видно рощиц одичалых яблонь и урюка, заброшенные пашни заросли типчаком, колючками, стали недвижимой целиной, где паслись малыши отарами овцы. Не было кряжистых осокорей... На том месте стояла глинобитная овчарня. Заимка хранила следы того, что и этот отдаленный угол долины не миновало повстанье: в стенах овчарни зияли проломы, мельница, сложенная из тонких бревен, много раз подправленная, местами чернела подпалами. Повстанцы хоть и не разгромили заимку совсем, в пепел – знали, что она принадлежала старому оруссу Егору-бугу, издавна уважаемому во всей округе и далее, – но самые изгойные из них, наиболее обозленные, доведенные шрапнелью и солдатскими штыками до предельного отчаяния, прошли по заимке с тяжелыми палицами и факелом из пакли и жира.

\*\*\*

На заимку ехали в ходке, набитом духовитым сеном, Тимофей Саламатин и эмиссар Абакум. Эмиссар выведал у Митьки Абазина все о саламатинском работнике: кто он, какого рода, как жил и живет, к чему тягу имеет; вернее, все это выложил сам Митька – знал при-

шлого скотника, бывал с ним в ночном, часто видел его с Аленой, полнясь ревностью, страдая от этого, – смекнул: если нужен человек для посылки в Кульджу, пусть посылают Мидина – подальше от Алены, от Тюпа, вообще от этого края, а там, вдали, за горами, в чужой стороне, всякое еще может случиться. А то и совсем сгинет, и тогда подступ к Алене будет вернее. Митьку даже трясло при таких мыслях, и он убеждал Абакума:

- Бедняк, был в Кульдже. Самый подходящий. Другого, лучшего для этого дела не сыскать. Тимофей Саламатин, мужик себе на уме, осторожный, с детства имевший боязнь перед более сильными, а позднее, уже в возрасте, перед более властными, все старался загладить неловкость, которая возникла по вине отца там, на полуночном сходе, у Никишина, когда он заговорил о зернах и пулях.

- Ты, добр человек, не бери во внимание, что сказал Егор Ерофеевич. Он всегда у нас такой. Чудит... Живет по некоей правде. А где она, правда? Он всю жизнь искал эту самую правду, и где она? Век гни горб, и тебя же – по горбу...

Абакум сидел в ходке ссутуленный, отстраненный:

- Зерна и пули... Пули слабее. Надо же явиться такому, и где – в голове непросвещенной. Ну и философ!.. Зерна и пули – силы несовместимые. В этом и трагедия... Но я служу второй силой, чтобы владеть первой. Служу, и поворота нет. Достигнем истины: что сильнее? Ай, философ... Вот-то будет истина, если диво окажется в том, что старик прав...

Обескураженный этими словами, Тимофей не посмел напрямую возразить эмиссару, но после длительного молчания все же сказал:

- По мне, так атаман тот, Анненков, будь посильнее Совдепии.

Абакум словно не слышал того, что сказал Тимофей, похоже, был занят своими думами, близкими или дальними, и когда заговорил, то больше, наверное, шел от того, о чем думал, что его угнетало, терзало, выводило из себя.

- Атаман... Сподвижник. Любимец. Мечом очистить Семиречье! И очистит... Чистильщик! – последнее слово вырвалось явно помимо его воли. – Атаман с дивизией. И всего-то в тридцать лет! Казачий офицерик... – отвернувшись, он глядел на заброшенные пашни. – Ну, атаман – ему атаманово. Главное – белое движение. Лишь оно великое. И ему – все силы и душу... Не жаль. Бодрее держись, Тимофей, сын Саламатина, поправим дела, заживем, как встарь. Только мужиков надо распалить. Как, подниметесь?

- Так уж пошли, назад – некуда.

\*\*\*

Заимка выглядела совсем опустелой, нежилой. Мидина они нашли в землянке, и эта землянка была единственным, что осталось от бывшего хуторка почти в неизменном виде – спуск ко входу, выложенный булыжником, скрипучая дверь, внутри – лежанка, лавка и стол из горбылей, печь из камня; конечно, и землянку подновляли, улучшали – стены были обложены жердинами, над печью приделан дымоход, – но в основном все оставалось так, как смастерил молодой Егор Саламатин.

Мидин лежал на застеленной войлоком лежанке, причем лежал необычно – в самом углу, почти сидя, согнувшись, прижимая колени к животу. Свалило, согнуло его новое обострение болезни. Он стонал, мученически морщась и стискивая искрошенные зубы.

- Это наш человек, Абакум ... – сказал ему Тимофей. – Слушай все, что он станет говорить. Так передал дед Егор.

- Что болит, живот? – спросил Абакум, когда Тимофей ушел на мельницу – проверить, все ли там на месте, ладно ли парняга присматривает за ней, за всей заимкой.

- Живот.

- Где?

- Здесь, под грудью.

- Сильно?

- Когда приступ, будто кинжал туда втыкают.

- Что-то с селезенкой... Нужно лекарство.

- Где его взять?

- Найдем.

Абакум вышел из землянки, вернулся с кошелкой в ней лежала разная дорожная снедь, –достал мешочек с завязкой, похожий на большой кисет, вынул из него плоский бутылек с бурой настойкой, взболтал, налил настойки в глиняную плошку, стоявшую на столе среди почернелых сухарей и желтоватых шариков курута – сушеного кислого сыра.

- Выпей.

Мидин послушно выпил, натянул на себя кусок рядна, закрыл глаза, притих, забылся; через недолгое время – еще Тимофей не вернулся – боль его отпустила, он откинул рядно, вытер со лба испарину.

- Легче стало? – Абакум сдвинул горкой сухари и курут, поставил рядом бутылек с плотной пробкой.

- Легче. Только в голову ударило – все плывет. Пятнами...

- Это и хорошо.

Абакум основательно оглядывал, оценивал парня – все его обличье соотносил с возможностями быть посланцем: невысок ростом – не будет сразу бросаться в глаза посторонним, с кем придется встречаться на пути, мускулистый – хоть и болен, но выносливый, шурит узкие глаза, словно целится во что-то – значит, есть склонность к приметливости, смекалистый, сможет выбраться из любого положения, даже самого сложного.

- Я тебя вылечу, – достаточно довольный своим наблюдением, сказал Абакум. – А ты тоже удружи. Есть одно дело.

- Какое дело?

- Пока лечись. Потом дело ... Это тебе лекарство, – Абакум указал на бутылек. поставленный им возле сухарей и курута. – А вот еще ... – он встряхнул мешочек, вытащил из него другой бутылек, такой же плоский, как первый, и с такой же бурой настойкой. – Начнется боль, принимай. Через неделю приеду. Договорились? Надеюсь на благополучный исход ...

Вновь приехал он, как и обещал, на седьмой день; столько дней выжидал – установить, должным ли образом подействует на парня лекарство, появится ли у парня тяга к настойке, каким будем его состояние – можно ли отправлять в дальнюю дорогу. Эмиссар Абакум приехал один, верхом, с запасным оседланным конем. Заимка в хмарный час казалась еще более пустынной. Мидин, скорченный, бился в углу лежанки:

- Лекарство кончилось, Не могу... Есть? Дай скорее... Да, подействовало, хотя и мал срок, – отметил Абакум.

- Помогает? Снимает боль?

- Как выпью, утихает.

- Порядок. Лекарство привез... С ним не пропадешь.

Абакум развязал мешочек, тот, прежний, похожий на кисет, – в нем было еще два бутылка, – плеснул настойки в плошку. Когда Мидин успокоился, эмиссар приступил к делу:

- Значит, так. Надо поехать в Кульджу. Ведь ты там был, говорят.

- Был.

- Знаешь дорогу. Знаешь город, обстановку.

- Будь она проклята, эта Кульджа. Я там чуть не загнулся. Не поеду...

- Не горячись. Подумай... Лекарство-то... Не поедешь, лекарства не будет.

- Загибаться, так уж лучше тут.

- Да чего тебе опасаться с лекарством? Оно надежно в любой момент поможет. Все твое, – эмиссар вновь тряхнул мешочком. – Весь курджунчик. В нем не только настойка. Есть еще и порошок. Я научу, как делать настойку.

- Ехать туда – нож к горлу.

И Абакум выложил главное, что припас, заранее и обстоятельно – выведаль и рассчитал, чем более всего можно взять работника с саламатинской заимки.

- Ты хочешь жениться на Алене?

Глаза Мидина вспыхнули. Он соскочил с лежанки, метнулся к двери, потом к печи, не зная, каким действием заглушить смутение, унять все то, что в нем всколыхнулось:

- Ты так говоришь: хочешь? Зачем так говорить? Алена – моя жена. Моя Чолпон. Светит мне, как звезда Чолпон. Я там, в Кульдже, умирал, а думал о ней. Умираю здесь, а думаю о ней. Еще больше. Чем дальше, тем больше. О люди, зачем нам перечесть?

- Э-э, вижу... Вижу, совсем припекло! Тогда слушай... Выполнишь поручение – женишься на Алене. Законно... Я договорился с Тимофеем и дедом Егором, – о последнем Абакум сказал для большей весомости своего обещания, подобного разговора у него не было ни с Тимофеем, ни с дедом Егором, так как со стороны Тимофея такого разговора вообще не могло быть – он все делал и сделает для того, чтобы не знать никакого безродного беженца, да его и вовсе нет, не существует на свете, а там, на заимке – одна старческая блажь; дед же Егор, памятуя о дурном отношении богатых селян к бедным аллаховерцам, считает пока излишним толковать об устройстве жизни молодых. – Есть письмо. Его следует достать в Кульджу. Адрес я дам... Встретит тебя наш человек. Сотник Попелявский. Запомни: Попелявский. И все. И можешь возвращаться... Письмо вшито в этом курджунчике. Конечно, письмо не доставать. Это строго! Там заметят... Слушай далее. Конь, что стоит в кошаре, – в твоём распоряжении. Сначала поедешь в Нарын. Там найдешь такого человека... Шатилина, уполномоченного по заготовке опия. Он тебе еще даст лекарства. Много лекарства, – Абакум положил на стол, рядом с мешочком и плошкой потертый кожаный бумажник. – А это деньги. Тебе и... На границе, на пограничном пункте Иркештам, добрые люди. Командир погранполка Кириянов. Он поможет... Пустят через границу. А китайской охране дашь золотые монеты. Они здесь же, в бумажнике... – Абакум потер пальцами его уголок, помедлил. – На крайний случай, если попадешь в руки красных, говори: везу лекарство родственникам в Кульдже. Отберут, не больше, отпустят... Все понятно? Завтра и отправляйся. Я провожу тебя до перевала. С богом! С твоим аллахом... А настойка делается так...

В шумной, разнолюдной – китайцы, дунгане, русские – и пыльной Кульдже, ставшей пристанищем английской агентуры и беглых военных туркестанцев и россиян, – здесь конного посланца эмиссара Абакума встретили как родного. Сотник Попелявский в подогнанной военной форме с горделивой осанкой – одно плечо приподнято, другое было пониже, и это, второе, плечо иногда дергалось, что портило осанку, – принял Мидина в богатом по виду доме, по-свойски, настолько растроганный, будто в самом деле едва дождался близкого по крови, а частью играя словами перед своими сослуживцами:

- Земляк, дорогой! Устал в дороге? Путь неблизкий. Путь праведности... Как там мой Каракол? Бедная маман. Мы здесь, окопались. Надежно. Силы копим. А она... Осталась с большевиками. Куда ей, старенькой?.. Джигит, веди коня в стойло, вон там, за садом. И отдыхай... Где, говоришь, бумага?

Сотник устроил его на айване приземистого, но длинного дома, который он занимал вместе с другими военными, прибывшими сюда, вернее, бежавшими из тех мест, откуда их потеснили красные сабли. Он вспорол мешочек, прочитал мятую бумагу, и плечо у него еще больше заходило:

- Наконец-то! Господа, от Щетинина. Письмо атаману Аннекову: Тюп вызывает о помощи. Подготовлен... Письмо срочно отправить! Я пошел писать своей маман... Джигит, день-два и возвращайся. Завезешь письмо в Каракол. Сообщишь обо всем сделанном тому, кто тебе доверил эту миссию... Господа, началось! Нет, продолжается. До победы справедливости. Я, эсер, верил всегда в это. И верю...

День-два и возвращайся... Хотел так и сотник Попелявский, и хотел так Мидин, только и думавший о том, как поскорее исполнить поручение странного Абакума и вернуться в свой край, туда, где ветра наполнены озерными запахами, над пастбищами и пашнями поют совсем другие, более звонкие, с ручьистой заливистостью жаворонки, где есть самое желанное для него – Алена... С ведрами на коромысле она спускается к речным дощатым мосткам, выбитым, вытертым до белизны тазами, корытами, мокрым бельем при полоскании, – под ними струится чистая вода, перемывая желтый песок и разноцветную гальку, блестящую, как ее глаза. Она всходит на мосток, ставит ведра, выпрямляется – ячменного цвета коса, вольно сплетенная, толстая, распушенная понизу, скрывает собой талию, – вздрагивает: спиной чувствует – он, только что напоивший коней, стоит в зарослях цветущего джерганака, наблюдает за ней, дивясь тому, как толста коса – всю талию скрывает. Она обернется, угадает, где он таится, побежит, измаяно припадет к нему, и ее вздохи сольются с пчелиным гулом...

Поскорее же туда...

Но так не получилось. Его снова скрутил стойкий приступ невыносимой боли – там, под грудью. Сотник встревожился:

- Серьезная болезнь?

- Пройдет... У меня есть лекарство, – опасаясь, что сотник воздержится посылать его обратно, Мидин показал спасительный бутылек, открыл пробку и глотнул прямо из бутылки, как бы доказывая, что у него есть возможность утихомиривать болезнь. Сотник взял бутылек, внимательно посмотрел на него, на то, что в нем плескалось, понюхал и покачал головой:

- Это лекарство? Боюсь, что это лекарство тебе, джигит, – на всю жизнь. До конца дней... – он вернул бутылек, тщательно вытер пальцы носовым платком. – Так, во фронт!.. Полагаю, ты сейчас не можешь, не в состоянии, так сказать, – раздумывая, он подергал портупею. – Кого же послать? Толен? Где Толен?

Военным в этом доме прислуживал малай – непоседливый малолетний, но привыкший к самостоятельности Толен. Чуткий на требовательный голос, он появился на айване.

- Где твой брат? – спросил сотник.

- На базаре.

- Скажи ему, пусть придет ко мне.

Мидину стало совсем плохо, он метался в горячке, в бреду, приходил в сознание и все думал об одном и том же, что не давало ему покоя с той минуты, когда на заимку приехал че-

ловек с мохнатыми бровями и сказал: «Я тебя вылечу». Лекарство было толковое, действовало почти сразу, а потом, через полдня, через день становилось еще хуже. Что, так можно вылечиться?.. И другое ... Золотые деньги. Ему, ничем особым не приметному всаднику, повсюду и все давали дорогу, особенно на границе – и с той, и с другой, китайской, стороны, словно перед ним была послана весть: джигита с исхудалым лицом не задерживать. Странно... Какой-то Абакум послал сюда, в Кульджу, с письмом какому-то атаману, а здесь хозяин длинного дома с айваном отправляет письмо в Каракол. Что это все значит? Что-то же значит...

В горячке, лишь слегка отступившей, когда все военные ушли из дома, Мидин позвал малая и попросил привести к нему своего брата, о котором говорил сотник; мысль: «Что-то же значит...» – точила его, толкала уточнить это, раскрыть и найти хоть какой-нибудь ответ действием.

И тот пришел.

- Тебе нужна помощь?

- Брат, меня зовут Мидин, внук Мамбета.

- Почему – не сын отца?

- Дед более достоин.

- Меня зовут Касым. Зачем позвал?

- Какого ты рода?

- Рода белек, племени буту. Хочешь в родные кочевья?

- Кто же этого не хочет?

- Будешь там. С тобой говорил сотник, главный в этом доме?

- Говорил. Намерен послать меня в Каракол.

- Надо ехать. Удобный случай... Теперь там наступает другая жизнь, другие порядки.

- Что ты хочешь сказать?

- Много. Потому что много думал, когда валялся больной в землянке... Слушай своего соплеменника, который – по деду – из другого племени. Сарыбагыш... Бугу, сарыбагыш – когда-то они враждовали. Ныне общие беды их сплотили. Дай бог, навсегда. Слушай... То письмо, которое тебе дадут, довези до Каракола. Что бы тебе ни стоило, довези. А там... Найди ревком. Скажи им, что из Тюпа послано письмо атаману Аннекову. Отправлено человеком по имени Абакум. И покажи им письмо, тебе врученное.

- А это не опасно?

- Они прочитают, и ты доставишь письмо по адресу. Я так думаю... Что же здесь опасного? – Хоп!

Касым ушел.

А Мидин лежал на айване, на мягкой постели, какой он еще ни разу не имел в своей жизни, и думал, гадал, представлял, когда и как он приедет снова туда, на Иссык-Куль, на Тюп и Джууку, где есть взрастившая его земля, его кочевья, его Алена с сыном.

Он думал, когда и как вернется...

Но суждено ему было совсем другое – он не вернулся.

А в Караколе прочитали письмо:

«Мамаша, дорогая!

Шлю по счастливой возможности низкий поклон. Беспokoюсь: как у тебя здоровье, самочувствие? Знаю, нелегко одной, без меня, но и ты знаешь, что все это вынужденно. Разлучение страждущих есть знак неотвратимости возмездия.

Прости, что я, по службе сотник Семиреченского казачьего войска, начальник Каракольского гарнизона, назначенного Временным правительством, по убеждениям принадлежащий к партии социал-революционеров, чья главная цель – утверждение на земле ее главного хозяина – землепашца, оказался вдали от тебя, внушавшей мне всегда мысль о том, что земля одна – на всех. Еще раз прости – я пошел другим путем. Земля для тех, кто умеет ею владеть. Не скорби, не тревожься за меня. Я служу в стане Колчака – через атамана Анненкова, которым возложено на нас крепить резерв. Заверяю, скоро вернусь к вам, в Каракол, и не один, а с подобающим отрядом. Тогда рассчитаемся с насильниками. Передай всем нашим: пусть будут готовы. Да иссохнет кладезь терпения!..»

В Тюпе поднялся переполох. Катился по улицам, стучал по булыжинам разбитый тарантас. Двое за вожжами оглашали:

- Мужики, на площадь! Создаем дружины.
- Мужики, на сход! Создаем дружины во всех селах.

Во двор Саламагиных разгонно, точно спрыгнул с тарантаса, растрепанный, с глубоким запыхом, потный, вошел, вломился в калитку Серафим Никишин. Тимофей находился возле клуни – на муравной полянке, пристроившись на чурбане, отбивал косы, дробно постукивая молотком и пробуя блестящие острия пальцем, – уже приближалась сенокосная пора. Старик Егор, пребывая уже не в кожухе, а в теплой безрукавке и брезентовом фартуке, сидел под навесом у ларя, за своим шитвом: на короткой залосненной доске, лежавшей на его коленях, – сапожный нож, шила, дратва, чувяки, смастеренные уже наполовину, рядом в ящике – куски кожи, колодки, смола, белые – из березы – гвозди. И не было особой нужды в его сапожных самоделках – обувку для семьи заказывали добрым мастерам, – но он еще с молодости наловчился тачать чарыки да чувяки и в последние годы занимался этим лишь для того, чтобы хоть как-то избавиться от вынужденного, постылого стариковского безделья.

- Дождались? Сидим, что те клуши! – громко заскрипел Серафим. – Дождались...
- Чего шумишь-то порану? – отложил шило и дратву Егор.

- А то и шумлю... Тихо сидим, посапываем. А они, комбедные, не сидят. Получено указание: сколотить дружины по всему уезду.

- Так у нас уже какая-то есть, – Тимофей тоже отложил косу и молоток.

- Новово сколачивать. Да главно-то... Тьфу! – Серафим сплюнул озлобленно. – Главно – ты же ее, дружину, и корми. Привезут к вам на постой шармака с берданой, и будьте милы – харч ему и постелю. Ты его корми, дрыхнуть укладывай, а он-то тебя берданой – в зад. Это ж надсмехательство какое! В душу плюют... Ну, не-ет! Фигу им с маслом. Прелого сухаря не дам!.. А Митьку Абазина мобилизуют. Мать криком кричит... Один кормилец. Не-ет! Наступит этому конец. Сзывайте народ – для нашего дела. Петицию писать: никаких дружин!

И он побежал дальше, по другим дворам.

Поздним вечером снова, как ранней весной, сошлись у Никишина. И снова у ворот поджидал вихлястый Ленька с холстиной на голове и выкатывал очи по сторонам. Людей собралось намного больше, чем тогда, весной; вновь прибыли аксуйские казаки, добавились сазановские и покровские мужики. Эмиссар Абакум, облаченный в прежнюю ризу, так же сидел во главе стола, под образами. Все напряженно, вопрошающе глядели на него: что он скажет?

И он поднялся, туго свел брови на переносице:

- Чаша, так сказать, переполнена. Но имеется радостная весть. Довожу до вас: письмо ваше получено атаманом Анненковым. Ждите отряд, уже скоро... Атаман сослал полковника Сидорова в Кульджу. Здесь, на фронте, лишних сил нет, а в Кульдже много наших офи-

церов и казаков. Отряд уже сформирован, на днях выступит сюда. Но, господа... – Абакум повысил голос. – Отряд отрядом, а вы сами чего же? Только роптать? Ропотом Совдепию не перешибешь. В Караколе уже объявлено осадное положение. Готовятся... А мы? Листовки действуют, но мало. Надо будоражить все села и айлы, где есть наши сторонники. Шайбек передал: его люди все готовы, ждут сигнала. Вот список – кто куда пойдет. Главное – оружие: винтовки, ружья, обрезы. Дружины вам навязывают? Создавайте дружины, но свои. Времени осталось, повторяю, дни...

- Митька Абазин... – Серафим выставил над столом свой нос-кукиш. – У него есть важное, что сказать.

- Дело, кажется, керосином пахнет... – заговорил Митька. – Моисей допытывается: кто это, мол, объявился у нас, в Тюпе? Видел, дескать, чужого во дворе Никишина. В ризе поповской... И с Тимофеем Саламагиным на ходке ехал. Я говорю: «Слышал, человек божий, идет в монастырь». А он: «Что-то долго идет. Подозрительно. Надо проверить. И в уезд сообщить».

- Что ж ты до сих пор молчал? – Абакум вытянулся, строго спросил, даже сурово.
- Так он только этим утром пытал.
- Сразу бы и доложил!.. Имейте в виду на дальнейшее: что там, где – сразу сообщайте мне через Абазина. А теперь зачитываю список... И по коням!

Разошлись люди. Остались сам хозяин Серафим, эмиссар Абакум и Митька Абазин, специально попридержанный эмиссаром, – он дал понять ему, что еще предстоит особый разговор.

- Ну, что будем делать? – ледяным тоном сказал Абакум. – С этим Моисеем? Прозеваем – будет худо. Он все вынюхает. И не пощадит. Под корень нас – саблей, из винтовки. За свою красную веру... Максималист. Маньяк. А впрочем, и с нашей стороны... Я и сам максималист.

- Коль уж пошло, чего гадать? – молвил Серафим. – Одно... Заткнуть ему рот, залепить глаза. Да навсегда.

- Это определено. В этом нечего гадать, – ледяной тон эмиссара нисколько не таял. – Мой живой, во плоти – антипод. И философия здесь ясна... Усваивай Дмитрий. Мы – силы полярные. А полярные силы несовместимы. Они обречены на уничтожение – та или другая. Или – или... Кто навязал такой исход – мы, белые, или они, красные? В этом разберется история. Но суть нынешней схватки именно такова.

Слушал Митька эти слова эмиссара, твердо, чеканно произносимые, однако они мало его трогали: не потребна ему никакая там полярная сила, вот если бы заполучить Алену Саламатину – а все с помощью его же, эмиссара, складывается вроде удачным порядком, тогда был бы настоящий исход, была бы видная победа, которую он жаждет всеми своими живо, горячо ощутимыми силами, всем своим нутром.

А или-или... Ни эмиссару Абакуму, ни тем более Митьке не было дано понять, постигнуть –мыслительное состояние максималиста, маньяка какой-либо идеи ограничено, – что при столкновении полярных сил ни одна не может достичь желаемой победы, обе потеряют многое, жизненно важное; даже в случае, если одна и достигнет полного перевеса, она впоследствии сама снизойдет до ущербности.

Абакум не доходил до такого понимания – глаза ему застилала уверенность в истинности, победе только его стороны, белого движения, – но все же знал, воочию видел, что их победе требуются огромные жертвы, что ей сопутствует и будет сопутствовать кровь. А кровь – высшее проявление трагедии.



- Или-или... Приговор predetermined, – похоже, Абакум рассуждал об этом больше сам с собой. – Только не здесь... И рано. Станет известно, сразу из уезда нагрянут. Надо его увезти... Мне, признаться, его жаль. Но что делать? Иного исхода нет. Вывезти и там подержать... Куда и как? Думайте.

К утру надумали, как выманить Моисея и куда его упрятать. Лишь рассвело, Митька, ободривши себя стаканом первача, в легкой стеганке – с ночи шла морось, – появился на почтовой станции, поднял телеграфиста с постели:

- Вставай. Поедем. На кордон беженцы напали. Архипа Булыгина жгут. Убивают... Надо спасать. Человек наш. Казак один, теплоключенский, приехал, говорит: жуть, какой там погром!

- Это верно? – спросонья хохлился Моисей.

- Казак же своими глазами видел. Копытин... Он на улице, с телегой. Ждет нас.

- Сообщить бы в уезд...

- Да что ты все: в уезд да в уезд! А мы сами – бабы? Возьмем еще Ленку Никишина. И там, в Теплоключенке, казаков попросим. Помогут! Прихвати берданку. Разведаем, что там, и сообщим в уезд...

На кордоне – во дворе, в доме, во всех подворных постройках – амбаре, загоне, бане и там, в стороне, у горячих ключей, – нигде не было никакого разора, не было видно никаких беженцев, все выглядело спокойно, только лаяли две цепные собаки. И хозяин не появлялся – неделя уже, как он уехал в Каракол по лесничим делам. По двору бегал рыжеголовой малец, а лицо у него было темное, едва не темнее печного горшка, и глаза блестели в косом разрезе, точно черные влажные сливины. Из дома вышла Марья – женщина рыхлая и подслеповатая:

- Нечай, гости? Аи, неожиданные.

- Ничего, – сказал Моисей, снимая с плеча берданку. – Мы по тревоге. Якобы у вас...

- Не гости! – бросил Митька, оглядывая двор. – Хозяин где?... Леня, позри в загон. Может, хоронится там кто?..

- В уезде хозяин.

- В каком еще уезде? А где беженцы?

- Какие тут беженцы?

- А чей пацан? Черномазый...

- Наше дитя.

- Как так ваше?

- А так, наше и есть.

- Такое и ваше? Заливай, тетка! Где беженцы? Вот и проверим...

- А где же погром? – в недоумении топтался Моисей.

Митька прошел к бревенчатому амбару с маленьким оконцем под крышей, с дверью, окованной железом, с большим замком, накинутым на одну петлю, открыл дверь, шмыгнув в амбар и попятился от него:

- Моисей, глянь!

Телеграфиста начал душить кашель. Иссушенный чахоткой, хилый телом, с шелушащимися губами, тронутыми воспаленностью, он напряженно вскидывался, хватаясь за грудь, опадал при выдыхании, склоняясь и прикрывая рот цветастой тряпкой. Почти незрячий от выступивших слез, откашлявшись, он подошел к амбарной двери и остановился – что-то помимо кашля, кольнуло его изнутри, придержало, – очевидно, он полнее заподозрил неладное, оглянулся на телегу, на казака с винтовкой, и в этот момент Митька выхватил у него

берданку и толкнул в амбар. Моисей ухватился на косяк, хотел вывернуться, отпрянуть от двери, но на его руки бросился, повис Ленка; слабая от тяжести, руки скользнули по косяку, а Митька со всего маху толкнул телеграфиста в спину ногой, и он перелетел через порог и упал к стене, на пустые мешки. Абазин вмиг захлопнул дверь и навесил замок. Моисей опомнился, вскочил, застучал в дверь:

- Дмитрий, ты что? Рехнулся? Что это значит?

- Ничего, Моисеюшка, – Митька потирал ушибленную о косяк руку. – Так надо. Побудь там и не шуми.

- Ты больше чем рехнулся. В чем дело? Я тебя... Выпусти. Открой, тебе говорят!..

- Поговори! Все. Довольно. Ты арестован за то, что хотел меня мобилизовать.

- Всех молодых мобилизуют. И не я, а по указанию оттуда, из уезда и из Ташкента.

- В Ташкенте жарко. Вот и охолонь в амбаре. Казак, Копытин, иди сюда. Становись в охрану. Еще казаков призову... День, два – сколько понадобится. Дверь не открывать. Хлеб, воду давайте в оконце. Не околеет...

- Одумайся! Ответишь! У-у!.. – и снова стучал, бился Моисей, утробно взывая и грозя, – где и сила бралась у слабого, чахлого. – За такое ответишь. В уезде...

- Отвечу. Когда уезд будет наш... А тебя на свадьбу приглашу. На свою...

И Митька осекся, словно горло ему перехватило арканом из-за угла. Он глядел на рыжеголовой мальчика с раскосыми, чернью блестящими глазами.

- Мать, это чей пацан? – Митька, все потирая руку, подступил к Марье, так и стоявшей на крыльце дома. – Говоришь, ваш? Откуда он взялся? Не морочь голову... Откуда?

Все, о чем он долгое время думал, что ему мнилось – об Алене, о себе, о саламатинском работнике Мидине, – сейчас, при виде мальчика, в лице которого – пусть и отдаленно – улавливалось знакомое, близкое, всколыхнулось в нем так, что он не мог нормально держаться, без психованности; он же видел их не однажды, видел вместе, у реки, на водопое, и тот, в полосатом халате, как-то даже обнял ее, но тогда он подумал, что это просто так, безвинная игра. Оказалось не игра... В мальце определенно видна помесь их крови. Вот так...

- Откуда?

- Нашли. Взяли. Подобрали на гумне. Подкидыш.

- Подкидыш?

И снова перед ним всплыло – река, огнистая от заката, водопой, пестрый от следов копыт, шуршащие камыши за джерганакон, тихая луговина, окаймленная кустистым талом, и в конце луговины двое, взявшиеся за руки, – идут, бредут по траве, по тальнику и дальше, дальше, в закатное полымя. И пропадают... Они? Алена и Мидин? Какое сомнение? Конечно, они. Теперь-то совсем ясно: они!..

- А ну-ка, идем, тетка! – тупо дуря, Митька схватил ее за руку, втащил в сени, толкнул в угол; она оторопело пучила глаза, трясая головой, повязанной платком по брови. – Говори! Все говори. Все как есть. Чей пацан? – он воспаленно дышал ей в испуганное лицо.

- Наш. На гумне взяли. Приемьш.

- Мели, хрычовка! – Митька распахнул стеганку и вытащил из-за пояса обрез, приставил ей к груди. – Говори!

- Ох! – обомлела Марья, приседая. – Убери, лях...

- Не убери, пока не скажешь. Раз!.. – его охватило бешенство. – Ну? Считаю. Раз, два...

Она вся тряслась и молчала, задохнувшись. Он отвел обрез немного в сторону и нажал курок – острый клин огня полыхнул у ее плеча и дробь полоснула по стене. Марья вскрикнула, обхватила руками голову, сползла по углу, медленно подгибая колени, на пол. Митька

дернул затвор обреза, патрон вылетел, покатился под ларь, дымясь и посверкивая на донышке, у пистона, свежей меткой – двумя черточками шалашиком и третьей поперечной. Безумно ломая пальцы, он вставил новый патрон.

- Чей мазурик? Последний раз... Все! Марья омертвело выдохнула:

- Алены нашей...

- Вот так! Наконец – вот так. Га-ах, слепец! Душу ей стелил. Га-ах, курвешка...

Митьку махом вынесло из сеней. Он вскочил в телегу, рванул вожжи, вскинул длинную плеть и сплеча хлестанул коня. Хлеща его плетью и вожжами, он изводил свое бешенство, которому окончания не виделось, да он и не желал этого, неупутево соображая, – хлестал и хлестал, лишь бы излилась его гневная боль. Га-ах, Алена!.. Га-ах, потаскуха, кошмяная подстилка, обглоданная кость, брошенная на тое в юрте из-за достарха на тем, кому не положено быть за ним: «Ме!» То, что он долгое время чуял нутром, чего опасался, надеясь все же на лучшее, – все так и вышло. Этим она не одну себя опоганила, но и его, Митьку Абазина, самого видного парня не только в Тюпе... Самое ужасное: то, что он ее домогался, знает все село. Любил. А теперь ему в лицо станут бросать: кого любил, кого домогался? Подстилку, га-ах, кусок негодной кошмы? В нем кипело предельное возмущение, его душила накатная – волнами – гневность, жгучая, как расплавленная смола при осмолке лодок.

Эмиссар Абакум – он лежал на низком топчане в дальнем амбаре обширного никишинского подворья, читал потертую газету – только глянул на Митьку Абазина, посланного по весьма ответственному заданию, бросил газету, встревожился:

- Все ли в порядке?

- Все. Сидит в амбаре. Казак к нему приставлен. Будут и другие.

- А что это тебя так повело? Перекрутило...

- Киргизенок... Там, на кордоне, – Митька все более чумел. – Вылитый.

- Ну и что? Они везде, киргизенки.

- Так какой? Рыжий.

Эмиссар Абакум рывком приподнялся со своего ложа.

- Рыжий?

- Ну, говорю... Алены... Ну, ее, Саламатиной ... Нагулянный. Марья, жена лесника, призналась. Вытащил из нее... Точно!

- И с кем нагулянный?

- Да с этим, с Мидином. Кого в Кульджу послали. А она... Ну, недотрога!.. Ноги повыдергаю! – несдержимо кипятился Митька. – Постреляю!

Абакум усиленно потирал пальцами виски:

\*\*\*

- Погоди, дай сообразить, – при улавливании необходимой мысли его даже затрясло. – Мидин, тот киргиз? Внучка того старика?

- Она. Сирота.

- Тем лучше. Так-так...

Еще один толчок мысли, еще один: так-так... Идет, идет... В нем явилось ощущение: он уловил то, что должен был уловить – не кто-нибудь, а он сам – за последние дни, даже месяцы пребывания в Тюпе, а именно – малый, частный случай, который может дать общий толчок, взрыв. Да, та жгучая искра для большого костра...

– Так-так... Тайная любовь! И плод этой любви. Вроде получается... – он довольно придыхнул от своего заключения, и брови его передернулись, как молния в черных тучах. – Русская и киргиз. И плод... Точно, получается. Ладком, Дмитрий. Как придут сабельки что нужно? Воспалить село. Вот и воспалим. Подготовь наших людей. Сына Никишина, своих гуляк... Все продумать. И преподнести плод...

\*\*\*

Ночь была покойная, глубокого лета, душная. Воздух млея неподвижный, настоянный на дневном зное, затаенный в сумеречности. Неохватное в своей сквозной вышине, сизое небо с ясно видимой звездной россыпью не освежало теплынную землю с никнувшим, уже налитым колосом и спелым разнотравьем. Дремал крашенный петух на крыше дома, словно на высоком насесте: в бурьяне, заполонившем изгороди, звенели цикады, где-то за рекой, в тальниках дзинькало ботало – там паслись кони. Такие ночи, пусть и душные, даны людям для отдыха – и людям, натруженным, отдающим все свои силы земле, и самой земле-кормилице, – для снов живых и смутных, отрадных и вещих. А для чего ж еще? Не для того же, чтобы в такую ночь насущный колос был срезан не серпом, а саблей.

Однако днем по селениям прошел слух: на Санташе появились белоказаки, они намерены двинуть на Каракол. Вроде уже взяли казачье селение Джаланыш. В ту сторону из Каракола – на упреждение – выступил отборный отряд городского гарнизона. Стучалась знойная хмарь над приозорьем. Что ж-таки еще будет?

Что будет – это и пыталась Алена у деда Егора. Он спал в клуне. Летними парками ночами он всегда перебирался из боковушки с богоматерью в просторную клуню, на сухую кошеную траву бросал рядом, кожух свой медвежий и полеживал в чутком летучем сне, дыша желанным травным духом.

- Что будет, родной деда? Что будет? Я же болею за всех вас... – сидя рядом с ним, на хрустком, пахучем сене, шептала Алена и чем дальше шептала, тем все более сокрушалась. – Егорка... Что там тетка Марья, уберезет его? А Мидин? Где он? Куда его услали?

- В Кульджу... Уж сколько говорено. Повез письмо атаману.

- Зачем ты его отпустил?

- А что я один подделаю? Они же меня не слушаются. Я им уже не указ. Чую, совсем не нужен.

- Мне нужен.

- Это одно, что меня утешает. Правнук растет...

А что человеку надоть – вот тут, на земле, пока он еще топ-топ по ней, руки ею ублажает? А надо знать: будет твое продление. Не какое-то непутное, а твое думное, по твоему стремлению. Так-то, Алена. Роди еще одного...

- Далеко Кульджа?

- А бес ее знает. Вестимо, недалеко. Купцы оттуда к нам ходили.

- Говорят, Моисей пропал.

- Что так – пропал?

- А так, говорят, пропал. Со вчерашней ночи нету в селе.

- Может, куда уехал? В уезд...

- Уехал бы, сказал. У них, у всех комбедчиков, так заведено. Один из них... Ну, кого зовут избач... Он видел – Митька Абазин чуть свет приходил к Моисею. С ним, с Митькой, еще кто – то был на телеге...

- Вот Моисей и уехал.  
- А Митька говорит: ничего не знаю, Моисея не видел.  
- Морока... Ты, Алена, будь пооглядистой, – предупредил дед Егор. – Лишний раз не ходи со двора. Посиди пока дома... Ох, паленым пахнет. Да и Митька надесь приходил, стоит на своем: отдай Алену. Тягость моя – ну, как отдам? Тебя, замужнюю...

- Дед, ты верно сказал. На том и жить будем. Алена вышла из клуни. Уже развиднелось... Звездная дымчатая россыпь ниже опустилась над землей, монотонно свистели цикады, с реки наплывами доносило волглую прохладу. И вдруг сквозь цикадное верещание она услышала цокот конских копыт. По гальке, по камню. Оттуда, со стороны реки. И увидела в струистом сумраке верховых – одного, второго, третьего... А потом – еще, не менее десятка. А за ними тянулась длинная цепь по два-три конника при оружии – над головами торчали винтовки и о стремена бились сабли в ножнах. Конники огородными задами выехали на приречную – рядом с Большой – улицу и здесь, на улице, разделились – одни двинулись на Базарную площадь, к длинной коновязи с кормушками, а другие поскакали по дворам, принялись стучать в окна, захлопнутые ставнями, в запертые на засовы ворота, в калитки, поднимая шум: «Люди добрые! Вставайте, поживее. Пришла вам помощь. Двинем на комбеды! Земля ваша.»

Алена бросилась к деду:

- Люди верхами, с винтовками ... Из-за реки. Тьма их. Село поднимают. Егор, уже задремавший, захрустел сеном:

- Все ж таки явились! – и он с болью нутряной застонал. – Началось... Пойдет бойня... А ты, любушка, иди к себе, в придел, и сиди помирней. Закройся, окна занавесь... Вот раньше-то не делали ставни, не обгораживались. Теперь – не окна, стена. Но и ты глаз не кажи. Будто нету тебя – и все...

Они еще не знали, что ворота их двора были густо измазаны дегтем.

\*\*\*

Глубоколетней благодной ночью в Тюп вошел белоказачий отряд в двести сабель. Поутру объявили сельский сход.

На Базарной площади миру собралось – не протолкнуться: и конные, и пешие – все с оружием, селяне именитые в сюртуках, здешний и приезжий разнолюды в легких рубахах и кофтах, старые и малые; строевые лошади стояли у коновязи, мотая гривами и хлеща себя хвостами, – отгоняли оводов и мух; дымились очаги с пятиведерными казанами, на торговые – из крепких досок – ряды выставлялись котелки и чашки, бутылки с самогоном и пшеничные караваи – похоже, готовилось вседневное угощение.

У самого большого лабаза кучились конные с погонами, с саблями, и среди них гарцевал на коне эмиссар Абакум, уже без своей ризы, в кителе, и фуражке с кокардой. Выделялись еще двое с португееми и револьверами в кобуре – это были прапорщик Демчак и сотник Попелявский; точнее, фамилия у прапорщика была Демченко, но сам себя он называл Демчаком – видно, и этим душа тешилась. К ним подошли именитые тюпчане с хлебом-солью, с поклонами до земли. Серафим Никишин и бай Шайбек держали на вытянутых руках, на расшитом полотенце, пышный каравай со светло-медной корочкой, а на каравае стояла небольшая зеленая пиалка, полная белой, промытой соли.

- Милости просим, храброе воинство! Наш дом – ваш дом.

Серафим Никишин говорил, а бай Шайбек кивал, словно он точно так же думал и его желания совпадали с желаниями Никишина, хотя на самом деле это было не совсем так: у него были и свои мысли, и свои желания, что являлось отражением – особенно после памятного бунта – настроений айльного люда, и поэтому он, человек сам по себе независимый, не мог только кивать согласно тому, что говорил Никишин, и не сдержал себя:

- Мы, киргизы, тоже говорим: моя юрта – твоя юрта. Но, понимаешь, не совсем. Хозяин – я, ты – гость.

- Желанные гости, – поспешил Никишин замять слова бая Шайбека. – Вот тут... Год назад, на этом месте, стоял красный стол. В сей же час... В добрый час мы встречаем наших спасителей. Дождались, слава те господи!

Прапорщик Демчак, угловатый, рябой от оспы, по-молодому соскочил с коня, отломил, как положено, от каравая каленую корочку, макнул ее в соль, и корочка захрустела на плотных, намеренно обнаженных зубах. И сотник Попелявский сделал то же самое. Демчак рывком, махом одной ноги, вскочил в седло, натянул повод, сильный, уросливый конь под ним заходил, игранул острыми ушами, ударил оземь передним копытом.

- Трудовой народ! Сельчане! Вы, у кого большевики изымают землю, кого притесняют нещадно, просили прислать помощь. И мы к вам пришли. Здесь решается судьба нашего дела. Здесь, в Тюпе, где крепок хозяин, будет штаб последней схватки с Совдепией. В Сибири – Колчак, а в Тюпе – Демчак, – вероятно, прапорщик полагал, что это не столь забавно, сколь значительно. – Восстал славный Тюп, вотчина моей юности. За ним восстали Покровка, Сазановка, Теплоключенка, другие села и казачьи станицы. Поднимем весь край, возьмем Каракол, соединимся с курбаши Эргешем, и воссияет солнце свободы.

- И быть тому! – гудела площадь.

По всему приозерью полетел узун-кулак<sup>5</sup>. Гонцы несли огневой клич мятежа: «Поднимайтесь! Громите красных. На Каракол!».

Сотник Попелявский, приставленный к прапорщику Демчаку, командиру отряда, в качестве почетного советника – возьмут Каракол, снова станет во главе городского гарнизона, – похвалялся перед эмиссаром Абакумом:

- Ловко мы их обвели с Санташом. Пустили туда малый отряд, дали понять: отсюда ударим. Каракол и выставил на Санташ основные силы. А мы в обход, с перевала Курменты. И Тюп наш. А Караколу нечем стоять – силы его заблокированы на Санташе.

- А чья идея? – с намеком спросил Абакум.

- Ну, идея... Ничего, капитан, сочтемся.

Прапорщик Демчак снова дернул повод, понуждая коня ходить ходуном, и конь, танцуя, вскидывался, скалил зубы, грызя удила, роняя с губ пену.

- А где ваше обещанное? – обратился он к Абакуму. – Сельская экзекуция... Я считаю, пора. Абакум дал знак Митьке Абазину и казакам, стоявшим с ним рядом; они уже были хмельные, курили, цвиркая слюной сквозь зубы и растирая сапогами окурки в пыли, подсолнечной шелухе и клочках шерсти. Этот знак – поднятый большой палец – понял и Серафим Никишин, заторопил их, показывая перед людьми усердие:

- Ведите гулящую!

Еще до схода, почти сразу, как Алена ушла из клуни в придел и затаилась, ее арестовали казаки, явно по чьему-то наущению, и этому не перечили ни дядька Тимофей, ни тетка Акулина; наоборот – увидели измалеванные дегтем ворота, обомлели, трясаясь не за нее, а

<sup>5</sup> Узун-кулак – длинное ухо (о передаче вести из уст в уста).

за себя, и при появлении казаков облегченно решили: пусть заберут непутевую племянницу, лишь бы не было большей беды. Казаки, стуча прикладами, вломились во двор, сорвали дверь в приделе, схватили Алену и потащили на улицу. Дед Егор, поднятый шумом, выковылял из клуни, попытался встать в калитке, не давая пройти казакам, но те оттолкнули его прикладом, двинули так, что ему застило свет и голову повело кругом, едва добрался – чуть не ползком – до клуни. Алену отвели на почтовую станцию, втолкнули в большой, на тонких бревешек сарай, где стояли старые тарантасы, поломанные ходки и кареты. Там, в сарае, уже находились избач Арнаутов – он, избитый, с распухшим лицом лежал в тарантасе, на соломе, – учительница Наталья Летникова, пишпекская жительница, по своей воле приехавшая в Тюп. фельдшер Антипин, табунщик Сыдык и другие комбедчики, которых Алена и не знала.

- А тебя-то за что? – высказала недоумение учительница, кутаясь в накинутый на плечи тонкий полушалок.

- Явились и взяли, – Алена никак не могла прийти в себя, ее колотил леденящий испуг. – Дед мой вступился, так его прикладом в пояс, в живот. Согнулся, бедный...

- Что они затеяли? – гадал фельдшер.

- Что с нами затеяли, не знаю, – трогая заплывший глаз, сказал Арнаутов. – А вообще – белый мятеж. Контра! Куда пропан Моисей? Теперь окончательно понятно. И у нас, выходит, слабая надежда. Если она хоть какая-то есть...

- Вы думаете, во всем уезде мятеж? – подавляя тревогу, учительница подошла к двери, с усилием нажала на нее рукой, но дверь не двинулась, стояла плотно закрыта. – Так есть другие уезды... Уверена, подавят мятеж. Из Пишпека придут на помощь. Там сильный угорком.

- Пока придут, эти здесь натворят...

- Нам самим надо выходить из положения...

Такой длился разговор, когда в сарай вошли Митька Абазин и теплоключенский казак Копытин. Митька держал в руке обрез, ни на кого не глядя.

- Уже за нами? – язвительно бросил фельдшер.

- Пока не за вами, – Митька потрянул обрезом.

Арнаутов, по-настоящему пораженный, поднялся в тарантасе:

- А ты что, Абазин, с ними? Переметнулся? Знаешь, что делают с предателями? Где Колодный?

- Помолчите! – поморщился Митька. – Алена, выходи.

Алена вышла из сарая. День был погожий, яснотонный, светлый, и этот разлитой всеземно свет слепил ее после сумрачного сарая, обдавал нежным теплом овальное лицо, гибкую шею, полуоткрытую грудь. На ней была холщовая исподница, а сверху бязевый домашний халат, в синий цветочек, схваченный пояском, – как лежала, хоронясь, в приделе, так и взяли ее росной ранью; шла она по двору – мимо клуни, мимо колодца по дорожке, обросшей обочью мятликом, и мочила ноги и подол росой, что кропила с пониклого мятлика. В селе была заметная перемена, оно шумно оживилось, как, оживлялось на праздники, – скакали верховые, тархтели телеги, шли принаряженные люди, в кругу парней и девок играли на гармошке, все возбужденно говорили, гомонили, лузгая семечки, обмахиваясь вышитыми платочками, крестясь на церковь, – похоже, была пасха или троица.

Алену повели на Базарную площадь. И там, на площади, среди невиданного доселе многолюдья, произошло – неотвратимо произошло – то, что обрушилось на нее подобно горному камнепаду, оглушило, замутило, лишило обычного понимания всего виденного и слы-

шанного, нормального рассудка... Корявый лицом конник с погонями, ремнями через плечи, на сильном, плясучем коне, поднял руку с висевшей на ней плетью и резко опустил:

- Начинай!

В глазах рябило, но из всей мешанины, что творилась на площади, она заметила, выделила горбатенького Леньку Никишина. Почему именно его? Ага, да потому... Ленька держал за руку Егорку, ее сына – да откуда же он здесь взялся? – мальчонка без одежды, заплаканный, вырывался, дергал свою голую слабую ручонку, но Ленька не отпускал, держал его крепко, цепким хватом. Это ее совсем омертвило.

- Егорка, сынок! – вскрикнула Алена и метнулась к нему, однако изрядно подвыпивший казак Копытин ухватил ее за плечо – затрещал халат – и толкнул к телеге, прикрытой куском кошмы, точно саваном, запряженной двумя меринами.

Дикость несусветная... К ней, ушибленной об угол телеги, подъехал бровастый набожник Абакум, склонился, и губы его перекошились в усмешливом вопросе:

- Так твой сын?

- Мой.

- Твой? – Мой!

Абакум выпрямился в седле, окинул вроде довольным и вместе с тем осудительным взглядом всех, кто жадно, воспаленно толпился вокруг, напорно обступал телегу и людей возле нее – прапорщика Демчака, сотника Попелявского, Серафима Никишина и его соседей-приятелей с Большой улицы, вихлястого Леньку, сжимавшего обессиленную ручонку задержанного Егорки, бледную, без кровинки во всем облике Алену, саламатинскую сироту, одетую – на людях-то! – в исподницу да в легкий, едва не постельный халат. Поодаль, отдельно, как бы сами по себе, стояли бай Шайбек и его джигитское сопровождение.

- Люди, вы слышали? Она утверждает: мой сын. У нее есть сын? Как, откуда он? Что, она замужем?

- Нет, – загудели в толпе. – Холостая.

- Холостая. Так откуда ребенок? И кто он, вы знаете? Вот этот...

Егорку подкинули на телегу – кашма сдвинулась и обнажилась подушка, – и в ропотном кругу загалдели:

- Ого, гляди, честной народ! Что нам кажут?

- Рыжий, а киргизенок. Чудно?

- Кому чудно, а кому грешно. В огне гореть!.. Абакум снова свесился с седла:

- Значит, твой сын?

Алену покинул страх, охвативший ее с того момента, когда за нею пришли казаки; она глядела на людей, на все, что роилось перед нею, но почти не видела ничего – недоумение, горечь, обида, яростное возмущение застилала ей глаза, ядовито мутили сознание.

- Мой!

- А кто отец? От кого сын?

Лишенная любой боязни, кроме смертельной, животной боязни за сына, она не стала уклоняться, уходить в сторону, кривить душой, а главное – ее восставшая женская гордость толкнула на истинный ответ:

- Отец его Мидин, – и с предельным отчаянием выкрикнула: – Да, Мидин! Что таилась?.. Из-за вас же... Из-за вас, жестокие. А больше таиться не могу. И не хочу. Я на вас открыто погляжу...

- Мидин? Пастух, ваш батрак?

- Да.

- Мужики, вы слышали? Да что же эта деется? – теперь вступил на осудительную стезю, временно освобожденную Абакумом, вдвойне злобивый Серафим Никишин. – Потаскуха! Она блудила, курвенская, да с кем! С беженцем, А мы глотали этот блуд. Вслепую глотали всем селом. Да как она посмела нагадить – не только своей семье, а всем нам, всему миру? Вяжи ее!

- Вяжи! – во всеуслышание, чтобы дошло как можно дальше по многолюдью, поддакивали Тимофей и Акулина Саламатины, чтобы избежать того, чего они опасались: если они не будут заодно с тем, что вещает Серафим, то люди поймут, что они покрывают блудницу, и тогда их постигнет не только малеванье ворот, а люди пойдут – прямо отсюда пойдут – громить их дом, всю усадьбу.

И прокатилась неостановимо па площади:

- Вяжи!

С нее сорвали халат – осталась в одной измятой исподнице, – скрутили веревкой руки и привязали к телеге. Она поняла, еще могла в этот миг понять последнее: началась самое страшное, что редко бывает в селах, но иногда – в самых греховных случаях – устраивали позорища: обмазывали ворота дегтем, а ту несчастную, которая, по темным представлениям селян, совершила грех, водили на веревке, как чумную ведьму. И ее привязали к телеге. И тронули, хлестнули лошадей. Телега пошла по площади, полукругом... И это было еще не все – кто-то плеснул на нее жидкого дегтя, он потек по волосам, по плечам, по коленям. Кто-то ножом распорол подушку и вытряхнул над ее головой перья.

- Так ее, сукоту!

- Чтоб не путалась...

- Гони коней!

- Ату ее!

- Улю-лю-у!

Площадь ревела, свистела, улюлюкала.

Обезображенная дегтем и перьями, истерзанная, убитая таким жестоким наказанием, такой поистине дикой карой – страшнее любой другой казни, – в плотном клубящемся мареве пыли и табачного дыма она увидела деда Егора – он, трясущийся, всклокоченный, небывало разгневанный, встал на пути телеги, набыченный, с пригнутой головой, с раскинутыми руками.

- Стойте! Бога на вас нету! Вина ли ее – сына родить? Отпустите! Отпустите девку. Ироды! Сатанинское отродье...

Казак оттащил его в сторону, к лабазу, он содрогался и колотил в землю костылем.

- Самосуд! Не позволено, спросят с вас, спросят. Чистое дело – изверги! На подмогу пришли? Отряд полните. А коней где берете? А хлеб да сало? У нас же, мужиков. Да мясо в аилах... На подмогу? Заимку разграбили, защитники! А над нею за что изголяетесь? За что наказуете? Вы богоматерь казните. С иконы она сошла, а вы ее – на распятие. Карай вас господь!

Он совсем потерял самообладание, в горячах вскинул костыль и ударил казака, который его удерживал. Казак выхватил из ножен саблю и в ответ взмахнул ею – не острием, а плашмя, и удар пришелся по белой стариковской голове. Дед Егор повалился на землю – в истоптанный мусор, в слюнявые окурки.

Она больше ничего не помнила.

Телега дергала, рвала связанные руки, исподница разлазилась, висела ключьями, – ее, почти совсем обнаженную, хватали, лапали пьяными руками, толкали, она спотыкалась, шаталась, как опившаяся, одурманенная сногшибательной брагой, откидывалась назад, а телега

вновь ее тянула – и руки, и тело, и душу, все выворачивала, бросала под чужие ноги, сапоги и чувяки, под ругань и плевки. Иногда в ее сознании вспыхивало: Егорка стоит в телеге, тянет ручки, зареванный, а дед валится на землю, под те же чужие сапоги и плевки...

Больше она ничего не воспринимала.

После, вся изгаженная, избитая, прикрываясь вконец изорванной исподницей, она только ощутила, что открыла дверь клуни, полоумно схватилась за волосы, истошно завывала, узрела железный штырь в стене, выдернула его, воткнула тупым концом в глубокую щель столба посреди клуни, а на острый его конец рванулась, упала распахнутой грудью.

Брызнула кровь и окропила деготные потеки и прилипшие перья...

Площадь опустела, отрезвляясь. Старика Егора, едва ли не насмерть зашибленного, подобрала соседи и отвезли домой, уложили на топчане в боковушке – может, отойдет со днями, – и ему было неизвестно, что после ужасного, но убедительно разыгранного наказания так долго таившейся и все же разоблаченной печальницы, ее принародной экзекуции, которая, как тяжелым обухом, ударила, оглушила, обеспамятела Митьку Абазина, эмиссар Абакум нашел его за торговыми рядами, в канале; Митька лежал там, в бурьяне, и зажимал руками рот – его тошнило. Абакум, подъехавший к задворной канаве с сотником Попелявским и увидевший, в каком состоянии находился Абазин, протянул с укором:

- Э-э, парень... Так не годится. Бунтовал, а теперь раскис.

- Лучше бы я ее сам пристрелил.

- Ну, зачем бабенку-то?.. Лихой! Надо думать: что с Моисеем?

- Что? – тяжело поднялся Митька. – Сидит в амбаре. Казаки стерегут. Копытин распорядился ...

- В амбаре. Понятно. Но живой! – голос Абакума потеплел, стал вкрадчивым. – А живой... Ты же его сажал. Если выйдет... В твоих интересах, чтобы не вышел.

Митька все понял:

- Я на это не пойду.

- Пойдешь! – Абакум не сдержал повелительного голоса. – Ты мобилизован. И это приказ! Тебе поможет сотник.

Сотник Попелявский привстал на стременах, словно был уже готов тронуться в путь.

- Комиссарика? Это с удовольствием.

\*\*\*

Кладбище покоилось на приречном пологом взлобке что горбатился за селом, вверх по течению реки, за низинной поскотиной. Оно было видно издалека, среди снежного – на всю долину – местами смятого и вздутого балахона, темнело деревянными и каменными крестами, зачерченными долгим временем, и еще – поверх – более черным вороньем, которое тучилось над этим крестами, над кладбищенским угрюмым покоем. Вокруг – на ближних и дальних пашнях, на речных берегах на поскотине – еще лежали снега, тронутые ранневесеньем, уплотненные, отяжеленные начальным, невидимым таянием; с осени они пали наземь обильно, будто в далеком нагорье, и после налетали пуржисто и, как редко прежде, всю зиму лежали, не таяли, сохраняемые холодными доловьями. Лишь на дорогах и возвышениях ширились проталины, стояли зябкие лужицы, и в них, стеклянно чистых, днем отблескивало солнце, а ночью мигали звезды.

По узкой – мало езженной и мало хоженной – дороге на кладбище шли двое – большой сгорбленный человек, убеленный, как метельная зима, глубокой старостью, и малый чадушко, рыжеватый весенник, в домотканом зипунишке и кожаных лапотках. Большой человек был одет в лохматый медвежий кожух, который коробился на нем, и от этого он выглядел еще более старым, дремуче старым, более сгорбленным и омертвело медлительным. Минувя лужицы, они шли и молчали, находясь во власти осиротелости. Рыжий весенник, он еще мало это осознавал – что такое осиротелость, а старый человек сполна ощущал ее, бесприютную и бездольную осиротелость. В который уже раз она его постигала... Он горяче осиротел, когда умерла желанная душе и телу, нареченная судьбой и богом жена Фрося, угасла на его руках, рыдая и страшась своей кончины, вечной разлуки. Неутешно осиротел, когда жандармы забрали тамыра Мамбета, тоже, как оказалось, навечно. И особенно осиротел теперь, в тягостной старости, когда внучка Алена, светлое его око в божий мир, уже более полугодом лежала в земле сырой.

Большой человек глядел на кладбище, где покоились его сельчане, близкие люди, на темные кресты, над которыми кружилось воронье, а виделся ему снова далекий открытый подгорок посреди зеленого урочища. На примятой траве лежала чернокобая молодая женщина с охладевшей, уже не стыдливой грудью. Одна рука сжимала пучок жесткой травы – как захватила, сжала при последнем вдохе, так и застыла. Длинные тонкие косы опутывали шею и руки, и казалось, что это черные ужи оплели девушку и задушили... Нет, ее задушили не ужи. Она была окровавлена.

И тогда, в давней давности, была кровь.

И теперь была кровь.

Тогда была кровь бугинки Меиз и кокандского махрама Бекмурата. Ныне была кровь Алены и мятежных казаков, пострелянных и порубленных затем в плавнях Тюпского залива.

Там кровь и здесь кровь, одинаковая, попробуй различи. Смой одну другою. Нет, кровь не смыть кровью! Чем же, чем ее можно смыть? Кто на это даст ответ? Узнает ли он это за всю свою жизнь? Или дети его узнают? Или внуки?... Кому бы там не довелось узнать, это должен сделать разум человеческий...

Так он думал тогда, глядя на растоптанное, изувеченное тело сарта... Точно так же он думал и теперь, озирая кладбище – последний приют страждущих душ, а как он еще мог думать, если для него, на чью долю выпало столько повидать и изведать, что хватило бы на десятерых, житие почти не переменилось, не дало ничего существенного, чтобы он поининому размышлял. Да и переменится ли оно когда-нибудь?..

Думал он так, приближаясь к кладбищу, где лежала мать его правнука, с которым он шагала рука об руку – вел его и сам шел, гонимый одиночеством, унылой сыростью, неизбывной печалью и тоской по загубленной родной крови, остылой, преданной земле, шел посмотреть – возможно, в последний раз – это погребение, могилу страдальной внучки, изгойной матери, тайной жены, так и не ставшей венчаной женою.

Все пошло прахом... Ему, нажившему за долгие годы именитое хозяйство, остался лишь пустой, с одним топчаном придел, едва хранивший дух его былой жилички – Алены. И правнук Егорка... И могила, еще не совсем осевшая.

Многошумная и, как после оказалось, кровавая затея эмиссара Абакума обернулась неисчислимыми бедами. Мятежники пошли на Каракол, три дня его воевали, топчась на подступах к нему, но не могли взять, откатывались, снова наступали, а затем их самих постигло то, что они учинили в Тюпе и готовили другим селениям и уездному городу – пустить кровь Совдепии. Сабельным посвистом полетело от дома к дому, от села к селу: «Пришли боевые

отряды из Чуйской долины – из Пишпека и Токмака!» Белоказаки бросились в бега – за Джууку, за перевалы, на дальние кочевья, в Китай, да не все вырвались туда, многие отходили, охваченные в перестрелке, к устью Тюпа, к заливу, чтобы переправиться по мелководью, уйти за Курментинский перевал, и там, в камышовом разливе, они сложили головы – кто пал под пулями, кто утонул, путившись вплавь по заливу, уходя от преследования. Всех тюпкан, кто примкнул к мятежу, арестовали – не менее полутора человека – и в первую очередь Серафима Никишина, Михаила Бабанова, бая Шайбека. А Митька Абазин, помятый, осунувшийся, опять вышагивал по селу с уцелевшими комбедчиками – избачом Арнаутовым, фельдшером Антипиным и остальными, – распорядясь, указывая, кого арестовывать, а кого миловать. И к Саламатиным тоже пришли комбедчики с милицией, все описали в доме и на подворье, погрузили в телеги и увезли. Забрали Тимофея и Акулину со всем семейством – раскулачили подчистую; Акулину с парнями и девахами – вместе с другими кулацкими семьями – выслали в Сибирь, в Нарым, а Тимофея уперли в тюрьму по линии чека с гибельным обвинением, затеянным Митькой Абазиным: в дни мятежа он, Тимофей, поехал на кордон, к сестре, – шурина Архипа Булыгина дома не было, он задержался в уезде и не мог попасть на кордон, отрезанный мятежниками от Каракола, – и там, на кордоне, Тимофей убил телеграфиста, председателя волостного комбеда Моисея Колодного. Застрелил в амбаре... Забрали его и с концом – ни слуху, ни духу.

Старика Егора не тронули по старости лет. Он лежал, не поднимаясь, ушибленный до полного упадка здоровья, и без того не ахти какого; даже не смог отбыть свое на похоронах Алены, наложившей на себя руки, – все, что с нею случилось, совсем приковало его к топчану. Весь дом и старую избу отдали беженцам, а его, уже, считай, дышавшего на ладан, вместе с топчаном перенесли в придел, и там он отлеживался под уходом почти такой же старой, как он, сердобольной беженки. Лесник Архип приехал, хотел забрать его к себе на кордон – пусть там за ним присматривает Марья, да и правнук подрастает, надо быть всем рядом, – однако Егор отказался: куда, мол, в последние-то, может, недели-месяцы – идти, ехать с родного подворья? А то гляди – и объявится Мидин. Он все время думал: где, куда так надолго запропал парень? Осенью чабаны, вернувшиеся с летовки, говорили, что видели Мидина, внука комузчи Мамбета, – он, бывавший в неведомых местах, изможденный, с пустым курджуном через плечо, одетый во что попало, ходил по Кетмень-тюбинским аилам, по тем оседлым аилам, где были пашни и маковые делянки. Потом Марья передала с кордона: явился вдруг к ним пастух Мидин, побыл полдня, посидел с Егоркой, рыдая, поминая Алену, ушел, сказал, что скоро вернется, но не вернулся. А ближе к зиме, перед тем, как выпать снегу, ранним утром в окно придела постучали; Егор не спал, глянул в окно и обомлел: там стоял Мидин с потрепанным курджуном. Кряхтя, он зашебушился, вышел, втащил парня в придел, усадил на охапку соломы в углу, не зная, как его приветить, что сказать, чем да и нечем – угостить.

- Ох, зять... Добрый... Бедный зятек! Пришел? Да в такое лихое время... Однако нашелся. Слава те господи! Где-то скитался? В чем и душа держится...

- В Кульдже... Очень заболел. Умирал ... – донельзя исхудалый, черный, как назем, весь иссохший, он едва держал голову, повязанную тряпкой.

- А у нас-то беда, такая беда! Не снести...

- Знаю, мне говорили люди, – Мидин дрожащими руками достал из курджуна бутылку с бурым настоем и приложился к нему.

- Все бы можно передюжить, а вот Алена...

- Егор-бугу!.. – Мидин задохнулся, пригибаясь грудью к коленям. – Не говори... Алена... Это моя Чолпон. Я не выживу. Здесь горит! – и он ударил ребром ладони в грудь, затрясся, зашелся в рыдания. – Все, нет жизни. Бюттук!<sup>6</sup>  
Как же она, жизнь, повторяется ...

Помнится – смутно, но помнится, – как они, Егор и тамыр Мамбет, заканчивали рубить дом начальника Аксуйского поста, штабс-капитана. Томского. Сам по себе, по натуре подвижный, веселый, Мамбет временами становился таким, что его было и не узнать; он, задетый хандрой, молчал, вялый и смурной, залазил в кош – солдатскую походную кибитку, отведенную им, нанявшимся плотникам, молился там, лежал пластом, будто подкошенный хворью, – все тосковал по молодой бугинке, которая маялась в плену, в неизвестности. «Плохо тут, ай, плохо! – бил он себя кулаком в грудь и скрежетал зубами. – Меиз плачет».

С частым, недобрый стуком палкой о дверной косяк в придел вошел чубатый, меднолицый милиционер, держа в руках собачий ошейник с ремненным поводком.

- Что за посторонние люди? – он уставился на Мидина, его замызганный курджун и бутылки с бурым настоем.

- Свояк, – ответил дед Егор. – Считай, мой зять.

- Зять? – подозрительно покосился на него милиционер. – Откуда зять? Такой вот?.. Ты что мелешь, старик?

- А не мелю, – Егора больно задело услышанные слова. – Зять. Был у нас в работниках...  
Говорю: зять!

- Проверим. Зять... Хозяева, работники. Поразвелись всякие... Мироеды! Если что – всех под корень! – милиционер накручивал на руку поводок с ошейником.

- Я мироед? – Егора передернуло от обиды и негодования. – Меня под корень? Я живот положил за землю. А меня – под корень? Надобно же думать... Различать, кто кровный землепашец. Для какого рожна землепашец? Для земли или для себя, для своего червя: мое, а за мое жилы у всех вытяну! Так? Под корень... – Егор не мог унять себя. – Я и есть корень. Подрубили... Куда уж меня дале? Подсекли... Не подняться. С каким же корнем вы станете жить? Молчишь. С каким?

- Не балабонь, старый! – отмахнулся милиционер и снова уставился на Мидина. – Так что ты, сумошник? Чего здесь шастаешь, в нашем краю? Опишь ищешь? Свое зелье? Ни шагу без него. Доконало ж оно тебя. Знаю я вас, таких...

Милиционер стянул ему руку поводком и увел с собой. Минула зима, а куда его, Мидина увели, что с ним случилось – не было никаких вестей.

\*\*\*

... Большой человек и малый подошли к сумеречному кладбищу. На самом взлобке, на его верху, на речном излучном крутояре, были старые могилы, давшие начало-погосту, – там лежали первые тютчане: Савелий Никишин, Ананий Бабанов, Парфен Абазин, Ефросинья, благоверная жена большого человека в медвежьем кожухе, а новые могилы уже спускались книзу, доходили до самой лощины, до поскотины, и на спуске, у подножья взлобка, над продолговатым бугорком, уже выступившим из глубокого снега, стоял еловый крест, еще не потемневший, без трещин, с застывшими желтыми каплями смолы и крупными, заметными буквами, вырезанными комбедчиком Арнаутовым: «Спи безгрешно, жертва злобы земной

слепоты». А сбоку от креста выступал еще – поменьше – холмик под снегом. Большой человек копнул снег костылем – нет, не земля что-то другое, вроде какие-то тряпки; разгреб снег и отпрянул в снегу, ничком, лицом в земляные комья, с полусогнутыми руками, простертыми по могиле, стыло лежал человек... Шел, подошел к могильному бугорку с крестом, осененным разными буквами, вернее, не дошел, не хватило сил, постоял – отдышаться, опомниться, но, окончательно сломленный горестным отчаянием и жестокой, непроглядной безысходностью, повалился, пополз, припал к могиле, охватывая ее руками, скребя пальцами мокрую землю, и здесь его совсем покинули силы... И жизнь покинула – сразу ли, медленно ли, постепенно, и он остался коченеть на земле, его засыпало снегом, замело метелью, он лежал невидимый, застывший, как могильный холмик, прибитый, приглушенный осенними дождями, и его не чуяло, не трогало никакое зверье... Большой человек с натугой нагнулся и разглядел – под боком у лежавшего ничком серел скомканный курджун и поблескивал пустой плоский бутылки – и снова, с еще большим смутением отпрянул, затем торопливо забросал все снегом – и человека, и курджун, и бутылки, чтобы ничего не увидел малый, задержавшийся у куста калины, – тот собирал под кустом палую мороженую ягоду.

Сердце ходило, колотило гулко, как колокол...

Над могилой, над крестом, воспарял в воздухе, стоял на церковной паперти христосоподобный поп в белом одеянии и возглашал: «И сотвориша ему погреб!..»

- Дедушка, ты что сказал?

Малый человек дергал за полу медвежьего кожуха:

- Что ты сказал?

- И сотвориша ему погреб!

- Погреб? А что такое погреб? Ну, что?

- Погребение, значит. Жил-был человек, а потом в землю его положили.

- Еще скажи.

- И сотвориша ему погреб!

- А сотвориша?.. Это что такое?

- Сотвориша... – после долгого молчания большой человек выдохнул: – А то и будет, что сотвориша! Запомни это, дитя земное.

Далеко позади, у озерного залива, сквозь тучевую хмурую завесу пробилось солнце, и его обильный, слепящий свет хлынул потоками по долине. Как горная, ледниковая вода, которая накапливается перед каменным завалом, в мощной запруде, со временем размывает завал и вдруг срывается вниз, обрушивается в речное русло, в ущелье, все убыстряясь, ширясь, разливаясь по всем углублениям, распадкам, заворотам, – так солнечный свет, скопившийся за плотной черной облачностью, прорвался, сквозь нее, в узкую щель, и хлынул по всему приозерью, заливая пашни, речную пойму, холмы и лощины. Закатный свет был огненный, пылающий. Он ярко бил в таявшие снега, в долинную хмарь, в овальный взлобок и кладбище на нем, охватываемом рекою. Кресты вспыхнули – даже каменные, – запылали, четко выделяясь на фоне дымящейся хмари. Багровое небо, огнистые снега, окаленные кресты – все полыхало, словно всеземной пожар, и вороны, вроде покрытые запекшейся кровью, летели по сторонам горящими головешками.

Буйствовала закатная стихия.

Большой человек поглощенно глядел на нее, необоримую, и все это было для него знаменем, ниспосланным свыше, – все это предвещало его собственный окончательный закат.

Не здесь, в Тюпе, а на кордоне.

<sup>6</sup> Бюттук – все, конец.

Под навесом крутой скалы, где сочилась теплая вода, среди каменной россыпи, росла мать-и-мачеха, уже пожухлая желтыми своими цветочными корзиночками; ранняя медоноска, она приманивала шмелей, и они, монотонно, усыпляюще гудя, охаживали ее, как невесту... Здесь же, под скальным навесом, у теплого ключа, сидел старик Егор на толстой доске, положенной на два камня. Ломота в ногах совсем его одолела, и он попросил беженцев, живших в сирой усадьбе, отвезти его на кордон, в Аксуйское ущелье, а заодно с ним и мальчика Егорку, взятого на время у Марьи и Архипа, – пожить хоть малость рядышком, напоследок, хоть на кроху утешить душу.

Он пошел погреть кости подземным теплом, настоенным на солях, – не на главный источник, укрытый специальным строением, а как некогда, с тамыром Мамбетом, выбрал место под отвесной скалой с карнизом, нависавшим над речкой, – там, среди камней и черной маслянистой земли, бил теплый ключ. Родник, родимушка... Лопатой, прихваченной с собою, он разбросал камни, разгреб вязкую землю, выкопал поглубже лунку, сбросил с ног катанки-лапти, завернул до колен порты и опустил ступни в лунку, в которой сразу же накопилась илистая вода; вначале он омочил только ступни, потом погрузил ноги пониже, по икры, затем до самых колен, достал подошвами до дна лунки – воду в ней, отдававшую тухлостью, казалось, снизу подогревало огнем, и тепло этой воды, вполне ощутимое, пошло по ногам. потекло в бедра, в поясницу, разлилось по всему телу и ударило в голову – покойно, благостно, как легкий хмель. Утишенный, разомлевший, в неизменном кожухе, побитом моллю, – хотя и теплень, но камни есть камни, – он откинулся к скале, прикрыл глаза, охотно улавливая, впитывая в себя целительное тепло. А неупокойная память толкала в спину...

Здесь, на Арашане, на мазаре, его убивали... Тогда тут, на святом месте, было многолюдное моление: старики и старухи, мужчины и женщины, джигиты и девушки, одетые исправно и бедно, всякая голь перекатная калеки, хворые и нищие, шесты с разломаченными хвостами яков, разноцветные лоскуты на еловых ветках, обнесенный каменным дувалом теплый источник, прикрытый циновкой, белое облако пара, вырвавшееся из него, мулла Махмуд с воздетыми кверху руками: «Грех на наших душах – землю славных предков топчут ноги неверных! Шлите проклятия тем, кто хочет на шею мусульман надеть сатанинские кресты!» Махрам Бекмурат... Егор кричал: «Шалит ваш мулла! Бог свидетель, я пришел к вам с миром». От источника на каменистый берег, где на пегом, черно-белой масти коне вышлся рослый пришелец, грузный в мохнатой медвежьей шубе, в белой заячьей шапке и бахилах, подвязанных под коленями ремешками, лезли прислужники муллы, разъяренные бугинцы, одурманенные молением. Ревущая лавина обрушилась на него, снесла с коня, опрокинула наземь, пиная, топча, вырывая волосы на голове, выдирая бороду. Избитый, истолоченный, он терял сознание, но почуял, как чьи-то тягучие, липкие слюны, точно раздавленная лягушка, залепили ему очи...

Рука потянулась, уловила мать-и-мачеху, сломила один лист, лопушисто широкий, не менее чем в две ладони. На ощупь он был с одной стороны жесткий, гладкий и поэтому холодноватый, а с другой – мелко ворсистый, мягкий и оттого теплый, как бархотка. По давнему обыкновению Егор прикрыл лицо опушенной стороной, и лист уже не был листом, а казался легкой заботливой ладонью... Необычная трава-цветок, со своими особенностями: лист то гладкий, холодный, то пушистый, теплый... Так и земля – кто и как ее вспашет – засеет – может быть и теплой, и холодной.

Земное тепло совсем размягло тяжелое, изношенное тело. Навалилась дрема... Из ямки, наполненной живительной водой, подогреваемой невидимым огнем, выплыл меднолицый милиционер с ремненным собачьим поводком, он набросил ошейник через голову

Егора, застегнул пряжку и повел – по кордону, по теплоключенским улицам, по травянистой Тамсе, по селу Преображенскому, то бишь по родному Тюпу. Привел на почтовую станцию, где казаки с винтовками, впихнули его, будто куль с мякиной, в сарай, сложенный из мелких бревешек, – там стояли покрытые пылью всякие тарантасы, ходки, кареты. И в этих тарантасах и каретах сидели и лежали – мать честная! – все свои, кто был арестован по мятежу и кто не был арестован: Серафим Никишин, Михаил Бабанов, бай Шайбек, Тимофей с Акулиной, горбатенький Ленька и даже писарь Ивашка Попов.

- Я неподсуден! – Серафим прикрывался фанерным горшком, снятым с крыши своего дома.

- Я праведен!

Митька Абазин доказывал избачу Арнаутову:

- К тому, что с Аленой... К этому я не имею касательства. Я ее только отвел на площадь.

- А Моисей? Ты вызывал... Видели.

- Я вызывал. Он сам просил: разбуди меня... А поехал он с Копытиным. С него и спрашивайте.

- Копытин гниет в заливе. Вместе с Абакумом.

- Тут я ничем не могу помочь. Тимофей рвал на груди рубаху:

- А я не убивал Моисея!

- А ты опять же – тама, в чека, докажи. На кордоне хозяина, Архипа Булыгина, не было. Тетка Марья лежала в бане, в беспамятстве. А казаки видели: ты застрелил Моисея.

Бай Шайбек, не теряя важности и в этом сарае, спокойно сказал, обращая свои слова ко всем:

- Он не так говорит... Шайтан.

- Я не так?.. – вспыллил-Митька. – Я вру? Ты сам врешь. Обещал помочь Абакуму, а джигитам приказал: не выступать, посмотрим, что казаки сделают. Вот твое: киргиз, орус – братья.

- Не знаю сказать... Все туман – что орус даст киргизу? Камчибек... Он не знал, что будет нам, когда вместе Россия...

- А что киргиз даст орусам? – Тоже туман...

- Чего кивать друг на друга? – Арнаутов ходил по сараю, проверял исправны ли колеса, оглобли, конская сбруя. – Наше убеждение: надо давать вместе.

Абазин пинком распахнул дверь:

- Выходи! Все – выходи!

Бай Шайбек воскричал, как поп на паперти:

- Егор-бугу – наш большой аксакал. Дайте нам карету.

Тюпчан посадили на тарантасы и ходки, другие повозки, исправные и поломанные, и повезли прочь из села Преображенского – по озерному берегу, по всему, до конца озера, где бывали закаты, а дальше обоз – с мужикам и арестантами, со скудным скарбом, стариками, старухами и малой ребятней – двинулся по землям другим: каменистым, песчаным, ковыльным, вплоть до той земли; где тянулись бесконечные леса; они назывались тайгой, а тайга была непроходимая, болотистая, гибкая; и там был Нарым. Егор ехал в карете, и правил ею никитинский Ленька, вихлястый, горбатенький, самый последний тюпский парень. Когда остановили обоз, Егор, как обычно, вспомогая себе костылем, вылез из кареты, а Ленька начал, попрыгивая приговаривать:

- Я, горбатенький, везу вас, негорбатеньких. А у кого больше горб? У вас, за то вас и сослали. Кто горбатей, тот и виноватей. Гыты!..



Он хлестнул не то лошадей, не то быков, запряженных в карету, и повез дальше бая Шайбека в его черном шитом халате... Егор остался, глянул вокруг, а вокруг тайга, могучие сосны, ели, темные, смурные, и небо низкое, как свод мокрой юрты, смурное, земля шаткая, топкая, с хлипкими провалами. И среди всей этой смурности он увидел – обрадовался, увидел свою землянку. Нет, не свою, а такую же, какая была у него на Джууке. Он спустился по узкому ходу, выложенному, еловым подростом, открыл скрипучую дверь, шагнул за порог – лежанка, устланная еловым лапником и камышовой рогожей, каменная – из слоистого камня – печь, перекошенный стол, а на стене – самый что ни на есть настоящий комуз... И обмер – перед ним сидел Мамбет.

- Мамбетка? – колыхнулся к нему всем немощным телом Егор. Мамбет тоже обмер:  
- Игор! Тамыр... – и колыхнулся к нему такой же немощностью, только глаз по-прежнему целился: ну, берегись!..

- Думал, никогда уж не увижу тебя. Дал бог, свиделись.

Они, готовые обхватить друг друга руками, стояли один перед другим, как тогда, в первую встречу после побега сарыбагышского джигита из рабства своих же соплеменников.

- Батюшки, никак ты?

- Орус! Тамыр, карашо!

И не выдержали, облапились как в благодной молодости.

- Откуда ты? Ну, зачем это я спрашиваю? Из Тюпа.

- Еще ж откуда?.. Из нашего Тюпа...

- В гости? Как ты нашел меня?

- Меня сослали. Новая власть...

- У вас новая власть? А я живу еще при царе... И за что тебя сослали?

- По моему разумению, за то, что умею пахать землю.

- Я знаю. Мы вместе пахали. Мой народ говорит: «Если гранитной скале отдать свое сердце, она оживет».

- Я привез тебе мать-и-мачеху, один лист. Потрогай, понюхай... Помнишь, ты кашлял, я варил, ты пил... Она тебя спасла. Помнишь?

- Игор, я не только помню, я живу тем, что помню.

- Бедово говоришь по-русски.

- Научился. Все, что рядом, – все учит.

- Я бы тоже хотел баять с тобой по-твоему. Ан, не далось. Убей – не далось. Ну, да ладно, бог даст – научимся... А мать-и-мачеху передал тебе Егорка.

- Кто – Егорка?

- Да, твой... И мой... Наш правнук... У тебя был внук Мидин. Так?.. Можешь умирать спокойно: внук Мидин – твое древо... А у меня была внучка Алена... Ты знаешь, наконец сошлась наша кровь. Живет правнук. Он-то и есть Егорка.

- Егорка... Правнук? Кровь сошлась? Это карашо! Аи, карашо. Пусть никогда не расходится. Не разливается.

- А они разлились. –Кто?

- Моисей и Абакум. – Встали – два потока. Сшиблись. И оба сгнули, а я страдаю...

- Ты один? Ты один страдаешь? Тогда послушай... Мамбет снял со стены комуз и запел, наигрывая, как на балалайке:

От Нарына до Нарыма  
Черны вороны кружат.

В пелене степного дыма  
Кости белые лежат.

- Сам сочинил?

- Нет, не сам. Друг помог, по моим словам. Как ты – тамыр. У меня много тамыр...

- Ты тогда, в своем дворе, такое пел.

- Да, и такое...

Егор слушал и думал, что в его тамыре жил и никогда не умирал мятежный дух: «От Нарына до Нарыма...»

- Он еще сочинил. Мы вместе. Послушай... Мамбет снова заиграл на комузе, как на балалайке:

От Нарына до Нарыма  
Черны вороны кричат.  
На этапах злого джинна  
Кости, белые трещат,

- Друг утонул в болоте. Побежал...

- Ты – бунтовщик, против царя, я – кулак, выходит, против Совдепии... А нас, видишь, сослали в одно болото. Как понять? Я много не разумею. Бай Шайбек сказал... Туман: что орус дал киргизу?

- Киргиз – орус... Там, на Иссык-Куле. Но и весь мир – он такой. Я шел со своим народом. Я дал ему песней зов: проснитесь, подумайте. И не теряйте головы. Весь мир такой: я – хорош, а ты?..

- Ты – бунтовщик.

- Друг утонул в болоте... Я же тебе пел: «На этапах злого джинна...»

- Твой джинн царский. А мой?

- Ну, царь далеко... Помнишь, говорил начальник Аксуйского поста: «Ну, царь далеко. Его воля – расширить пределы России, а нам жить». Жить. Где? Везде. И на этапе. А на этапе – степной джинн. А он, степной джинн, самый страшный. Местный. Каждый день... А ты, Игор, тумкаешь... Как ты мне говорил, начинаешь тумкать. Царь кто – Николай. А у вас теперь кто? Кто тебя сюда сослал – кто этот царь? Молчишь... В этом деле – тебя сослали и меня – ваш царь недалек от царя Николая.

- Я знаю: стояли Моисей и Абакум.

- А я знаю: так же стоят ваш царь и царь Николай.

- А мы с тобой страдаем.

- И ты, Игор, здесь умрешь, в Сибири? Так суждено...

В тайге начался ветер, поднялась буря, она валила живые и мертвые деревья. В землянке загудел дымоход над печью: «Суждено!». В дымоход просунулась винтовка, и раздался выстрел. Мамбет опрокинулся на лежанку, прижимая ладонью рану в груди, – сквозь пальцы текла кровь. Егор вывалился на улицу, чтобы позвать на помощь, но его подхватила буря, понесла, бросила наземь. Он вскочил – как можно старому так расторопно, ловко вскочить? – пошел, побежал по мокрой тайге, по бурелому, по болотной хляби с тайными провалами.

Тайга, бурелом, болотистые провалы кончились, а далее, за ними, возникли горы, долина, приречный взлобок, деревянные и каменные кресты, кладбище, сумрачное, заснеженное, с мельтешащим вороньем. Колыхались вырезанные на поперечине крестовины буквы: «Спи безгрешно, жертва злобы земной слепоты». На кладбище, среди крестов, шатаясь, от одного

к другому, возник эмиссар, Абакум. Митька Абазин и меднолицый милиционер с собачьим ошейником, тащили ведра, плескавшие дегтем; Митька бил его, напарника, ковшом по голове, и она звенела, как медный таз, – вся была медная. Абакум, путаясь в длинной ризе, начал обливать кресты дегтем и поджигать их факелом из пакли. Занялись смоляным огнем кресты, вспыхнуло кладбище, запылало затученное небо, хмарные дали – пошло всеземное пожарище, наступал конец света. Егор схватил истрепанный курджун и бросился сбивать огонь с крестов, тушить пожарище. Милиционер тоже тушил огонь, размахивая ременным поводком, и тут же поджигал другие кресты, еще не охваченные пламенем. Егор метался от могилы к могиле, от креста к другому, сбивал курджуном жадные языки пламени, а они вновь вскидывались, в один момент – опахнули его – вспыхнул на нем мохнатый кожух, седая борода, белые всклокоченные волосы, и сам он превратился в огромный факел. Он задыхался, раскрывал рот, судорожно хватал воздух, а изо рта, из сердца вырывалось раскатным гулом:

- Конец света! Люди, земля наша, жизнь божья... Мир! На миру – как на духу. Я курянин. пришел сюда, в край киргизский, пришел с миром. Какой пришел? В посконной рубахе и лыковых лаптях. Зачем пришел? Отыскать лучшую долю. И что получил? Получил-таки ее, лучшую долю. И снова потерял. Отняли! За что?

Однако он уже не слышал того, что из него вырывалось. А снежные горы – Мустаг – слышали и отзывались:

- Егор-бугу! Курский пришелец... Ты жил землей. Ты дышал землей. Ты молился на нее, как на икону. И ты уходишь в землю, сливаешься с нею. Земля вечна, и ты будешь вечен своим праведным трудом. Низкий поклон тебе!..

Со скалы, из глубоких щелей, стекали теплые струйки. Земля плакала...

И сотвориша ему погреб!..

## ÑĖÎ ÂÎ Î Á ÂÀÒÎ ÐÂ

Язык его произведений – сочный, многомерный, живо рисующий характеры героев, жизненные коллизии. Колесников – прозаик владеет словом легко, как дышит. Колесникову – поэту свойственны новаторские поиски поэтического самовыражения, но через чашу самых сложных метафор просвечивает солнечная поляна чистой и мудрой поэтической души автора.

Редакция журнала  
«Литературный Кыргызстан»

## Ï ÐĖÎ Â×ÂÎ ĖÂ

### Тугельбай Сыдыкбеков (14. 05. 1912 г.)

Тугельбай Сыдыкбеков – народный писатель Киргизии, один из зачинателей письменного, профессионального искусства. Создатель первого национального романа. Первый в киргизской литературе писатель, удостоенный высокого звания лауреата Государственной премии. Академик Академии наук Кыргызстана. Автор целого ряда крупных прозаических произведений, вошедших в золотой фонд киргизской советской литературы: романы «Темир», «Люди наших дней», «Дети гор», «Женщины», «Иманбай Великодушный», рассказы, очерки, пьесы, стихотворения и поэмы, литературно-критические и публицистические статьи.

Т. Сыдыкбеков перевел на родной язык стихи А. Пушкина, Н. Некрасова, Д. Бедного, ряд произведений А. Чехова, М. Шолохова, К. Паустовского и др. (Тугельбай Сыдыкбеков: Рек. библиогр. указ. – Б., 2002.)

Тулуп деда. Рассказ.

Письмо. Рассказ.

Гуси из рая. Рассказ.

Короткие рассказы печатаются по: *Сыдыкбеков Т.* Тулуп деда; Письмо; Гуси из рая: Рассказы // Лит. Киргизстан. – 1990. – №5.

Все мы – ученики истории. Очерк.

Очерк печатается по: *Сыдыкбеков Т.* Все мы – ученики истории // Лит. Киргизстан. – 1989. – №7.

Слово об авторе. Печатается по: Тугельбай Сыдыкбеков: Рек. библиогр. указ. – Б., 2002.

### Алыкул Осмонов (1915–1950)

Алыкул Осмонов – поэт-новатор, обогативший киргизскую поэзию новыми художественными формами, расширившими возможности киргизского стихосложения. Он лучший переводчик произведений Пушкина, Шекспира и Шота Руставели. За лирику и романтичность многие литературоведы называют его киргизским Пушкиным. (*Иманалиев К.* Кыргызстан (Слово о Родине). – Б., 2002.)

Белая береза. Перевод О. Ивинской

### Ивинская Ольга Всеволодовна (1912–1995)

Русская мемуаристка. Работала в редакции журнала «Новый мир». Автор книги мемуаров «В плену времени» (1978, на родине была издана в 1992) рассказывает об отношениях с Б.Л. Пастернаком, с которым она была связана на протяжении последних четырнадцати лет его жизни. Дважды репрессирована в 1949–1953 и 1960–1964 (вместе с дочерью И.И. Емельяновой; были освобождены досрочно). Ольга Ивинская стала прототипом Лары из романа Б. Пастернака «Доктор Живаго».

«Я пришел, а тебя, ненаглядная, нет...». Перевод В. Звягинцевой

### Звягинцева Вера (1894–1972)

Поэтесса, переводчица.

После первых двух оригинальных сборников (1922 и 1924 гг.) на десятилетия превратилась в «присяжную» переводчицу, перелагая добротными русскими стихами поэтов народов СССР.

Киргизские горы. *Перевод В. Потаповой*  
**Потапова Вера (1910–1992)**

Переводчица. Одна из наиболее ревностных учениц Маршака, верившая, что лучше Маршака просто нет ничего на свете. Потапова говорила о Маршаке с благоговением, и гладкопись ее переводов была тоже чисто маршаковская.

Переложила русским стихом «Энеиду» Котляровского, а в 60-е годы решила переключиться на переводы с европейских языков, притом не тех, которые знала (немецкий и французский), а со скандинавских, при переводе с коих ей требовался подстрочник. Первая же ее серьезная «европейская» работа, книга остроумного шведского поэта конца XIX – начала XX века Густава Фединга, читателей очаровала; увы, ни датские народные баллады, ни переводы из английских романтиков такого успеха ей уже не принесли.

Боз-бала. *Перевод А. Вознесенского.*

Родной язык. *Перевод В. Потаповой.*

«Светла и прозрачна вода...». *Перевод М. Ронкина.*

Дженишбек. Поэма. *Перевод О. Ивинской.*

Имя Дженишбек от «джениш» – «победа».

Стихотворения и поэма печатаются по: Алыкул Осмонов. Избранное. – М.: Гослитиздат, 1958.

Слово об авторе. Печатается по: Кыргызстан – 1995: Дни. Люди. События: Календарь чтения. – Б., 1995.

### **Райкан Шукурбеков (1913–1962)**

Райкан Шукурбеков – поэт, драматург, переводчик. Среди его поэтических переводов особое место занимают два тома из Фирдоуси, «Горе от ума» Грибоедова, басни Крылова. Переводил он пьесы Шиллера и Мольера. Писал интермедии, которые вошли в эстрадный репертуар. (Писатели Советского Киргизстана. – Ф., 1989. – С. 615.)

Я слушал синицы нехитрый рассказ... *Перевод В. Максимова.*

Один день. *Перевод В. Максимова.*

Ночь на пастбище. *Перевод В. Максимова.*

Мой дом. *Перевод В. Максимова.*

Улица. *Перевод В. Максимова.*

Волга. *Перевод В. Максимова.*

Петух и Соловей. Басня. *Перевод В. Максимова.*

Лягушка и Родник. Басня. *Перевод В. Максимова.*

Мальва. Басня. *Перевод В. Максимова.*

**Максимов Владимир Емельянович (1930–1995)**

Поэт, писатель, драматург, переводчик.

С 1952 г. пишет стихи. Первый сборник стихов (1954) был уничтожен по указанию партийного начальства. Выпустил книгу стихов и переводов «Поколение на часах». Черкесск (1956). Стал известен после публикации повестей «Мы обживаем землю» (1961), «Жив человек» (1962).

Член СП СССР (1963). После опубликованных за рубежом романов «Семь дней творения» (1971), «Карантин» (1973) в 1973 г. исключен из СП СССР. В 1974 г. эмигрировал в Париж на год, в 1975 лишен советского гражданства. Создал и возглавил журнал «Континент» (1974–1992), был исполнительным директором «Интернационала сопротивления» (с 1983).

Произведения В. Максимова изданы на английском, испанском, итальянском, немецком, французском, шведском и других языках.

Академик Академии российской словесности. (*Чупринин С.И.* Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь-справочник: В 2 т. – Т. II. – М., 2002. – С. 13.)

Стихотворения печатаются по: *Шукурбеков Р.* Осень: Стихи. – Ф.: Адабият, 1991. Басни печатаются по: *Шукурбеков Р.* Эки эчки: Тамсил-жомоктор – Две козы: Басни-сказки. – Ф.: Мектеп, 1985.

### **Ташим Байджиев (1909–1952)**

Ташим Байджиев – писатель, драматург, педагог-просветитель, ученый-манасовед.

Литературоведческая деятельность Т. Байджиева началась в 20-е годы. В 30-е и 40-е годы занимается литературоведением и критикой. Создает (в соавторстве) первые учебники по родной литературе и языку. Перу писателя принадлежат пьесы «На току» (1934), «Джигиты» (1944). Т. Байджиев – один из первых киргизов-билингвов, осознавших уникальные возможности киргизско-русского двуязычия в развитии национальной культуры и государственности.

Немало труда вложил Т. Байджиев и в переводческое дело. Им осуществлен перевод на киргизский язык пьес А. Тренева, А.Н. Островского, произведений А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Дм. Фурманова, А.А. Фадеева и др.

В 1950 г. Т. Байджиев стал жертвой поздних сталинских репрессий, был приговорен к 10 годам лишения свободы, умер в лагере для политических заключенных. В 1955 г. полностью реабилитирован.

Член СП СССР (1936). (Писатели Советского Киргизстана. – Ф., 1989. – С. 128.)

Семетей – сын Манаса. Статья. *Перевод М. Байджиева.*

Литературоведческая статья печатается по: *Байджиев Т.* Семетей – сын Манаса // Великий киргизский эпос «Манас»: Семетей: Книга вторая. – Б., 1999.

Слово об авторе. *Байджиев М.* Ташим Байджиев. – Б.: Изд-во «ЖЗЛК», 2004.

### **Николай Симонович Чекменёв (27.11.1905–22.11.1961)**

Прозаик, драматург, переводчик, публицист, исследователь.

Литературная деятельность Н. Чекменева началась в 20-е годы. Первый рассказ «На большой дороге» (1925) был напечатан в газете «Крестьянский путь» (в 1927 г. переименована в «Советскую Киргизию»).

Н. Чекменев – один из первых популяризаторов творчества киргизских писателей на русском языке. В 30-е годы занимается переводами с киргизского языка эпоса «Манас» («Великий поход»), поэмы Д. Боконбаева «Золотая девушка», повести Ж. Ашубаева «Глубокий брод», первой части романа К. Джантошева «Каныбек». В 1940 году им подготовлен к изданию сборник «Киргизские пословицы и поговорки» на русском языке.

Является автором повестей «Пастух Сыдык» (1929), «Сектанты» (1931), «Зеленый клин» (1950); пьес: «Богунские партизаны» и «Белые пятна» (1941); романа «Пишкек 1918 года»; романа-трилогии «Семиречье» и др.

Член СП СССР (1940). (Сердцем написанное. Неизданное наследие писателя Н.С. Чекменева. – Б.: КРСУ, 2006). Золотая осень. Повесть.

Повесть печатается по: *Чекменев Н.* Золотая осень // Сердцем написанное. – Б.: КРСУ, 2006.

### **Суюнбай Эралиев (15. 10. 1921 г.)**

Суюнбай Эралиев – народный поэт Киргизии (1974), переводчик.

Печатается с 1939 г. Первый поэтический сборник «Первое звучание» (1949). Особое место в творчестве поэта занимают стихи о Великой Отечественной войне. Его перу принадлежат поэмы «Ак-Меер», «К звездам». Несомненной творческой удачей в переводческой деятельности поэта являются сборники стихов У. Уитмена, Р. Тагора, М. Турсун-Заде, а переложение на киргизский язык «Книги про бойца» («Василия Теркина») А. Твардовского является одним из лучших образцов художественного поэтического перевода в киргизской литературе. Произведения С. Эралиева изданы на русском, украинском, узбекском, таджикском, каракалпакском, казахском языках.

Член СП СССР (1948). (Писатели Советского Киргизстана. – Ф., 1989. – С. 626 – 627.)

Город Торжок. *Перевод Ст. Куняева.*

Письмо из деревни. *Перевод Ст. Куняева.*

Вечер в горах. *Перевод Ст. Куняева.*

Почтальона то и дело жду напрасно. *Перевод Ст. Куняева.*

«Конь копытил копытом дорогу...» *Перевод Ст. Куняева.*

«Янавестил родимые места...» *Перевод Ст. Куняева.*

Конная игра. *Перевод Ст. Куняева.*

Лесной вальс. *Перевод Ст. Куняева.*

Я иду. *Перевод Ст. Куняева.*

### **Куняев Станислав Юрьевич (р. 27.1932)**

Поэт, переводчик. Главный редактор журнала «Наш современник» (с 1989).

Печатается как поэт с 1956 г. Активно переводил поэзию народов СССР. Выпустил также книгу публицистики и статей о русской поэзии.

Член редсовета журнала «Роман-газета XXI век» (1999) и газеты «Российский литератор» (2000).

Член СП СССР (1961). (*Чупринин С.И.* Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь-справочник: В 2 т. – Т. I. – М., 2002. – С. 741.)

Стихотворения печатаются по: *Эралиев С.* Белые запахи: Стихи и поэмы. – Ф.: Кыргызстан, 1969.

Автобиография печатается по: *Эралиев С.* Автобиография // Советские писатели. Т.5. – М., 1988.

Стремиться к открытиям печатается по: *Эралиев С.* Стремиться к открытиям // Вопр. лит. – 1979. – №5.

Слово об авторе. *Удалов П. П.* В кругу друзей. – Ф., 1981.

### **Сооронбай Джусуев (р. 15. 05. 1925 г.)**

Сооронбай Джусуев – народный поэт (1981), прозаик, переводчик.

Творческая биография началась на фронте в 1943 г. С событиями военных лет связаны судьбы героев его поэм «Красная тетрадь», «Молния», «Не мертвый и не живой», «К живым», повести «Из леса в лес», «В огне». Творческий багаж: 27 книг на киргизском языке, 14 в переводах на русский язык, 10 книг в переводах на другие языки. Произведения С. Джусуева изданы на украинском, казахском, узбекском, таджикском, азербайджанском языках, отдельные стихотворения опубликованы за рубежом (Турции, Китае). Им переведены на киргизский и изданы поэтические сборники А. Барто, А. Твардовского, К. Кулиева, произведения туркменских поэтов, трагедии В. Шекспира.

Член СП СССР (1949). Лауреат государственной премии Киргизской ССР, лауреат Золотой медали имени А.А. Фадеева, кавалер ордена Манаса. (Писатели Советского Киргизстана. – Ф., 1989. – С. 243–245.)

Стихи мои, стихи. *Перевод В. Цыбина*

### **Цыбин Владимир Дмитриевич (11.03.1932–2001)**

Поэт, прозаик, переводчик.

Печатался с 1952 г. Выпустил около 20 стихотворных сборников. Печатался как переводчик: Струны сердца. Избранные переводы. – М., 1980. Публиковал стихи, переводы и прозу в журналах: «Новый мир», «Дон», «Молодая гвардия». Произведения Цыбина переведены на итальянский, немецкий, польский и чешский языки.

Член СП СССР (1961). Академик Академии российской словесности (1996). (*Чупринин С.И.* Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь-справочник: В 2 т. – Т. II. – М., 2002. – С. 600.)

Москве. *Перевод А. Кафанова*

### **Кафанов Алексей Витальевич (р. 22.07.1924)**

Поэт, переводчик. Работал редактором в «Литературной газете», в журнале «Смена», в издательстве «Советский писатель».

Переводил поэзию с грузинского, казахского и киргизского языков.

Член СП СССР (1964). (*Чупринин С.И.* Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь-справочник: В 2 т. – Т. I. – М., 2002. – С. 607.)

Две звезды. *Перевод Н. Пустынникова*

### **Пустынников Николай Алексеевич (р. 1944)**

Поэт, прозаик, литературный критик, переводчик с киргизского языка. Окончил литературный институт им. А.М. Горького. Первые стихи опубликованы на страницах журнала «Литературный Киргизстан» в 1972 г. Автор поэтических сборников: «На гаревах цветы» (1980), «Отзвук» (1988), книг для детей: «Не про тебя ли это?» и повести «Двое из трудного времени».

Золотая чинара. *Перевод В. Цыбина*

Красота. *Перевод Я. Акима*

### **Аким Яков Лазаревич (р. 15.12.1923)**

Поэт, переводчик.

Печатается с 1950 г. Автор книг для детей, преимущественно в стихах. Переводил детскую литературу народов СССР – книга переводов: Спешу к другу. – М., 1977.

Член СП СССР (1956). Член редсовета издательства «Малыш» (1989). (*Чупринин С.И.* Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь-справочник: В 2 т. – Т. I. – М., 2002. – С. 29.)

На Иссык-Куле стая белых лебедей. *Перевод В. Цыбина.*

Седой солдат. *Перевод А. Кафанова.*

Кыз-кумай. *Перевод В. Цыбина.*

Красота земли. *Перевод Ст. Куняева.*

Стихотворения печатаются по: *Джусуев С.* Песни белых вершин: Стихи, поэмы. – М., 1984, *Джусуев С.* Золотая чинара: Стихотворения и поэмы. – М., 1982.

Во имя жизни. Документальная повесть. *Перевод Е. Колесникова*

Повесть печатается по: *Джусуев С.* Во имя жизни // Лит. Киргизстан. – 1985. – № 5.

Слово об авторе. *Джусуев С.* Моя жизнь. – М., 1990. *Джусуев С.* Золотая чинара: Стихотворения и поэмы. – М., 1982.

### **Шукурбек Бейшеналиев (25. 10.1928 г.)**

Шукурбек Бейшеналиев – прозаик, драматург, переводчик.

В 1950 г. издал повесть «Настоящая дружба». Перу писателя принадлежат романы «Путь к счастью» (1962), «Стальное перо» (1981), «Время славы» (1973).

Достоянием детей зарубежных стран стали произведения «Кычан», «Белый верблюжонок», «Рогатый ягненок», «Ласточка», «Сын Сарбая» и др. Им переведены на киргизский язык рассказы Л.Н. Толстого, М. Шолохова, К. Федина, пьесы А.П. Чехова, Г. Ибсена и др.

Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1974).

Член СП СССР (1951). (Писатели Советского Киргизстана. – Ф., 1989. – С. 147 – 152.)

Белый верблюжонок. *Литературная редакция С. Баруздина*

**Баруздин Сергей Алексеевич (22.07.1926–4.03.1991)**

Поэт, прозаик.

Работал главным редактором журнала «Дружба народов» (1966–1991); незадолго до смерти ушел на пенсию и был избран председателем редсовета «Дружбы народов».

Печатался с 1938 г. Выпустил несколько десятков книг стихов и прозы преимущественно для детей. Общий тираж его книг составил около 90 млн. экземпляров на 89 языках.

Член СП СССР (1951). (*Чупринин С.И.* Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь-справочник: В 2 т. – Т. I. – М., 2002. – С. 120).

Детские рассказы печатаются по: *Бейшеналиев Ш.* Белый верблюжонок // Киргизские писатели – детям. – Ф., 1978.

Неоценимое духовное богатство. Статья.

Статья печатается по: *Бейшеналиев Ш.* Неоценимое духовное богатство // Рус. яз. и лит. в кирг. шк. – 1982. – № 6.

Нести нагрузку своего времени. Интервью. *Беседовал В. Александров*

Интервью печатается по: Нести нагрузку своего времени // Детская литература. – 1978, №7.

Слово об авторе. Люди – самые интересные книги // Вечерний Бишкек. – 1998. – 29 апреля.

### **Михаил Михайлович Ронкин (р. 23. 10. 1928)**

Михаил Ронкин – поэт, переводчик поэзии и прозы с киргизского языка.

Печатается с 1951 г. Первый стихотворный сборник «Трудовые дороги» издан в 1963 г. Значительное место в творчестве поэта занимает жанр сатиры. Автор ряда сценариев документальных телефильмов.

Им переведены на русский язык произведения А. Токомбаева, К. Маликова, Т. Уметалиева, Р. Шукурбекова, А. Усенбаева, Т. Адышевой и др.

Член СП СССР, Союза русскоязычных писателей Израиля.

Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Эмигрировал в Израиль (1993). Живет в Афуле. (*Чупринин С.И.* Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь-справочник: В 2 т. – Т. II. – М., 2002. – С. 315).

Крик.

«Скорая помощь». Дождь.

«Вот и жизнь почти что пролетела...». Притча о старшем брате. Толпа.

«В словах и деяниях легки...»

Стихотворения печатаются по: *Ронкин М.* Надежды спасательный круг // Лит. Кыргызстан. – 1991. – №9–10.

*Ронкин М.* Притча о старшем брате // Лит. Кыргызстан. – 1991. – № 2. *Ронкин М.* Восходы // Лит. Кыргызстан. – 1990. – №11.

Слово об авторе. *Ронкин М.* Глазами сердца. – Ф., 1991.

### **Леонид Борисович Дядюченко (16.02.1934–26.08.2005)**

Леонид Борисович Дядюченко – прозаик, поэт, журналист, кинодраматург, переводчик, писатель-документалист.

С 1957 г. выступает на страницах газет и журналов республики с подборками стихотворений, с очерковыми материалами. Жизнь Леонида Борисовича стала грандиозным тыншаньским путешествием: инженер-геолог Института геологии, спецкор «Советской Киргизии» по Ошской области, литсотрудник «Литературного Киргизстана», редактор «Киргизфильма».

Является автором 17 книг, изданных в Москве и Бишкеке, в числе которых «Проводник из Чарвака», «Без нужды в Зардалу», «В пещерах Киргизии», «Киргизский мотив», «Фамильное серебро», «Серебряный глобус», «Жемчужина в стене казармы». Повесть «Скарабей» в 1974 г. была отмечена всесоюзной литературной премией им. Н. Островского.

По литературным сценариям Л. Дядюченко на киностудии «Киргизфильм» сняты полнометражные художественные и документальные фильмы «Водопад» (1974), «Зеница ока» (1976), «Первый» (1974), «Кошой-Таш» (1980), десятки короткометражных документальных, научно-популярных фильмов и киноочерков.

Им переведены на русский язык произведения А. Токомбаева, Т. Уметалиева, Т. Кожомбердиева, М. Абылкасымовой, С. Акматбековой и др.

Член СП СССР с 1966 г., член СЖ СССР с 1971 г., член СК СССР с 1975 г. (Писатели Советского Киргизстана. – Ф., 1989. – С. 251–257.)

Алыкул. Повесть.

Повесть печатается по: *Дядюченко Л.* Алыкул // Лит. Кыргызстан. – 2006. – № 3.

Слово об авторе. *Иванов А.* Сказавший свое Слово // Лит. Кыргызстан. – 2005. – № 3.

### **Евгений Григорьевич Колесников (р. 7.01.1933)**

Евгений Григорьевич Колесников – поэт, прозаик, переводчик с киргизского языка.

Печатается с 1956 г. Первый поэтический сборник «Моя звезда» издан в 1965 г. Автор ряда сборников стихотворений, повестей, рассказов, переводов на русский язык произведений К. Баялинова, С. Сасыкбаева, С. Джусуева. Произведения писателя изданы на киргизском языке, повесть «Ива» – на польском в Кракове.

Член СП СССР (1973). С 1986 г. – литконсультант по русской литературе в правлении СП Киргизии. Живет в России. (Писатели Советского Киргизстана. – Ф., 1989. – С. 314–315.)

Мать-и-мачеха. Повесть о русских переселенцах.

Повесть печатается по: *Колесников Е.* Мать-и-мачеха // Лит. Кыргызстан. – 1991. – №2–3.

Слово об авторе. Евгению Колесникову – семьдесят // Лит. Кыргызстан. – 2005. – № 4.

Составители: *А.С. Кацев, Н.Л. Слободянюк*

ПОД БЕЗДОННЫМ КУПОЛОМ АЗИИ

Книга для чтения с удовольствием

Часть 2

Редакторы: *Л.В. Тарасова,  
И.С. Волоскова, Т.П. Вязьмина*

Компьютерная верстка *Г.Н. Кирпа*

Подписано в печать 20.10.09. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>

Офсетная печать. Объем 29,25 п.л.

Тираж 50 экз. Заказ 171

Издательство Кыргызско-Российского  
Славянского университета  
г. Бишкек, ул. Киевская 44

Отпечатано в типографии КРСУ  
710048, г. Бишкек, ул. Горького, 2